Москва купеческая

П. А. Бурышкин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — прежде всего — мои воспоминания. Мне пришлось быть свидетелем и участником жизни торгово-промышленной Москвы в самые «ответственные» годы, с 1912 по 1918. Свидетелем я был и ранее, в сущности говоря, с тех пор, как себя помню, а с 1904 года я уже мог систематически следить за московской общественной жизнью, исполняя как бы обязанности секретаря моего отца по общественным делам

- МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ
  -
  - ОТ АВТОРА
  - ВВЕДЕНИЕ
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V

МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ

1954

Посвящается дочери моей О. П. Абаза

ОТ АВТОРА

Эта книга — прежде всего — мои воспоминания. Мне пришлось быть свидетелем и участником жизни торгово-промышленной Москвы в самые «ответственные» годы, с 1912 по 1918. Свидетелем я был и ранее, в сущности говоря, с тех пор, как себя помню, а с 1904 года я уже мог систематически следить за московской общественной жизнью, исполняя как бы обязанности секретаря моего отца по общественным делам. Общественная деятельность меня интересовала с самых детских лет; можно сказать, я к ней готовился, внимательно прочитывая бумаги и документы, которые посылались моему отцу, а их было немало. Это мне помогло самому вступить в общественную жизнь подготовленным.

Выше я назвал годы войны и годы февральской революции «ответственными». По отношению к представителям торгово-промышленной Москвы это не подлежит сомнению. Для них эти годы, в особенности период февральской революции, были временем чрезвычайного оживления их общественной работы, и они несут несомненную ответственность за ход и исход событий. В силу этого мне казалось целесообразным выйти за рамки описания того, «что глаза мои видели». Чтобы по-настоящему понять почему случилось так, а не иначе, нужно знать историю и ту атмосферу, в которой за последнее время складывалась жизнь торгово-промышленной Москвы. Нужно знать и ее «личный состав», чтобы оценить, почему те, а не другие, оказались во главе движения. Обо всем этом никаких общих трудов пока нет. Зато очень много материалов. Даже за рубежом их более чем достаточно. Конечно, кое-чего не хватает, но все-таки, в Париже, где имеются прекрасные русские книгохранилища, работать можно.

Думаю, что писать таковую историю мне, как говорится, «сам Бог велел». Не знаю, кто бы теперь мог за эту работу взяться. Нас, «свидетелей истории», осталось не много, и все в больших годах. Мне 66 лет, а я один из самых молодых.

Должен прибавить также, что с молодых лет я мечтал написать историю московского купечества. Первый, кто мне советовал это сделать, — Ал. Апол. Мануилов, мой учитель экономики. Советовал и А. А. Кизеветтер, с которым вместе готовили мы юбилейное издание по истории Нижегородской ярмарки. Я и начал готовиться: собирал материалы и по истории Москвы, и по истории русской торговли. По истории Москвы мне уже удалось собрать изрядную коллекцию, которая, как слышал,

составляет базу музея города Москвы, находившегося одно время в помещении Английского клуба, на Тверской. В моей коллекции были весьма ценные вещи.

Из моих близких мне всегда советовала написать эту книгу моя дочь, почему я и посвящаю этот труд ей.

ВВЕДЕНИЕ

Сколько их? Куда их гонят?
И к чему весь этот шум?
Мельпомены труп хоронит
Наш московский толстосум.

Так приветствовал один из известных московских адвокатов создание Художественного театра. Незадачливый поэт оказался, правда, плохим пророком: Художественный театр Мельпомену не похоронил, муза сценического искусства, вероятно, считала его одним из лучших своих детищ, прославивших ее по всему свету, но не это беспокоило автора шутливой пародии. Он хотел высмеять то обстоятельство, что одним из создателей нового театра был «толстосум», московский купец. В самом деле, Константин Сергеевич Алексеев, по сцене Станиславский, принадлежал к одной из самых почтенных и самых культурных московских купеческих фамилий. Такое отношение «интеллигентских» кругов к людям купеческого происхождения и к купечеству вообще было характерным для Москвы дореволюционного времени. С одной стороны, Москва считалась купеческим городом, где представители торговли и промышленности занимали руководящие места, в частности в Московском городском общественном управлении, с другой стороны — во всех не купеческих слоях московского общества — и в дворянстве, и в чиновничестве, и в кругах интеллигенции, как правой, так и левой — отношение к «толстосумам» было, в общем, мало дружелюбным, насмешливым и немного «свысока». Во всяком случае, «торгово-промышленники» отнюдь не пользовались тем значением и не имели того удельного веса, которые они должны были иметь благодаря своему руководящему участию в русской хозяйственной жизни и которыми пользовались их западные, европейские и особливо заокеанские коллеги в своих странах.

Это на вид парадоксальное явление станет совершенно понятным, если мы проследим историю русского народного хозяйства, ход русской торговли и развитие русской промышленности. Идея, вернее предрассудок, — что Россия страна чисто земледельческая, и только земледельческая, существовала до Первой мировой войны. Петр Великий своими мероприятиями в области создания фабричного производства свел Россию с ее естественного пути и искусственно изменил в ней структуру ее экономики. Если к этому прибавить, что, как это люди думали, занятие земледельческим трудом — близость к

земле — способствует охранению здоровых начал в человеке, а «амбары» и фабрика пробуждают в людях самые дурные инстинкты, то станет ясно, какое зло причинил Российской земле Великий Преобразователь, сведя ее с ее исконного пути. Поэтому как «торгаши», так и «фабричные» не пользовались симпатией у населения, и это находило постоянное отражение в литературе. К этому надо прибавить, что в писаниях иностранных авторов о России российская действительность и, в частности, торговый быт постоянно изображались в весьма непривлекательных красках. Из описаний иностранных путешественников по Московии, создалась легенда о какой-то «нарочитой бесчестности» русских людей торгового сословия. В России недавнего времени часто наблюдался обычай бранить все русское и преклоняться перед всем иностранным. И писателям и свидетельствам западных соседей в России часто придавали слишком большое значение, и принимали на веру то, что ее не заслуживало. Таким образом, обоснования недоброжелательного или пренебрежительного отношения к купеческому классу можно свести к трем моментам: во-первых, иностранцы создали легенду о том, что характерной особенностью торговых людей в России является их бесчестность и плутовство, во-вторых, русская литература, изображавшая лишь теневые стороны русского купечества, создавала ему характеристику «темного царства» и, наконец, существовали пережитки настроений русских «аграрников», продолжавших считать, что Россия должна оставаться страной земледельческой.

Можно еще указать на постоянный спор Москвы с Петербургом. Чиновный Петербург противопоставляли купеческой Москве. Но Петербург недолюбливал не только купеческую Москву. Он не любил и грибоедовскую Москву, и Москву «Войны и мира», и даже Москву славянофилов.

**

Иностранная легенда о русской бесчестности появилась весьма давно. Рассказывая о торговых людях Москвы, Герберштейн говорит, что они «ведут торговлю с величайшим лукавством и обманом. Покупая иностранные товары, они всегда понижают цену их на половину, и этим поставляют иностранных купцов в затруднение и недоумение, а некоторых доводят до отчаяния, но кто, зная их обычаи и любовь к проволочке, не теряет присутствия духа и умеет выждать время, тот сбывает свой товар без убытка. Иностранцам они все продают дороже, так что иная вещь стоит им самим 1 дукат, а они продают ее за 5, 10, даже за 20 дукатов, хотя случается, что и сами покупают у иностранцев, за 10 или 15 флоринов, какую-нибудь редкую вещь, которая не стоит и одного флорина. Если при сделке

неосторожно обмолвиться, обещать что-нибудь, они в точности припомнят это и настойчиво будут требовать исполнения обещания, а сами очень редко исполняют, что обещают. Если они начнут клясться и божиться, знай, что здесь скрывается обман, ибо они клянутся с целью обмануть. (Цитирую русский перевод по Ключевскому)

Другой известный путешественник по Московии, Олеарий, примерно также отзывается о нравах и обычаях московских купцов. «Я изумлялся, — пишет он, — видя, что московские купцы продавали по 3^1_2 экю аршин сукна, которое они сами покупали у англичан по 4 экю. Но мне сказывали, что им это очень выгодно, потому что, купив у англичан сукно в долг и продавая его за наличные деньги, хотя и дешевле своей цены, они обращают вырученные деньги на другие предприятия, которые не только покрывают потери, понесенные ими при продаже сукна, но и доставляют сверх того значительные барыши».

По словам Олеария, московские купцы высоко ставили в купце ловкость и изворотливость, говоря, что это дар Божий, без которого не следует и приниматься за торговлю. Один голландский купец, самым грубым образом обманувший многих из московских торговых людей, приобрел между ними такое уважение за свое искусство, что они, нисколько не обижаясь, просили его принять их к себе в товарищи, в надежде научиться его искусству.

Приводя все эти данные, Ключевский приходит к заключению, что «торговля московских купцов с иностранными носила на себе, в сильной степени, характер игры». При этом он делает ударение на слове «московских», отмечая, что тот же Герберштейн «выгодно отзывался о торговых обычаях жителей Пскова».

Точно также и Костомаров, делая ссылку на те же два источника — Герберштейна и Олеария, утверждает, что иностранцы «описывают русских купцов большими плутами. Обычай запрашивать и торговаться был искони характеристикой русского торговца. Если вещь стоила рубль, купец непременно запросит за нее десять рублей, смотря по лицу, которое у него покупает… Божиться в торговле было нипочем, хотя божбам русских купцов никто не верил, ни из их соотечественников, ни из иностранцев, и даже замечали, что чем более русский купец божится, тем скорее обманывает. Подделка и обмен вещей были в обычае: часто русский наделял иностранца подкрашенными мехами, а иногда покупатель придет в лавку и начнет торговать вещь, купец запрашивает за нее большую цену; покупатель дает менее; купец как будто не слышит и уходит прочь, потом

начинает мало-помалу сдаваться и уступает желанию покупателя; но в самом деле он ловко успеет обменить вещь, так что покупатель сам этого не замечает и берет не то, что торговал прежде. Подобные поступки не казались русскому предосудительными; он оправдывал себя пословицею: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал», — пословицею, которая, как видно, была до того в употреблении, что даже иностранцы затверживали ее».

Рисуя со слов иностранных авторов эту печальную картину нравов старого русского купечества, Костомаров, однако, отмечает, что не должно приписывать плутоватость русского торговца какой-нибудь народной порче. «Нет, — говорит он, — это было необходимое условие той степени образованности, на которой еще стояла Россия, и обстоятельств, сопровождавших развитие торговли. Торговля, как и всякая другая ветвь человеческой образованности, проходит различные положения. В первобытные времена она была соединена с разбоями и набегами. На низкой степени цивилизованного общества она неразлучна с коварством и обманом и, чем выше общество становится на пути нравственного и умственного образования, тем более и торговые отношения принимают характер честности». И в подтверждение своей оценки Костомаров справедливо указывает, — к чему мы еще вернемся, — что сами иностранцы вовсе не были безгрешны в этом отношении и во всей Европе торговые нравы того времени (свидетельства Герберштейна и Олеария относятся к XVII веку) не стояли еще на достодолжной высоте.

Помимо названных выше авторов, есть еще не мало и других, которые также сурово оценивают торговые нравы в Московии. Так уже Барберино, побывавши в России в 1565 году, утверждает, что в меховой торговле русский действует недобросовестно:

"Tingono zibellini ed altre pelli per farle parer piu belle"(Красили горностаев и другие меха для того, чтобы они казались более красивыми).

Нецгебауэр, бывший в Москве в смутное время, повторяет слова Герберштейна: "Fallacissime et dolosissime mercantur"(Они торгуют с величайшими хитростями и обманом).

Также и Петрей, побывавший в Московии примерно в то же самое время и оставивший подробное описание и Московии, и событий времен Самозванца, говорит про московских купцов, что они "Thun gerne Un-recht" (Охотно жульничают) и не держат ни данного слова, ни клятвы.

В этом же роде свидетельствуют и Рейтенфекс, и Кильбургер, трактат которого является одним из наиболее ценных источников для истории торговых сношений московского государства.

Впрочем, трактат его, написанный с несомненной целью способствовать развитию товарообмена московского государства с его западными соседями, больше говорит о тех товарах, которые могут быть объектом торговли, чем о нравах и обычаях людей торгового сословия.

Зато Майерберг, приезжавший в Московию как посол Священно-Римской Империи, ко двору Царя Алексея Михайловича, в своем путевом журнале отмечает:

"Mercatores in contractibus semper fraudulenti juramentis et obtationibus falciant" (Купцы в сделках всегда прибегают к обманным клятвам и обещаниям).

Нужно при этом заметить, что это в сущности почти все, что он говорит о русской торговле.

Можно еще привести одно позднейшее свидетельство. Это записки одного французского путешественника, который приезжал в Россию в конце царствования Екатерины II. Это некий Фортэн де Пиль, имя коего мало было известно в России, так как его записки были опубликованы без имени автора.

"Il n'y a chez les marchands russes aucune espèce de bonne foi; il est vraiment plaisant d'essayer par soi-même jusqu'où peut aller leur fourberie… la bonne foi, le vrais — le seul appui du commerce n'existe pas en Russie"… (У русских купцов нет ни малейшей добросовестности; забавно испытать на самом себе до какого предела может дойти их жульничество… добросовестность — эта единственная основа торговли, — не существует в России).

Со свидетельствами иностранцев небезынтересно сопоставить и русскую оценку. Вот что в Петровские времена писал о купечестве Посошков: (Посошков, «О скудости и богатстве», Москва, Изд. Академии Наук, СССР, 1951.).

«Купечество в ничтожность повергать не надобно, понеже без купечества ни каковое, не токмо великое, но ни малое царство стояти не может. Купечество и воинству товарищ, воинство воюет, а купечество помогает и всякие потребности им уготовляет».

Говорит он и о купеческих нравах, но больше в порядке пожелания, что должно было бы быть. Косвенно это свидетельствует, что действительность оставляла желать лучшего:

«А еще бы в купечестве самая христианская правда уставилася, еже добрые товары за добрые бы и продавали, а средние за средние, а плохие за плохие и цену б брали по пристоинству товара прямую настоящую, по чему коему цена положена, а излишние цены ни у какого бы товара не то, что взять, но и не припрашивали бы и ни стара, ни мала, ни неосмысленного не обманывали бы, но во всем поступали бы

самою правдою, то благодать бы Божия воссияла бы на купечестве и благословение Божие почило бы на них, и торг бы их святой был.»

Апогеем легенды о нарочитой бесчестности русского купечества нужно считать весьма нашумевшую в свое время книгу Мэкензи Уоллеса «Россия», появившуюся в конце семидесятых годов прошлого столетия. Этот английский журналист, ближайший сотрудник, газеты «Таймс», пробыл долгое время в России и в своих впечатлениях дает весьма мрачную картину российской действительности. Вот что пишет он о купеческом сословии:

«Двумя большими недостатками в характере русских купцов, как класса, согласно общему мнению, являются их невежество и бесчестность. Относительно первого разных мнений быть не может. Что же касается бесчестности, которая, как говорят, столь обычна у русского торгового класса, то здесь составить точное мнение трудно. В том, что происходит огромное количество бесчестных сделок, нет сомнения, но нужно считать, что в этом деле иностранец является излишне строгим и забывает, что торговля в России только выходит из примитивного состояния, в котором твердые цены и умеренный заработок были неизвестны».

Книга Мэкензи Уоллеса в свое время вызвала много шуму и не мало протестов в России, но, несомненно, в течение ряда лет она была на Западе одним из главных источников ознакомления с тем, что происходит в России. Британская энциклопедия до сих пор считает этот труд классическим. Но, видимо, сам автор с течением времени отошел от своего прежнего мнения. В ежегоднике газеты «Таймс», посвященном России и вышедшем в конце Первой мировой войны, имеется вступительная статья того же Уоллеса, написанная совсем в других тонах. Да и весь этот справочник самой влиятельной английской газеты был посвящен вопросу, как утвердиться англичанам на русском рынке, после того как немцам, в силу войны, пришлось с ним расстаться.

Может показаться странным, почему я, невзирая на вышеприведенные «подлинные и убедительные свидетельства», называю утверждения иностранцев о нарочитой бесчестности русского купечества «легендой». Но я думаю, что картина, которую рисовали иностранные путешественники, не представляла фотографически отраженной действительности и, во всяком случае, была чрезвычайно односторонняя.

Нужно прежде всего сказать, что иностранцы никогда, — и это справедливо и для начала XX столетия, и для наших дней, — России не знали и не представляли себе ясно, что на русской; земле происходит.

Даже в ту пору, когда никто еще не мыслил о железном занавесе, Россия для Запада была страной загадочной, полной тайны, которую всегда боялись и, в общем говоря, никогда не любили. Россию много раз «открывали» и, когда англичане, в поисках нового морского пути в Китай и Индию через северные страны, высадились в 1553 году на берег, в устье Северной Двины, то они всерьез и взаправду думали, что открыли новую страну, вроде того как Колумб открыл Америку. Они и не подозревали, что эта новооткрытая Московия уже много сотен лет ведет оживленную торговлю со своими соседями и что в свое время «Русь» была гораздо культурнее западных стран. Великие Князья Киевские были в родстве со всеми правящими династиями Европы.

Когда Ярослав Мудрый выдал одну из своих дочерей за короля Франции, то в сущности, для нее это был «мезальянс», — и не только потому, что Генрих I был королем Парижа и Орлеана, а Рим устроил этот брак в расчете на большое приданое киевской княжны, а потому, что семья отца Анны Ярославны была гораздо культурнее семьи ее мужа. Молодая королева Франции была единственным грамотным человеком при французском дворе и могла подписывать хартии и дипломы «Anna Reina», в то время, как ее царственный супруг ставил вместо подписи крестики. И, конечно, никто не знал, что это за таинственная страна, из которой она приехала.

Это незнание иностранцами России красной нитью проходит через всю иностранную литературу, посвященную описанию «путевых впечатлений». Совсем так же, как и теперь, каждый новый путешественник как бы начинает сначала, производит новые наблюдения, как будто раньше, до него, никто ничего не знал, и стремится постигнуть психологию загадочного и непонятного народа. Это было и и недавнее время, когда для Запада открылись и русская литература, и русские искусства; было и тогда, когда Россия была еще Московией. В силу всего этого, к свидетельствам иностранцев нужно относиться с известной осторожностью. Да и не все иностранцы дают такую безотрадную картину нравов торгового сословия Московии. Характерно то, что англичане, торговые сношения коих с русскими в XVI и XVII веке были лучше других организованы, и о которых сохранилось большое количество всякого рода мемуаров и воспоминаний, почти не говорят об «испорченности нравов», во всяком случае не указывают на это, как на причину, которая затрудняла бы развитие торговых сношений. Инна Любименко, давшая наиболее полную историю торговли России с Англией (Инна Любименко, «История торговых сношений России с

Англией XVI век», 1912.), упоминая о мошенничествах, к которым прибегали русские купцы и об очень нелестных отзывах иностранцев об их «честности», не приводит ни одного свидетельства из английских источников, а ссылается лишь на Герберштейна, Олеария и Кильбургера.

Конечно, не все было вполне благополучно: еще много лет спустя, при заключении англо-русского торгового договора в 1734 году, мы находим некоторые статьи, в него включенные (XXII и XXIII), устанавливающие специальные меры борьбы с имевшими место злоупотреблениями: с уклонением от платежа хозяевам по обязательствам подписанным их служащими и с затруднением по взысканиям с должников, уехавших внутрь страны. Но и с английской стороны дело обстояло не лучше. В том диалоге, который вел в Москве посол Елизаветы I, Флетчер, с Борисом Годуновым, где речь шла о проделках английского агента Мерша, нападали русские, а англичане защищались, указывая, что Мерш действовал по внушению дьяка Щелкалова. Но Флетчеру был дан ответ, что Мерш вор ведомый и сказал ложные слова на государева дьяка Щелкалова (С. М. Соловьев, «История России в древние времена».).

Злоупотребления несомненно были, но они были с обеих сторон. «Русские купцы, — говорит Костомаров, — постоянно были во мраке относительно большей части того, чем торговали, страшились обмана, не доверяли, были обманываемы и, в свою очередь, обманывали». И если низкий уровень морали в торговых делах являлся следствием низкого культурного уровня страны, то это применимо не только к жителям дикой «Московии».

Иностранцы смотрели на Россию, как на страну выгодную для них, преимущественно по ее невежеству, потому что русских можно было легко обманывать. — Естественно конечно, что и русские платили тою же монетою, но это никак не останавливало иностранцев от их чрезвычайного стремления проникнуть в Россию, и между ними шла ожесточенная борьба, чтобы помешать один другому. Когда «открывший» Московию Ричард Ченселлор приехал в Москву и вступил в переговоры о торговле англичан с Россией, голландская компания в Новгороде обратилась к Царю с письмом, взводя на англичан разные клеветы и, между прочим, стараясь уверить Царя, что это морские разбойники, которых следует задержать. Узнав об этом, англичане отчаялись даже возвратиться в отечество, но Царь не поверил доносу и дело уладилось.

Со своей стороны и англичане всякими путями старались помешать утверждению в Москве постороннего влияния: когда в 1582 году там находился посланец Ватикана Антонио Поссевино,

иезуит, — английские купцы, проживавшие в Москве, подали Царю записку, в которой пытались доказать, что римский первосвященник антихрист. Поссевино пришлось, с своей стороны, представить объяснения и защитить папу от еретических обвинений.

К такому же выводу, что «плутовство» при совершении торговых сделок не было специфической русской привилегией, приходит и новейший русский историк Кулишер. Вот что он пишет:

«Обе стороны применяют те же приемы, платят друг другу равной монетой. В этом отношении русские торговцы могли многому научиться у торговавших с ними иностранцев и поэтому рассказ Олеария о том, что московские купцы упрашивали обманувшего их на большую сумму голландца, чтобы он вступил с ними в компанию, весьма ярко освещает картину нравов того времени. В особенности англичане приписывали своим конкурентам голландцам все пороки, которые у них и заимствовали русские купцы. Русские хитры и алчны как волки, писал в 1667 году англичанин Коллинс, и с тех пор, что начали вести торговлю с голландцами, еще более усовершенствовались в коварстве и обмане. Во всяком случае, этот характер торговли русских с иностранцами свидетельствует о том, что капиталистической ее отнюдь нельзя еще назвать… Она напоминает торговлю тех же англичан и голландцев в заокеанских странах» (Кулишер, «История русской торговли», Петроград, 1923.).

Нужно сделать еще несколько замечаний. Если бы торговое сословие и в прежней Московии, и в недавней России, — в годы пребывания в ней Мэкензи Уоллеса, — было бы, на самом деле, сборищем плутов и мошенников, не имеющих ни чести, ни совести, то как объяснить те огромные успехи, которые сопровождали развитие русского народного хозяйства и поднятие производительных сил страны.

Русская промышленность создавалась не казенными усилиями и, за редкими исключениями, не руками лиц дворянского сословия.

Русские фабрики были построены и оборудованы русским купечеством. Промышленность в России вышла из торговли. Нельзя строить здоровое дело на нездоровом основании. И если результаты говорят сами за себя, торговое сословие было в своей массе здоровым, а не таким порочным, как его представляли легенды иностранных путешественников.

***

Такую же безотрадную картину купеческой бесчестности и

плутоватости дает в общем и русская литература. Правда, не все крупные ее представители останавливались на изображении купеческого быта, но если это имело место, то почти всегда, до конца прошлого столетия, плуты и мошенники, считавшие обман нормальным методом деловых отношений, угнетавшие своих близких и своих служащих, и больше всего на свете любившие деньги. Положительных типов «деловых людей» почти что не было, да, к слову сказать, они и не удавались тем, кто пытался их описать. У некоторых авторов были лишь короткие замечания, иногда входившие в пословицу. Но было несколько и таких, которые свою славу составили изображением купеческой жизни и купеческого быта. Из таких первое место занимает А. Н. Островский.

Нет ни надобности, ни возможности дать здесь подробный и полный обзор тех произведений русской литературы, которые посвящены купеческому быту или содержат изображение его и, в частности, жизни московского купечества. Но некоторые характерные примеры привести следует.

Одним из первых произведений, изображавших купеческую среду, была комедия Плавильщикова «Сиделец», где московский купец Харитон Авдулавин, вместе со своими собратьями, другими московскими купцами, хочет обмануть и обобрать своего питомца, который у него служит сидельцем. Но вмешивается честный полицейский Добродетелев, и все кончается благополучно.

У Крылова есть басня, так и озаглавленная «Купец». В ней речь идет о наставлениях, которые давал купец своему племяннику. «Торгуй по-моему, так будешь не в накладе» и приводит пример, как нужно действовать: стараться сбыть гнилое сукно за хорошее английское. Но обманутым оказался сам купец, так как покупатель всучил ему фальшивую бумажку. В этой басне характерны заключительные строки:

Обманут, обманул купец, в том дива нет,
Но если кто на свете
Повыше лавок взглянет,
Увидит, что и там на ту же стать идет
Почти у всех во всем один расчет:
Кого кто лучше подведет,
И кто кого хитрей обманет.

У Гоголя о купцах говорится немного, но некоторые его характеристики вошли в поговорку. Тип положительный Гоголю, как и многим другим, не удался. Из всех женихов Агафьи Тихоновны, «гостин-нодворец» Алексей Дмитриевич Стариков фигура самая бледная и ничего характерного собой не

представляет.

Зато в «Ревизоре» фигуры купцов гораздо рельефней, и не столько сами купцы, как те наименования, которые дает им городничий: «Самоварники», «Аршинники», «Протобестии», «Надувалы морские». Два первых термина не раз потом повторялись, как наиболее наглядные определения, что такое купцы.

Такие же короткие, запомнившиеся многим формулы найдем мы впоследствии и у Некрасова, в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

«Купчине толстопузому сказали братья Губины,
Иван и Митродор…»
Имеется и изображение внешнего облика купца:
В синем кафтане почтенный лабазник,
Толстый, присядистый, красный как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.
Праздный народ расступается чинно,
Пот отирает купчина с лица,
И говорит, подбоченясь картинно:
Ладно ништо… Молодца… Молодца»…

В творчестве Островского пьесы из купеческого быта составляют самую крупную категорию: с них он начал, ими получил он известность, впоследствии славу, и почти до конца своих дней брал из этой среды темы для своих комедий.

Творчество Островского слишком хорошо известно русскому человеку, нет надобности на нем останавливаться, но нужно напомнить, что известностью и славой Островский обязан, прежде всего, своим двум ранним пьесам: «Свои люди сочтемся» (1850) и «Гроза» (1860). В обеих этих пьесах купеческий быт изображен в необычайно неприглядном виде. Именно эти пьесы были замечены критикой и, прежде всего, Добролюбовым, которому принадлежит заслуга обратить внимание читающей публики (не все его пьесы шли тогда в театре) и привлечь к нему внимание и сочувствие. На этом заслуги Добролюбова и кончаются. По содержанию его статьи далеко не беспристрастны и дают его намерениям и взглядам далеко не то истолкование, которое было у самого автора. Это применимо, прежде всего, к пьесам из купеческого быта. Вот как характеризует талантливый публицист это «темное царство»:

«Это — мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни

простора. Гнилью и сыростью веет темная и низкая тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч света не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется это в сырости и смраде темницы, но иногда на минуту вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения, мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лиц человеческих, и наше сердце стесняется болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники, они сидят в летаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями. Они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положение, но тем не менее они чувствуют тяжесть, лежащую на них. Они не потеряли способности ощущать свою боль. Если безмолвно и неподвижно переносят боль, то это потому, что каждый крик, каждый вздох среди этого смрадного омута захватывает их горло, отдается колючей болью в груди, каждое движение тела обремененного цепями грозит им увеличением тяжести и мучительного неудобства их положения. И не откуда ждать им отрады, негде искать облегчения. Над ними буйно и безотчетно владычествует бессмысленное самодурство в лице разных Торцовых, Болыневых, Брусковых, Уланбековых и пр., не признающее никаких разумных прав и требований. Только его дикие безобразные окрики нарушают эту мрачную тишину, производят пугливую суматоху на этом печальном кладбище человеческой мысли и воли».

Появление «Грозы» вызвало новую статью Добролюбова, помещенную в «Современнике». Эта статья уже не проникнута таким безнадежным пессимизмом и озаглавлена «Луч света в темном царстве». Автор видит в поступке Катерины протест против «кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой, и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет пользоваться жалким прозябанием, которое ей дают в обмен на ее живую душу…

Просто, по человечеству, нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли нельзя иначе. Жить в «темном царстве» хуже смерти»…

Статьи Добролюбова произвели чрезвычайно сильное впечатление на читающую публику и, в течение ряда лет, данная им характеристика «темного царства» была общепризнанной в либеральных кругах тогдашней общественности, но среди критиков скоро появилось иное направление, которое

рассматривало творчество Островского под другим углом зрения. Известный критик Аполлон Григорьев в своих статьях «После Грозы» указал на всю фальшь приемов либеральной критики, сказавшуюся в том, что она усмотрела юмор сатирика там, где, в действительности, была только одна наивная правда народного поэта.

«Свои люди сочтемся» прежде всего картина общества, отражение целого мира, в котором проглядывают многоразличные органические начала, а не одно самодурство. Притом человеческое сожаление и сочувствие остается, по ходу драмы, за самодуром, а не за протестантом. Особенно это применимо к комедии «Не в свои сани не садись», относительно которой не может быть сомнения, что сочувствие автора целиком находится на стороне как раз представителей «темного царства», Русакова и Вани Бородкина, тогда как «господа», Вихорев и Баранчевский, обрисованы такими красками, что никоим образом не могли пользоваться симпатией не только автора, но даже самого непредубежденного зрителя.

Это мнение, что Островский прежде всего бытописатель, беспристрастно отражающий в своих творениях действительность так, как он ее видит и понимает, и отмечающий пороки и недостатки у всех групп общества, а не обличитель-сатирик, рисующий лишь «темное царство», — русскую купеческую среду, — постепенно стало господствующим среди русской критики и истории русской литературы. Но и «добролюбовские» толкования еще долго держались. Еще в 1894 году, литературный критик У. П. Балталон в статье, помещенной в журнале «Артист», разбирая последние пьесы Островского, дал своим статьям заглавие: «Тронулось ли вперед темное царство?». Небезинтересно отметить, что наличие в пьесах Островского большого числа плутов и мошенников, ставится в связь с увлечением молодого писателя западничеством, которое якобы доходило у него до странных, почти невероятных размеров, так будто бы ему был противен вид самого Кремля с соборами. Он изумил однажды Филиппова, сказав: «Для чего тут настроили эти пагоды?».

«Этой подчиненностью Островского господствующему направлению, объясняется, между прочим, — пишет Барсуков, — и то, что первая его крупная пьеса «Свои люди сочтемся» состоит из целого ряда темных, отталкивающих, чисто отрицательных типов русского народа… Любопытно, что впоследствии западники, доказывая отрицательные качества русского народа, ссылались на ту же, под их влиянием созданную, пьесу Островского и на избранные под гнетом их направления типы. Раз

как-то, на вечере у М. С. Щепкина, один из ученых западников, поддержанный единомышленниками, проповедовал, что народная Русь и состоит исключительно только из таких типов, что людей иного закала в ней нет и не может быть, все — мошенники. «Ну прощайте же, мошенники», — сказал, прощаясь после долгих споров, Пров Садовский».

Как бы то ни было, но сам Островский отнюдь не считал свое творчество и, в частности, «Свои люди сочтемся» какой-то обличительной сатирой купеческих нравов, которая была бы оскорбительна для лиц торгового сословия.

«Труд мой, еще неоконченный, — писал он В. И. Назимову, — возбудил одинаковое сочувствие и производил самые отрадные впечатления во всех слоях Московского общества, больше всего между купечеством. Лучшие купеческие фамилии единодушно, гласно изъявляли желание видеть мою комедию в печати и на сцене. Я сам несколько раз читал эту комедию перед многочисленным обществом, состоящим исключительно из Московских купцов и, благодаря русской правдолюбивой натуре, они не только не оскорблялись этим произведением, но в самых обязательных выражениях изъявляли мне свою признательность за верное воспроизведение современных недостатков и пороков их сословия и горячо высказывали необходимость дельного и правильного обличения этих пороков (в особенности превратного воспитания) на пользу своего круга. В глазах этих почтенных людей, правда и польза, коей они от нее научились, исключила всякую мысль об оскорблении мелкого самолюбия».

Не подлежит, разумеется, сомнению, что Островский искренне стремился дать лишь верное изображение обрисовываемой им среды и отметить «отдельные» недостатки и пороки, чтобы способствовать их искоренению. Вероятно, не его это вина, а вина Добролюбова, что на основании сценических изображений в пьесах автора «Грозы», у широкой публики, и в особенности в интеллигентских, народнических, антипромышленных кругах создалось впечатление, что все купечество есть царство «Кит Китычей», подлинное темное царство. Конечно, в этом царстве иногда встречалась «Кабаниха», но встречались в другом кругу и «Салтычихи», и какие были хуже — неизвестно.

Рядом с Островским нужно поставить И. Ф. Горбунова, который изображал быт купечества примерно в тех же самых красках. Он был актер Александрийского театра в Петербурге, но славился главным образом как неподражаемый рассказчик. В его репертуаре сцены из купеческого быта занимали одно из главных мест. Еще больше ему удавался «генерал Дитятин». Перед

слушателями проходил ряд типов из «Замоскворечья», изображавшихся не столько в непривлекательном, сколько в смешном виде. Эти сценки Горбунов писал сам; не все сохранились, но многие напечатаны; в чтении они большого впечатления не производят. У Горбунова были и более крупные вещи. Он написал пьесу «Самодур», где превзошел Островского «обличением» купеческой бесчестности и преступности. Но, как и другие литературные произведения Горбунова, они особого успеха не имели.

Салтыков-Щедрин тоже отдал дань общему течению и, в своих изображениях темных и отрицательных сторон современной ему русской жизни, не забыл и представителей купечества. Нужно, однако, сказать, что люди торгового сословия занимают незначительное место в длинной галерее нарисованных им типов.

«Прежде как мы торговали, — рассказывает купец Ижбурдин, — привезет, бывало, тебе мужичок кулей десяток, ну и свалишь, а за деньгами приходи, мол, через неделю. А придет он через неделю, и знать его не знаю, ведать не ведаю, кто ты таков. Уйдет бедняга, и управы никакой на тебя нет, потому что и градоначальник, и вся подъячая братья твою руку тянет. Таким-то родом и наживали капиталы, а под старость грехи перед Богом замаливали».

Можно еще добавить, что наряду с традиционным, так сказать, изображением плутовства и мошенничества, Щедрин в таких же ярких красках рисует и те условия, в которых происходила торговля, и что проделывало с купцами полицейское начальство.

Мельников-Печерский попытался несколько иначе подойти к теме о русском купечестве. В своей хронике «В лесах» и «На горах» он не мало места уделяет описанию купеческого быта в Нижнем Новгороде и его ближайших окрестностях. Нижегородская ярмарка дает ему повод говорить и о купечестве других местностей России, в частности — о Московском. Но почти всегда это «сектанты», «люди старой веры», противники «Никоновской церкви». Мельников был глубоким знатоком русского раскола, вопросы веры и культа составляют главное содержание его хроник. Сильно заняты этими вопросами и герои автора «В лесах» и «На горах», но это не мешает им в деловой их жизни вести торговлю, построив ее на обмане и на мошенничестве. И Смолокуров, и Лохматый не далеко ушли от героев Островского. Но наряду с ними Мельников пытается дать тип нового, просвещенного купца, который ведет свое дело уже на совершенно других началах.

Самые яркие страницы посвящены описанию хлыстовства, где под именем Алымовой выведена знаменитая Татаринова. В глазах окружающих хлыстовство есть просто-напросто скрытое масонство, и приверженцев Алымовой так и называют «фармазонами». Но это все либо помещики, либо люди из простого народа. Представителей купечества там нет.

В хронике «В лесах» есть одно место, которое свидетельствует, что Мельников-Печерский правильно понял значение роли отдельных представителей торгового класса в начавшемся развитии производительных сил России.

В беседе с главным героем, Потапом Максимычем Чапуриным, будущий его зять Василий Борисыч рассказывает ему, как начиналось текстильное дело в Костромской губернии:

«А как дело-то начиналось. Выискался смышленый человек с хорошим достатком, нашего согласия был, по-древнему благочестивый. Коноваловым прозывался. Завел небольшое ткацкое заведение, с легкой его руки дело пошло, да пошло. И разбогател народ, и живет теперь лучше здешнего. Да мало ли таких местов по России. А везде доброе дело одним зачиналось. Побольше бы Коноваловых у нас было, хорошо бы народу жилось» (Этой цитатой профессор П. И. Новгородцев, как директор Московского коммерческого Института, приветствуя Председателя Совета А. И. Коновалова, закончил, под «шумные знаки одобрения», свою речь на столетнем юбилее Коноваловской Мануфактуры. С тех пор ее не раз использовали в приветствиях покойному Александру Ивановичу. Доводилось и мне вспоминать о ней).

По ходу изложения, несомненно, что симпатия автора на стороне рассказчика.

Это почти единственный пример в русской литературе, когда писатель из интеллигентов высказывается в пользу осуждавшейся всеми «частной инициативы».

В ряду бытописателей второй половины прошлого столетия Боборыкин занимает одно из главных мест. Этот необычайно плодовитый писатель оставил большое число романов, повестей и рассказов, обрисовывавших различные группы современного ему общества. Не мало страниц посвятил он изображению жизни русского купечества и, в частности, московского. Про Боборыкина в свое время говорили, что он с необычайной точностью и верностью дает картину окружавшей его действительности, а героев своих романов срисовывает с живых, главным образом знакомых ему людей. Известный французский позитивист русского происхождения Г. Н. Вырубов говорит в своих воспоминаниях, что о себе, в своих мемуарах ему много говорить

не приходится, так как его друг П. Д. Боборыкин очень верно изобразил его в одном из своих романов. И когда выходила новая вещь Боборыкина, всегда начинали ее разбор с того, что старались определить, кто в ней изображен.

Наиболее значительным творением Боборыкина, посвященным жизни купеческой Москвы, является написанный в начале 80-ых годов роман «Китай-Город». Русская текстильная промышленность в те годы, после турецкой войны, переживала эпоху подъема и развития. Старые предприятия работали чрезвычайно успешно, увеличивая свои обороты. Возникало не мало новых фирм. Этот период делового оживления и описывает автор «Китай-Города». Боборыкина давно забыли, а молодые его и не читали, и приходится в немногих словах напомнить содержание этого романа.

«Китай-Город» — это торговый центр Москвы, квартал, примыкавший к Красной Площади и к Кремлю. На трех его улицах, Никольской, Ильинке и Варварке, с переулками Юшковым и Черкасским, в «Теплых Рядах», на Чижевском подворье, — были сосредоточены почти все фабричные конторы и амбары оптовых предприятий. Это был московский Сити.

Лейт-мотив романа: купцы захватили в свои руки всю Москву. Не только вся деловая жизнь руководится ими, они не только хозяйничают в городском управлении, но пробираются и в науку, и в искусство. Вот это последнее обстоятельство особенно не нравится автору. Описывая магистерский диспут в университете, на котором присутствует один из его героев, он так характеризует происходящее:

«Магистрант — из купцов. Вот и подите. Дворяне, культурные люди, люди расы, с другим содержанием мозга, — и не могут стряхнуть с себя презренной инертности, а тут тятенька торговал рыбой, или «пунцовым» товаром каким-нибудь, а сынок пишет монографию о средневековых цехах, или об учении Гуго Гроция».

Надо сказать, впрочем, что мнение, согласно коему считалось, что занятие отвлеченными науками — не купеческое дело, долго держалось в России. Недаром Константин Аксаков подчеркивал в шуточном стихотворении:

В тарантасе, в телеге ли,
Еду ночью из Брянска я,
Все о нем, все о Гегеле,
Моя дума дворянская.

Главный герой романа Андрей Палтусов, барин, который пытается войти в деловой мир и создать собственное дело. Это ему нужно не только для заработка, но и как выполнение своего рода миссии — противопоставить дворянина торжествующему по

всей линии купцу и приготовиться к будущему представительству, которое могут тоже захватить купцы. Для выполнения своей миссии, он входит в общение со многими представителями и представительницами купеческой Москвы. Он имеет большой успех, особенно у последних, но миссия явно не удается, так как он попадает в тюрьму «за растрату вверенного ему имущества». Впрочем, все кончается благополучно, так как он женится на богатой купчихе.

Среда, в которой происходит действие, — крупная торговля и промышленность «миллионщицы». Быт и, в частности, особняки описаны фотографически точно. Описан и большой купеческий бал, и купеческие похороны, и концерт в Благородном собрании, и бенефис в Малом театре. Проходит много действующих лиц. «Самодуров», как у Островского, нет, зато почти все — чудаки и оригиналы. Трудно понять, как выведенные Боборыкиным персонажи могли руководить большими делами. Да и сам автор говорит о них тоном барского презрения. Исключение составляет главная героиня, сама управляющая двумя фабриками Станицына. Она была срисована с известной московской общественной деятельницы В. А. Морозовой, урожденной Хлудовой.

Кроме «Китай-Города», у Боборыкина не раз в романах повторялось описание купеческой Москвы. Каждый год в январской книжке одного из толстых журналов — «Вестника Европы» или «Русской мысли» начиналось печатание его новой вещи. Постепенно манера изображения стала более беспристрастной, нужно бы сказать менее «барственной», но портретный характер для главных героев — и особенно героинь — сохранился.

Такой же портретный характер носили и две пьесы, о которых весьма много говорили в начале текущего столетия. Шли они на Императорской сцене, в Малом театре, в Москве и, во всяком случае, одна из них — в Александрийском театре Петербурга. Пьесы эти: «Джентльмен» кн. Сумбатова-Южина и «Цена жизни» Вл. Немировича-Данченко.

«Джентльмен» был списан с Мих. Абрам. Морозова. Выведен он был в каррикатурном виде, и слово джентльмен взято не как характеристика, а как насмешка.

В Малом театре шла она с исключительно блестящим составом, смотрелась легко и нравилась интеллигентской публике, которая была не прочь посмеяться над «купцами». Главного героя играл Рыбаков и удивил зрителей своим сходством с оригиналом.

«Цена жизни» шла в Москве и в Петербурге, Центральная

женская роль весьма удалась автору. В Москве ее играла Ермолова, в Петербурге Савина. Как всегда, театралы обоих городов спорили кто лучше. Нужно сказать, что каждая в своем роде играла с присущей ей силой и блеском и имела шумный успех.

Роль эта не носила «портретного» характера, но в пьесе были выведены Владимир Соловьев и Маргарита Кирилловна Морозова, последняя довольно карикатурно. Мне еще придется вернуться к той роли, которую сыграла Морозова в развитии философской мысли в Москве. Можно лишь пожалеть, что и Немирович-Данченко отдал дань прежнему шаблону: занятие философией не купеческого ума дело.

А. П. Чехов сравнительно мало уделил внимания купеческому быту, но у него имеются необычайно характерные для его времени вещи. Как известно, он сам происходил из этой среды, но о детстве у него были весьма печальные воспоминания. Он скоро стал настоящим русским интеллигентом и ничего «купеческого» в нем не осталось. Для тех немногих рассказов из жизни купечества, которые он написал, ему приходилось специально документироваться. У него был двоюродный брат, Михаил Михайлович, который служил доверенным в оптовом галантерейном деле Ивана Егоровича Гаврилова. К нему и обращался Антон Павлович, собирая сведения о московской купеческой жизни. Это гавриловский амбар и один из их служащих, окрестивший водку с красной головкой «помощником начальника станции», описаны Чеховым в повести «Три года». Гавриловскую семью я знал с раннего детства и хорошо помню, как там с гордостью говорили: «Чехов наш амбар описал в своем рассказе».

В декабрьской книжке «Русской мысли» за 1894 год был напечатан рассказ Чехова «Случай из практики». Это, несомненно, один из самых замечательных рассказов Чехова, но вместе с тем и из самых характерных примеров отношения интеллигенции того времени к промышленности, к фабрике и к капитализму. Молодой врач попадает на фабрику к больной девушке, дочери хозяйки, которая живет на фабрике вместе с матерью и гувернанткой. Фабрика производит на доктора сильное, ужасающее впечатление.

«Тут недоразумение, конечно, думал он, глядя на багровые окна. Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара. Сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только

двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жаль смотреть, живет в свое удовольствие одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в пенснэ. И выходит так значит, что работают все эти пять корпусов, и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру»…

Этот рассказ оказал огромное влияние на читающую публику, чего нельзя сказать о повести «Три года», «Бабье царство» и о других небольших рассказах.

Мне остается добавить несколько слов о влиянии творений Максима Горького, вернее — о влиянии одного из его ранних произведений, романа «Фома Гордеев». Это не единственная его вещь, где изображается быт русского купечества. Но другие романы — «Васса Железнова», «Дело Артамоновых» — появились значительно позже и следовательно их влияние не успело сказаться на возникновении того презрительного и недоброжелательного отношения к купечеству, как к особой общественной группе. Да разбирать их, может быть, было бы и излишне. Уже в «Фоме Гордееве» Горький выявился полностью, как «пролетарский» писатель, как правоверный марксист, идеолог классовой борьбы и противопоставленник «капиталистов» и пролетариата. Его подход к теме, остающийся до сих пор признаваемым в СССР как образец «пролетарской» литературы, конечно, весьма разнится от его предшественников.

«Фома Гордеев», одна из первых крупных вещей Горького, появился в самых последних годах прошлого века. Это повесть о «нетипическом купце», как ее называет сам автор. Не типический он потому, что вступил в борьбу со своей средой, протестует против того, как она ведет свою жизнь и работу, обличает своих собратьев за их пороки и преступления. «Не жизнь вы сделали, а тюрьму; не порядок вы устроили — цепи на человека выковали… Душегубы вы», — восклицает он.

Но истинными героями повести являются старшие представители купечества. Все они хищники, самодуры и часто преступники. Игнат Гордеев, отец Фомы, живет только ради «дела» и денег. «Дело — зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет. Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать»… «Это был человек высокий, широкоплечий, большие глаза смотрели из-под темных бровей смело и умно… Во всей его мощной фигуре было много здоровья и грубой красоты. От его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы».

Совсем другим изображен его друг Яков Маякин. Он низенький, худой, юркий, с огненно рыжей клинообразной бородкой. Он символизирует купечество, которое хочет сосредоточить в своих руках и хозяйственную и политическую власть. «Нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни… Мы жизнь строим»…

Наконец, третьим представителем старшего поколения является Ананий Щуров. Это человек старой закалки, старинной складки. Ненавидя новшества, он враг машин. Он ратует за старину, потому что он ей обязан своими миллионами, а в глазах Щурова — деньги единственная ценность в мире.

Всех их объединяет стремление к наживе, нежелание останавливаться перед чем бы то ни было, даже перед преступлением, для достижения своих целей… Изображены они с необычайной яркостью, огромный талант Горького проявился в этой вещи в полной силе, и этот роман произвел сильное впечатление. Но нужно сказать, что уже тогда — полвека тому назад — Горький стал рассматриваться не только и не столько как писатель, как творец художественной прозы, а как проповедник марксистской идеологии, можно сказать как художественное воплощение марксистской пропаганды.

А с начала века уже родилась против марксизма борьба, родилась уже тяга «от марксизма к идеализму». Поэтому круг тех читателей, на которых мог Горький влиять, был несколько уже; да собственно говоря, и влиять на них было не нужно: это была та часть русского общества, которая уже прияла марксистскую идеологию. Наконец, непопулярность торгового, точнее торгово-промышленного класса в России имела причины и более глубокого характера. В России необычайно долго держалось мнение, что это страна земледельческая, что фабрично-заводское производство ей не нужно, что русская индустрия никогда не сможет успешно конкурировать с западно-европейской и, наконец, что фабрика и весь уклад ее деятельности растлевающим образом влияет на население.

Теперь, когда жизнь так далеко ушла вперед, трудно себе даже представить, что можно было всерьез спорить против развития производительных сил страны, против ее индустриализации. Но в свое время это было так, и что особенно характерно, как это уже указывалось, — в таковом утверждении сходились два полюса русской общественности — крайне правые аграрии и крайне левые народники. Все эти споры начались в Александровское время на почве обсуждения вопросов тарифной политики. В эту эпоху таможенный тариф пересматривался несколько раз, причем запретительная система сменялась более

либеральной, а затем восстанавливалась вновь.

В мою задачу не входит рассмотрение истории русской таможенной политики, но небезинтересно воспроизвести некоторые аргументы русских фритредеров того времени, органом коих был еженедельник «Дух журналов», главной целью которого была борьба и против запретительной системы и полемика с протекционистами, а прежде всего с Мордвиновым, автором недавно вышедшей книги, посвященной защите высоких таможенных ставок.

Вот некоторые из аргументов из отдельных статей «Духа журналов» («Некоторые соображения по предмету мануфактуры в России». Петербург, 1815.):

«Хлебопашество, скотоводство и овцеводство — вот наши промыслы. Они единственно могут доставить нам изобилие. Изобилие всегда процветает в таком государстве, где земледелие в чести»… — «Пусть двести фабрикантов ошибутся в своих монополистических расчетах, от этого не омрачится солнце, освещающее Россию»…

В другой статье говорится:

«Зайди в избу мужика: тепло обуто, одето, хотя и в лаптях. Посмотрите же на фабричного: бледно, бедно, босо, наго, холодно и голодно… Может ли такой человек быть счастлив и сохранить нравственность? И поневоле предается разврату и злодеянию. Кто из стариков московских не помнит, что у Каменного моста (там была крупная суконная фабрика, основанная еще при Петре) ни днем, ни ночью прохода не было, но Екатерина истребила гнездо сие, истребила и злодеяния».

И, наконец, психологическая характеристика крестьянина и фабричного:

«Земледелец зарыл в землю зерно, но прозябания его и оплодотворения ожидает свыше. Земледельческий народ есть самый набожный, а также и самый миролюбивый, крепкий и благонравный. Он вместе и самый покорный Царю. Он привязан к родной земле своей, которая его возрастила. Мастеровой ничего не ожидает от Бога, а все от машин и, ежели бы Господь не насылал на него болезней, то он едва ли бы когда вспомнил о Боге. Сообщество нескольких сот или тысяч мастеровых, и живущих, и работающих всегда вместе, не имеющее никакой собственности, питает в них дух буйства и мятежа. Частые мятежи в английских мануфактурных городах служат тому доказательством»…

Фритредерская литература того времени была гораздо богаче, разнообразнее протекционистской и производила сильное впечатление на читающую публику. Можно отметить некоторые

ее особенности. Прежде всего защита свободной торговли совпадала с защитой крепостного права. Это не было случайным явлением.

Земельное дворянство, не имевшее фабрик, относилось враждебно к запретительной системе и прославляло выгоды земледелия, противопоставляя. «благополучие крепостного мужика» тяжелой жизни пролетария Западной Европы. Борьба за сохранение крепостного права велась как бы в интересах самого мужика, как бы в целях гарантии его от обезземеливания.

Далее свобода торговли защищала, во имя охранения России, от пролетаризации большей части ее населения. Известный прусский путешественник, странствовавший по России за казенный счет, барон Гакстхаузен, в своей весьма нашумевшей книге «Исследование о внутреннем состоянии России», видит громадное преимущество России в том, что у нее нет пролетариата. Его приводит в восторг община и кустарное производство, сохранение и развитие коих гарантирует Россию от социальных потрясений и социальной революции. А таковая угрожает Западной Европе, благодаря враждебности пролетариата существующему хозяйственному режиму. Поэтому, для охраны существующего строя, нужно было установить свободную торговлю, поощрять кустарей и не допускать развития фабричного промысла. Эту точку зрения в общем восприняли и государственные люди Николаевского времени, в частности Канкрин и Киселев.

Такую же преданность защите кустарной — иногда говорилось сельской — промышленности проявляли и славянофилы. Они не были врагами насаждения промышленности в России, но предпочитали крупной фабрике кустарную избу, находя, что она ближе подходит к условиям русского быта. Само собою разумеется, западники держались иного мнения и были сторонниками индустриализации России. Например, Огарев много писал о благодетельности фабрик для сельского населения. Правда, у него в имении была писчебумажная фабрика.

Во второй половине XIX века борьба против фабрично-заводской промышленности можно сказать усилилась, захватив новые группы в обществе, что видно по статьям, печатавшимся в толстых журналах. А среди экономистов продолжала господствовать тенденция, не только, что Россия страна земледельческая, но что она и не может стать страной промышленной. Так это и говорится, например, в известной книге Тенгоборского:

«Так как Россия не в состоянии сравниться или превзойти другие страны на поприще мануфактурной промышленности, и

не имеет всех условий, необходимых для того, чтобы сделаться страною мануфактурною, то мы должны преимущественно стараться о распространении тех отраслей промышленности, которые наиболее соответствуют положению нашей страны, в высшей степени земледельческой, и наилучше могут быть соединены с нашей сельской промышленностью. Вообще должно поощрять те отрасли промышленности, для которых наша почва производит в изобилии сырой материал» (Тенгоборский, «О производительных силах России».).

По-прежнему существует глубокая вера в полную осуществимость в России артельной организации производства.

«Мы вполне согласны, — пишет Корсак (Корсак, «О формах промышленности в Западной Европе и России», Москва, 1861.), — что нынешняя фабрика совершеннейшая в экономическом отношении форма производства в настоящее время, но думаем также, что ее всепоглощающее могущество опасно, а за неимением его, сообщать ей это подавляющее влияние посредством внешней помощи еще опаснее.

Фабричные отрасли домашнего производства, которые теперь имеют вид самой вредной и невыгодной во всех отношениях, так называемой домашней системы, при помощи ассоциаций домашних работников, при помощи кредита и общественных мастерских, могли бы явиться в виде новой фабричной формы, со средствами, настоящей, и с благодетельными результатами, которых последняя лишена. Эта новая форма могла бы таким образом быть противодействующей силой темным сторонам современного фабричного производства.

В этом же смысле высказался даже и первый торгово-промышленный съезд, состоявшийся по случаю Всероссийской мануфактурной выставки 1870 года. Правда, надо сказать, на этом съезде было больше чиновников, чем промышленников. Съезд признал желательным, чтобы, для улучшения быта рабочего населения в России, путем распространения так называемых хозяйственных и промышленных артелей: обществ потребителей, ссудосберегательных общественных касс, товариществ взаимного кредита и т. д. — было бы произведено правительственное исследование этого вопроса и издано нормальное положение, определяющее права и юридическую организацию этих артелей.

Отношение левого сектора русской общественности шестидесятых и семидесятых годов достаточно хорошо известно, чтобы на нем долго останавливаться. В отрицании капитализма и борьбе против крупной фабричной промышленности, они доходили до предела, иногда быть может и его преступали.

Достаточно как будто ограничиться некоторыми яркими примерами. Так Чернышевский держится той точки зрения, что «произведения домашней фабрикации» показывают, что при благополучных обстоятельствах ловкость, и при самых простых снарядах, может с выгодой соперничать с многосложными и дорогими машинами больших фабрик».

В «Отечественных записках» Г. З. Елисеев утверждал, что если бы фабрики в России были закрыты, то питающееся от них население легко нашло бы себе другие занятия. А фабрики являются вредными, так как мужик на них «отвыкает от крестьянского труда».

Н. Г. Михайловский утверждает, что «вся публицистика, ратующая за развитие кредита в нашем отечестве, за умножение акционерных обществ в России, за развитие отечественной промышленности, ратует за гибель и нищету русского народа»…

В. В. (Водовозов) считает, что «не имея возможности развиваться так, как требует этого природа капитализма, последний, как появился, так и останется в России гостем, привлеченным почти насильно, чувствующим себя не дома и поэтому не могущим оказывать здесь того громадного влияния на все сферы жизни, какое он имел в стране своего естественного зарождения и процветания»…

Ко всем вышеприведенным цитатам комментарии излишни.

В заключение можно привести, для характеристики чисто аграрных настроений, сохранившихся в России до самого последнего времени, некоторые выдержки из петиции Императорского Вольного Экономического Общества, по поводу пересмотра таможенного тарифа. Вот, что мы там читаем:

«С политической точки зрения не расчет насаждать капиталистическое и демократизирующее производство в ущерб искони народному консервативному, как не расчет располагать массами негодных к исполнению воинской повинности, безземельных и бездомных людей, которым терять нечего и которые давно не пользуются у нас доброй славой. Тарифы с бессрочно высокими ставками равносильны систематическому разорению потребительских масс, при которых самый рост народного богатства становится физической невозможностью. В результате Общество приходит к выводу, что не только не усматривается поводов к дальнейшему повышению таможенных пошлин, но наступила пора принять почин к таможенному разоружению».

Справедливость требует, однако, отметить, что все подобного рода выступления и в сторону свободной торговли, и против фабрично-заводского строительства, производили мало

впечатления, и иногда бывали «гласом вопиющего в пустыне». Таможенная политика оставалась протекционистской, и целый ряд правительственных мероприятий, — в частности финансовые реформы Витте, — сыграли огромную роль в развитии производительных сил России, в росте фабрично-заводской промышленности. Поэтому все вышеприведенные ссылки на настроения отдельных общественных групп, интересны не как обоснования тех или иных «реальных» неуспехов, а как характеристика той атмосферы и тех условий, в которых приходилось работать частной инициативе, которой надо было преодолевать не только естественные и природные препятствия, но и человеческую косность.

Это непонимание значения роли промышленности в русском народном хозяйстве сохранилось до самых последних лет перед первой мировой войной и находило отклик в различных общественных кругах, в частности и в Государственной Думе.

«Неприязненное отношение к промышленности, — читаем мы в одном из трудов Совета Съездов представителей промышленности и торговли, — в особенности к промышленности крупной, весьма характерно для Третьей Государственной Думы. Оно сказывается не только в словесной борьбе против синдикатов и вообще всяких промышленных организаций, в чем наш парламент, не обнаружив, впрочем, достаточно компетентности, подражал своим европейским собратьям, но также, что уж совсем не похоже на Европу, — в выдвигании вперед казенного хозяйства против частного, при полной осведомленности о неудачливости первого… Интересно, что этот дореформенный взгляд, уповающий исключительно на казну, сопровождается резкой, иногда даже несколько пристрастной критикой казенного хозяйства, поэтому объяснить его, иначе как врожденной неприязнью к частной промышленности, невозможно. Это именно неприязнь, то есть чувство, а не сознательная программа или доктрина. Аффект этот до такой степени насыщает думскую атмосферу, что лица, имеющие непосредственную связь с промышленностью, как-то конфузятся сами, а сочленами оставляются под подозрением, в том смысле, что взгляды их диктуются не общими государственными соображениями, а узкими, сословными, даже личными интересами.

Большой урон нанесла Третья Государственная Дума русской торговле и промышленности в области идейной. Вместо широкого порыва, который бы осмыслил и облагородил деловую жизнь и инициативу, столь необходимую для блага и прогресса погрязшего в материальном неустройстве народа, Третья

Государственная Дума проявила здесь полное безучастие, неосведомленность или повторяющее либеральные лады доктринерство. В умственной атмосфере русского общества все осталось по-старому»…

Можно привести еще один пример из области деятельности той же Третьей Думы. При обсуждении сметы военного министерства на 1908, 21 Мая 1908 года, А. И. Гучков произнес наделавшую в свое время много шума речь, в которой критиковал назначение великих князей на посты возглавителей ответственных и важных отраслей военного дела… в виду их фактической безответственности. Возражая на эту речь, член Государственной Думы Пуришкевич назвал выступление Гучкова «ситцевым патриотизмом», намекая этим на купеческое происхождение Гучкова.

Пуришкевич имел в Думе большой успех в правом секторе. Но отметим то, что в это время торгово-промышленная Москва уже не считала главу партии октябристов своим представителем.

Если в правых кругах говорили о «ситцевом патриотизме», то в левых клеймили «ситцевый империализм». В своем предисловии к книжке Каутского «Как возникла мировая война», известный советский историк М. И. Покровский пишет:

«Империализм Николая I был, главным образом, «ситцевый».

Не следует думать, что к XX веку этот мотив интереса русской мануфактуры совершенно исчез из обращения. Если мы возьмем вывоз бумажных тканей из России по азиатской границе, мы получим для 1904 года 21,5 мил. рублей, а для 1913 года уже 40,5 мил. рублей: за четыре года увеличений почти вдвое»…

Словом, купечеству попадало и справа и слева. Даже цыгане пели:

Московское купечество, Изломанный аршин, Какой ты сын отечества, Ты просто с…н сын.

ГЛАВА I

«Процесс превращения Москвы в промышленный центр пошел особенно быстрыми шагами вперед после реформы 1861 года. В Москву, на фабрики, толпами двинулись бывшие крепостные крестьяне. Впрочем, еще очень долго, вплоть до начала XX века, многие московские рабочие сохранили связь с деревней, оставленной наполовину крестьянами. Каждую весну, когда начинались сельскохозяйственные работы, они покидали свои станки и тянулись толпами в деревни. С другой стороны, владельцы текстильных фабрик по старинке раздавали в окрестные деревни пряжу, чтобы получить ее обратно размотанной. В рабочих районах, у ворот фабрик, можно было видеть толпившиеся группы приезжих крестьянок, нагруженных громадными связками толстых катушек пряжи… В началах XX века эти пережитки старой мануфактуры отмерли, и московские фабрики в это время уже славились довольно высокой технической оснащенностью. Промышленный рост Москвы совершался очень быстро. Окраины города покрывались десятками вечно дымящихся фабрик. Под их стенами разрастались рабочие кварталы — трущобы с узкими грязными улицами, мрачными бараками без света, воды и канализации» (С. Бахрушин, «Старая Москва», Госкультпросветиздат, Москва, 1947.).

Под этой картиной дореволюционного роста промышленного значения Москвы, которую рисует покойный Сергей Владимирович Бахрушин, я готов полностью подписаться, выпустив только слово «довольно» и сильно смягчив последнюю фразу. «Техническая оснащенность» московских крупных мануфактур — Эмиля Цинделя, Прохоровской Трехгорной, Альберта Гюбнера — была одной из самых лучших во всем мире, и много было уже сделано для улучшения жилищного вопроса для рабочих. Да и у самих Бахрушиных дело это обстояло совсем не так плохо.

Бахрушин прав, говоря, что «промышленным центром Москва начала становиться с начала второй половины прошлого столетья», но торговым центром она была уже давно, со времен Иоанна Грозного, когда пошла на ущерб роль Новгорода и Пскова, и самого Ганзейского союза, и особенно с той поры, когда и англичане «открыли» Московию. Все время расцвета торговли с англичанами и позднее с голландцами именно Москва была местом главного торжища, что отчасти проистекало и из того, что в то время она была и центром жизни государства, то есть

столичным городом. Многие отрасли торговли были в те времена фактической, а иногда и юридической монополией казны, и это обстоятельство способствовало усилению роли Москвы в Российском государстве. Москва была и столицей, и крупнейшим торговым центром. И объяснение этому нужно искать не только в историко-политических, но и в географических условиях, в каковых находилась столица Московии.

Первенствующая роль Москвы в народно-хозяйственной жизни объяснялась, как сказано, и географическими, и историко-культурными условиями (Приводимую ниже характеристику Европейской России, равно как и некоторые указываемые ниже цифры, я заимствовал из последнего официального издания «Торговля и Промышленность Европейской России по районам», СПБ 1910 г.).

«Европейская Россия представляет широкую четырехугольную равнину, вытянутую несколько более в меридианальном, чем в широтном направлении. Эта равнина окаймлена с краев четырьмя горными системами (концом Скандинавской, Карпатской, Крымско-Кавказской и Уральской), четырьмя морями (Ледовитым, Балтийским, Черным и Каспийским) и имеет четыре более или менее широких выхода в соседние равнины (из Лапландии в Швецию, через Польшу и Литву в Германию, из Бессарабии в Румынию и из Нижнего Поволжья в киргизские степи). Из окаймляющих русскую равнину морей все являются, так сказать, внутренними, так как ни одно из них в сущности не имеет вполне свободного выхода в открытый круглый год для меновой торговли океан, хотя северные берега Европейской России и выходят непосредственно в Ледовитый океан, образуя посредине залив, внутреннее Белое море, но. этот океан значительную часть года затерт льдами. Каспийское море не представляет вовсе никаких выходов в океан, а Балтийское и Черное имеют узкие выходы в океан далеко за пределами России».

Таким образом, Европейская Россия является наиболее замкнутой, а следовательно наименее доступной для меновой торговли из всех стран Европы, еще вдобавок и наиболее холодной по климатическим условиям. Это обстоятельство в связи с менее культурным населением, зависящее от исторических причин, служит объяснением сравнительно незначительного развития торгово-промышленной жизни в России. Торгово-промышленный оборот на одного жителя в Европейской России, выражавшийся в сумме в 7 с небольшим рублей в месяц, как раз соответствовал покупной способности главной массы населения — чернорабочего люда, ежемесячный

заработок которого в среднем именно и оплачивался этой суммой денег.

Для развития торгово-промышленной жизни на равнине Европейской России имело большое значение то обстоятельство, что воды Европейской России значительную часть года скованы льдами. Это заставляло в зимнее время менять естественную водную коммуникацию на искусственную сухопутную. Посему на развитие торгово-промышленной жизни имели первенствующее влияние сухопутные сообщения. Сначала грунтовые, а впоследствии железные дороги. Такового рода пути перекрещивались в центральной промышленной области и, прежде всего, в ее столице. В древности именно московская местность служила средоточием нескольких важнейших путей, и город Москва стоял на перекрестке этих путей.

С северо-запада от Новгорода сюда направлялись две дороги: Серегерский путь через Осташков к Зубцову и Мстинский или Вышневолоцкий путь мимо Твери. Очевидно, эти дороги пролегали прямо через Москву из Новгорода к Рязанской области и дальше, к Дону. С запада и от верховьев Двины и Днепра из Полоцка или Смоленской области, или из страны древних кривичей, а следовательно вообще от Балтийского моря, через Москву, по Москве-реке и Клязьме направлялись прямые дороги к Болгарской Волге и, низом Москвы-реки, опять на Рязань и к Дону.

С юга же, от Чернигова, а значит и от Киева, сюда же шла дорога по Десне, Болве и Жиздре на Оку, или по Десне и Угре переволоком в Москву-реку, а отсюда, через переволок, по Клязьме, — к северу, на Суздаль, Ростов и даже на Белоозеро, и к востоку, на Болгарскую Волгу.

Москва искони была культурно-политическим центром в истории равнины Европейской России. В ней же было и наибольшее оживление торгово-промышленной жизни. Москва как бы подает руку вдоль Николаевской железной дороги Петербургу, в виду почти сплошного ряда более или менее бойких промышленных районов. А истоками Оки и Москва-рекой они связаны были с Волгой и Камой, этими крупнейшими водными путями Европейской России, вдоль которых с самых давних пор сосредоточивалась ранее только торговая, а впоследствии и промышленная деятельность. Наконец, Москва стала самым крупным железнодорожным узлом в России, связанным со всеми районами необъятной российской равнины.

Для иллюстрации указанных выше положений достаточно привести лишь несколько цифр, взятых из того же официального издания министерства торговли и промышленности. Они

относятся к началу текущего века, то есть почти к тому времени, к которому относится и начало моих личных воспоминаний.

Из общей цифры всего торгово-промышленного оборота Европейской России — 9 миллиардов 702 миллиона рублей — на долю московской промышленной области приходилось 2 миллиарда 141 миллион; из них на долю самой Москвы 1.172 миллиона, иначе говоря, одна Москва давала более одной десятой всего российского оборота (11,5 %). Торговый оборот Первопрестольной столицы составлял 854 миллиона, а промышленный 318 миллионов. На каждого жителя это составляло, для московской промышленной области 303 рубля (167 по торговой и 136 по промышленной). Средний же оборот по всей Европейской России выражался в цифре 84 рубля, — семь рублей в месяц, как это уже указывалось. В других областях оборот был значительно меньше. За Москвой идет северо-западная область, с Петербургом, — 130 рублей; далее — южная хлеботорговая — 125 рублей; южная горнопромышленная — 116 рублей и т. д. Из сказанного видно, что в Московской области торгово-промышленная деятельность была более чем вдвое оживленной, чем в других областях, где также были развиты либо промышленность, либо торговля, и почти в четыре раза больше среднего общероссийского уровня.

Общее количество предприятий для Московской области было 53 тысячи, из коих 16 тысяч находились в самой Москве. Это давало самую высокую цифру предприятий по отношению к числу населения, — 8 на тысячу жителей, и самый высокий средний оборот на жителя, — 26 рублей. Но средний промышленный оборот Московской области — 126 рублей — уступал южной горнопромышленной, где таковой исчислялся цифрой в 140 рублей. Наконец, можно еще указать на то, что в торговой группе торговля мануфактурой занимала первое место: из общего оборота в 1.180 миллионов для Московской области на долю мануфактуры приходилось 379,5 миллионов, то есть примерно 31 % общей суммы. За мануфактурой шла торговля земледельческими и растительными продуктами, с 155-ью миллионами.

Этих цифр как будто достаточно, чтобы обрисовать первенствующую роль Москвы (в начале текущего столетия) во всей народно-хозяйственной жизни Европейской России, и вместе с тем подчеркнуть то значение, которое для московского района имели мануфактурная промышленность и торговля. Москва являлась самым обширным резервуаром внутренних промышленных и торговых капиталов. В нее стекались со всех концов России торговцы за товарами, туда же шло громадное

количество сырья для перепродажи или переработки на многочисленных фабриках как в самой Москве, так и в окрестных городах и селениях. Не будет преувеличением сказать, что в Москве сосредоточивались главные массы всей внутренней и иностранной торговли России. В Москве издавна накопились, в разных слоях ее населения, запасы преимущественно практических, технических знаний, и находились наиболее предприимчивые руки, устраивавшие промышленные заведения не только в Москве, но и вне ее. Поэтому Москва являлась как бы главным рассадником торговли не только всей внутренней России, но даже Кавказа и Средней Азии.

Благодаря своей торговле, Москва поддерживала Постоянную живую связь со всеми частями Российского государства до самых крайних пределов его в Европе и Азии. Торговцы Москвы и других близ лежавших торговых местностей с бесчисленной армией своих приказчиков и агентов всякого рода, армией, рассеянной по всей России и проникавшей даже внутрь всех соседних азиатских государств, являлись движущей силой всего торгового оборота на всех ярмарках, в том числе и в Сибири и в пограничных азиатских странах. Весь украинский ярмарочный торг, имевший такое огромное значение для народнохозяйственной жизни юга России, — может быть за исключением юго-западной окраины, — в сущности говоря мог бы быть назван московским торгом: такое значение имели на нем отделения московских фабрик или даже представительства московских оптовых торговцев, торговавших только чужим товаром. И все эти торговцы, принадлежавшие ко всем ступеням коммерческой иерархии, от крупных скупщиков до самых мелких разносчиков, ходебщиков, коробейников и офеней, лепились в тех местностях, куда они проникали колонизаторами московской промышленности и московской торговли.

Последние десять лет прошлого века и первые годы текущего характеризовались чрезвычайным ростом промышленности в России. Целый ряд отраслей производства стал развиваться с необычайной быстротой, стали появляться новые виды индустрии, до той поры в России не существовавшие. Развитие шло как в области обрабатывающей, так и в области добывающей промышленности. Горнозаводская, железоделательная, сахарная, текстильная, в особенности ее хлопчатобумажная ветвь, достигли большого расцвета и, несмотря на значительное увеличение емкости русского рынка (внутреннего), обслуживание его за счет продуктов домашнего производства не только не сократилось, но, наоборот, стало производиться почти исключительно за счет русской промышленности. Росту ее способствовали как неисчислимые естественные богатства России, так и ряд

необходимых правительственных мероприятий, проведенных во время управления российскими финансами С. Ю. Витте, как, например, реформа в области денежного обращения или покровительственная таможенная политика, которая уже и ранее, с начала XIX века, существовала в России. Помогала этому росту и общая атмосфера, которая развивалась и господствовала в русских деловых и частью в правительственных кругах. Лозунгом того времени было поднятие производительных сил России, строительство собственной индустрии, организация собственного русского производства для использования богатейших производительных сил России. И нет никакого сомнения, что весь этот процесс промышленного развития не являлся сколько-нибудь случайным или искусственно привитым русскому народному хозяйству.

Скорее обратно, промышленное развитие слишком запоздало в России конца XIX века по сравнению с ее западными соседями, и нужны были чрезвычайные меры, чтобы заставить Россию в некоторой мере нагнать другие европейские страны. Поэтому тот рост промышленности, который сам по себе наблюдается в абсолютно значительных цифрах, представлял собою лишь естественное следствие развития всей русской народнохозяйственной жизни вообще. И для всякого беспристрастного наблюдателя несомненно, что все те значительные успехи, кои были достигнуты на русской земле в последние годы, были возможны только в силу такого огромного промышленного подъема, который имел место в России в последние годы перед революцией.

Для иллюстрации промышленного роста того времени приведу лишь немного цифр, относящихся к хлопчатобумажной промышленности, столь характерной для Московского промышленного района. Так, число веретен с 1906/7 года до 1912/3 возросло с 6,5 миллионов до 9.213.000, а количество выработанной пряжи — с 16 миллионов пудов до 22 миллионов. За это же время количество веретен в Англии возросло на 20 %, а в Соединенных Штатах Америки — на 10 %.

Число механических ткацких станков, которое в 1910 году достигало цифры в 151.300, в 1913 увеличилось на 98.614 и составляло 249.920, иначе говоря — за 13 лет увеличений было 65 %. Соответственно этому и общее количество тканей, ежегодно вырабатывавшихся, увеличилось с 11 миллионов 700 пудов до 19 миллионов 589, то есть увеличение было примерно таким же (67,2 %).

Наряду с количественным ростом шло и качественное улучшение фабричного оборудования. Многие текстильные

фабрики России, и Московского района в частности, принадлежали по своему оборудованию к лучшим в мире.

В подтверждение можно привести характерное свидетельство, которое дает упоминавшаяся уже книжка о России, изданная газетой «Таймс». Вот что английская газета говорит о конкурентах своей национальной промышленности:

«Согласно мнению экспертов, некоторые русские мануфактуры — лучшие в мире, не только с точки зрения устройства и оборудования, но также в смысле организации и управления. Например, Кренгольмская мануфактура в Нарве многими считается лучшим в мире, по организации, предприятием, не исключая и тех, которые находятся в Ланкашире. Эта мануфактура обладает руководящим персоналом, состоящим из 30-ти англичан, госпиталем, который стоит 2 миллиона франков. Там имеется более двух миллионов веретен и 4.000 ткацких станков, — рабочий городок с населением более 3.000 человек. Все это выстроено и управляется по современным принципам и принимая во внимание современные условия» (Упоминаемая здесь Кренгольмская мануфактура находилась около Нарвы и принадлежала Кнопам. Но московские фабрики были оборудованы не хуже.).

Одной из главных особенностей московской торгово-промышленной жизни перед революцией был, как говорили в свое время, семейный характер ее предприятий. И фабрики, и торговые фирмы оставались зачастую собственностью той семьи, члены которой дело создали, сами им руководили и передавали его по наследству членам своей же фамилии. Так, например, Прохоровская мануфактура и принадлежала семье Прохоровых, Морозовская фирма оставалась в руках Морозовых, а дело, носившее имя Щукина, Щукинским и было.

Правда, к войне 1914 года почти вся крупная промышленность и крупная торговля были акционированы. Предприятия носили форму паевых товариществ, но в известном смысле это была лишь юридическая форма. Все — иногда без исключения — паи оставались в руках одной семьи, и в уставах обычно имелся параграф, затруднявший возможность продать паи «на сторону». Правление, то есть глава семьи и его ближайшие помощники, из числа членов той же семьи, сохраняли за собою право «выкупить» таковые паи, если кто-либо из пайщиков, по тем или иным основаниям, хотел выйти из дела. Что таковой параграф не был простой формальностью и не оставался только «на бумаге», было несколько примеров, и самым характерным было дело нашей семьи и Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова.

В начале девятисотых годов мой отец купил несколько десятков паев этой хлопчатобумажной фабрики, крупнейшей не только в России, но и в мировом масштабе. Правление отказалось перевести паи на имя приобретателя, и началось судебное дело, тянувшееся около десяти лет. Мы выиграли в первой инстанции, но это не дало практического результата, и только значительно позже, когда в составе пайщиков Никольской мануфактуры произошли крупные изменения после смерти ряда членов семьи Морозовых, наше дело было окончено миром.

Эта форма «семейных предприятий» была характерна для Москвы благодаря тому, что основную массу и промышленных и торговых предприятий Московского промышленного района представляли либо текстильные фабрики, преимущественно хлопчатобумажной промышленности, либо оптовая же торговля мануфактурой. А хлопчатобумажная промышленность до последнего времени оставалась мало доступной и иностранным, и банковским капиталам. Из данных, приведенных в исследовании П. В. Оль, совершенно ясно видно, что иностранный капитал играл весьма малую роль во всех областях текстильной промышленности, в особенности в центральном промышленном районе, иначе говоря в Москве. Другое положение было в Лодзи, где целый ряд предприятий — и по обработке хлопка, и по обработке шерсти — был оборудован за счет германского капитала, под контролем коего они и оставались до самого последнего времени. Но в самой России лишь в очень небольшом числе текстильных предприятий были иностранные пайщики. Иностранный капитал — английский — контролировал только одну отрасль текстильного дела, именно ниточную промышленность, где всемирно известная фирма Коатс была, в сущности говоря, монополистом. Во всех других группах иностранцы роли не играли, что подтверждается подсчетом П. Оля. Из общей цифры — 2.242 миллиона — иностранных капиталов, вложенных в русское народное хозяйство, лишь 191 миллион приходился на долю текстильной промышленности, да и то более ста миллионов приходилось на долю предприятий, расположенных в местностях, от России отошедших.

Эта присущая московской жизни старого времени форма семейных предприятий весьма сказывалась на торгово-промышленном представительстве. Поскольку в составе правлений были сами владельцы, так сказать подлинные «хозяева», то они сами обычно и несли обязанности по участию в тех или иных промышленных группировках, или объединениях. А хозяйская точка зрения далеко не всегда совпадала с точкой зрения «служащих», даже таких крупных, как директора-

распорядители. На все вопросы «хозяева» обычно смотрели, конечно, прежде всего, с точки зрения интересов своего дела, но вместе с тем, не будучи ни перед кем ответственны, могли гораздо легче и шире идти навстречу таким мероприятиям, которые не были финансово выгодны, как, например, в области оборудования фабричных больниц или школ. Те, скажем, учреждения, которые были созданы на Коноваловской мануфактуре, к столетнему ее юбилею, не были бы возможны в предприятии, где главенствовали либо представители иностранного капитала, либо назначенные банками лица, для которых все сводилось к тому, чтобы поднять биржевую цену акций. Торгово-промышленная акция и ее положение на денежном рынке интересовали банки как биржевая ценность, как ценная бумага. И банковских представителей в правлениях фабрично-заводских предприятий интересовало прежде всего то, что могло непосредственно сказываться на биржевой стоимости акций, а не на потребностях самого дела, вытекающих из требований производства.

Вышеприведенному утверждению о незначительности участия иностранных капиталов в хлопчатобумажной промышленности Московского района отнюдь не противоречит та огромная заинтересованность, какую имела в этой промышленности контора Кноп, имя которой теснейшим образом связано с ростом и развитием хлопчатобумажного дела в России. Все в Москве повторяли поговорку: «Где церковь, там и поп, а где фабрика, — там Кноп» (Иногда прибавлялось: «Где постель, там и клоп».). Поговорка эта довольно верно характеризовала существующее положение. Но участие Кнопа в том или ином деле не было, в собственном смысле слова, участием иностранного капитала.

Основатель конторы Л. И. Кноп, Людвиг Кноп, родился 3 августа 1821 года в Бремене, в мелкой купеческой семье. Четырнадцати лет он поступил на службу в одну Бременскую торговую контору, но вскоре переправился в Англию, в Манчестер, где стал работать в известной фирме Де Джерси. Время своего пребывания в Англии молодой Людвиг Кноп использовал, чтобы ознакомиться не только с торговлей хлопком, но и со всеми отраслями хлопчатобумажного производства: прядением, ткачеством и набивкою.

Фирма Де Джерси продавала в Москву английскую пряжу, и в 1839 году Кноп был отправлен в Россию, как помощник представителя этой фирмы в России. Ему было тогда лишь 18 лет, он был полон сил и энергии, знал чего хотел. С этого времени началась его легендарная промышленная карьера.

Есть мнение, что своим успехом Кноп обязан, прежде всего, своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы. Нравы торговой Москвы того времени были еще почти патриархальными, и весьма многие сделки совершались в трактирах, за обеденным столом, или «за городом, у цыганок». Кноп сразу понял, что для того, чтобы сблизиться со своими клиентами, ему нужно приспособиться к их привычкам, к укладу их жизни, к их навыкам. Довольно быстро он стал приятным, любимым собеседником, всегда готовым разделить дружескую компанию и способным выдержать в этой области самые серьезные испытания. Для характеристики того, насколько нелегко было Кнопу равняться по своим московским клиентам, можно привести из воспоминаний П. И. Щукина рассказ «Как в старину пили московские купцы.»

«Московский городской голова Михаил Леонтьевич Королев, — пишет автор воспоминаний, — Алексей Иванович Хлудов, Павел и Дмитрий Петровичи Сорокоумовские, Иван Иванович Рогожин, Василий Гаврилович Куликов и Николай Иванович Каулин ходили обыкновенно пить шампанское в винный погребок Богатырева, близ Биржи, на Карунинской площади. Прежде всего, Королев ставил на стол свою шляпу-цилиндр, затем начинали пить, и пили до тех пор, пока шляпа не наполнялась пробками от шампанского; тогда только кончали и расходились».

Поворотным пунктом в жизненной и деловой карьере Кнопа было оборудование им первой морозовской фабрики. Морозовы, работавшие в хлопчатобумажном деле со времен Отечественной войны, и как небольшие промышленники, и как торговцы пряжей, стали на путь — как и некоторые другие — организации своего собственного фабричного производства, Савва Васильевич Морозов, создавая свою первую фабрику, знаменитую впоследствии Никольскую мануфактуру, поручил молодому Кнопу ее оборудование и прядильным машинами, и ткацкими станками, за счет английской машиностроительной промышленности. Задача эта представлялась весьма трудной для выполнения. Англия не имела большого желания создавать в чужих краях конкурирующую с нею промышленность и отнюдь не была склонной — по первоначалу — открывать для этого большие и долгосрочные кредиты.

Но Кноп взялся за это дело с необычайной энергией, и тут-то и проявился его выдающийся организаторский талант. Оказалось, что у него отличный желудок, но голова — еще лучше. Он сумел завязать деловые отношения с рядом машиностроительных заводов Манчестера и получить от них монопольное право на

представительство в Москве. В Манчестере он стал единственным и непререкаемым специалистом по московским делам.

Успех в оборудовании Никольской мануфактуры был решающий. За Морозовым последовали другие — можно сказать, все другие — и в течение ближайших лет вся почти текстильная, главным образом, хлопчатобумажная промышленность московского района была «модернизована» и переоборудована заново. Успеху деятельности Кнопа весьма помогало то обстоятельство, что по мере развития своей активности он получил возможность своего рода финансирования обслуживаемых им предприятий. Техническое оборудование доставлялось не за «наличный расчет» и не в кредит, а за счет увеличения основного капитала и выпуска новых паев, которые и служили средством расплаты. Благодаря этому методу, Кноп являлся участником целого ряда предприятий — Шульце Геверниц дает цифру 122, — которые были, при содействии его конторы, оборудованы и где его люди сидели в правлениях и других руководящих органах. Но нужно сказать, что Кноп не стремился «контролировать», в тесном смысле этого слова, связанные с ним хлопчатобумажные фирмы. И он, и его ставленники были «мужи совета», и такой вид активности не мало способствовал его успеху; его не боялись и охотно шли на всяческие с ним соглашения, а деятельность конторы Кноп весьма расширилась с течением времени: в частности, она стала поставщиком американского хлопка.

Кноп и его семья довольно быстро обрусели, как это впрочем часто бывало с разными иностранцами. Он стал русским подданным, потом получил титул барона, но не знаю точно, как и почему. Людвиг Кноп умер в 1894 году, в расцвете своего успеха. После него осталось два сына, — барон Андрей и барон Федор Львовичи. Но у них не было и малой доли того влияния и того авторитета, которые были у их отца. Они были очень приятные, очень культурные люди, в особенности Андрей Львович, с которым мне не мало приходилось встречаться по фирме Эмиль Циндель, но особой роли в общественно-промышленной жизни Москвы они не играли. Тем не менее, среди московских немцев они по праву занимали первенствующее положение.

Деятельность Людвига Кнопа была, несомненно, очень полезной для развития русского текстильного дела и ни в какой мере не способствовала подчинению русской индустрии иностранному капиталу. Но, конечно, и на кноповскую активность нередко бывали нападения. Так например Кокарев писал в своих «Экономических провалах»:

«Не могу не вспомнить о близком к нашему времени

обстоятельстве, ясно выразившем, до какой степени правительство и общество относятся, спокойно к вопросу о привозе иностранного хлопка, убивающего народную льняную промышленность. Известный коммерсант К., водворяющий в Россию несколько десятков лет американский хлопок и устроивший, с пособием своих средств, для разных лиц более сорока бумагопрядильных и ткацких фабрик, праздновал какой-то юбилей своей, губительной для русского народа, деятельности. Многочисленное русское общество пировало на этом юбилее, поднесло юбиляру альбом с видами сооруженных при его посредстве фабрик, а правительство возвело его в какой-то чин. Таким образом отпраздновали пир, так сказать на хребте русского народа, лишившегося льняных посевов и насильственно облеченного в линючий ситец, распространение которого, увлекая нашу монету за границу по платежу денег за хлопок, увеличило внешние займы и усилило финансовое расстройство. Вспоминая этот юбилей, нельзя не воскликнуть: «О невинность, это ты».

Оценка Кокарева даже для того времени представляется весьма наивной и упрощающей довольно сложное положение всей русской текстильной промышленности. Кокарев был своего рода экономический славянофил и любил все русское, но нужно сказать, что в восьмидесятых годах хлопчатобумажная промышленность была подлинной русской индустрией и работала уже частью на русском хлопке.

Говоря о семье Кнопов и об отношении к ним в Москве, интересно сказать об отношении вообще к немцам, коих в московской промышленной и торговой жизни было не мало. Приведем, один анекдотический эпизод, о котором в свое время много говорили.

В эпоху Всероссийской выставки 1896 года было не мало проявлений усилившейся роли купечества в России. Выставка была устроена в Нижнем Новгороде, во время Макарьевской ярмарки. И ярмарочное, и прежде всего — московское купечество хотели подчеркнуть, какую важную роль они играют, являясь «оплотом торговли и промышленности могущественной России.» Одним из внешних проявлений этой тенденции явилась организация «почетной охраны при особе Государя», в то время, когда он приезжал осматривать выставку. Двадцать семь детей из московского и нижегородского родовитого купечества составили отряд рынд, одетых в красивые белые кафтаны с секирами на плечах.

Молодые люди были подобраны один к одному. Костюмы были очень дорогие. У многих были подлинные серебряные

секиры. Словом, отряд производил внушительное впечатление и всем очень понравился. Понравился он и Государю, который решил проявить к рындам свое внимание. Обратись к одному из них, он спросил: «Как твоя фамилия?» «Шульц, Ваше Императорское Величество» — последовал немедленный ответ. И действительно, это был Андрей Иванович Шульц, в будущем маклер по учету при Московской Бирже, очень красивый человек, а в молодости, как говорят, напоминавший юного греческого бога. Тогда Государь обратился к другому с тем же вопросом: «Ну а твоя фамилия?» — «Ценкер, Ваше императорское Величество.» — ответил вопрошаемый. Государь несколько смутился и наудачу спросил еще одного: «А ты как называешься?» — «Кноп, Ваше Императорское Величество.» Государь фамилий больше не спрашивал, но спросил еще одного из рынд: «Что работает ваша фабрика?» Тот, в смущении, вместо того, чтобы сказать «ситец», ответил: «Чичец, Ваше Императорское Величество.»

На этом и кончилось общение Царя с рындами. Этот эпизод считали символом немецкого засилья в купеческой Москве и много, хотя и добродушно, над этим случаем посмеивались.

К началу войны 1914 года обрисованный выше патриархальный характер структуры текстильной промышленности Москвы начинает несколько видоизменяться. С помощью банковского капитала начинается процесс концентрации отдельных отраслей, который особенно сильно сказывается в хлопчатобумажной и льняной группах. Характерно то, что таковая концентрация идет за счет отхода и умаления влияния Кноповской группы. Примерно в 1912 году Богородская Глуховская мануфактура стала испытывать некоторые денежные затруднения, что вызвало реорганизацию состава правления. Кноповская группа продала свои паи на сумму свыше миллиона рублей Азовско-Донскому банку, и представитель последнего, заведующий его товарным отделом, вступил в состав правления, заменив директора от Кноповской группы, Р. И. Прове.

Точно также Кноповская группа отошла от руководства тремя крупнейшими ситценабивочными мануфактурами Московского района: Товариществом Альберта Гюбнера, Даниловской мануфактурой и Товариществом Н. Н. Коншина С-ей. Кнопов заменил известный сибирско-московский мануфактурный деятель Н. А. Второй, ставший во главе всех этих трех мануфактур и создавший для сбыта их изделий особые синдикатские типы Товариществ внешней и внутренней торговли.

Процесс концентрации проявился сильно и в льняной промышленности, где группы Рябушинского и С. Н. Третьякова купили ряд льняных мануфактур: Т-во Локаловых, Меленковскую

мануфактуру, Нижегородскую льняную и др. Это были первые шаги к созданию русского льняного треста, но революция помешала окончательному завершению этого дела. Этот процесс концентрации получил сильное развитие после февральской революции, но то, что было сделано, в сущности говоря, осталось на бумаге.

Значение Москвы в общей народнохозяйственной жизни России усиливалось в свое время еще и тем, что дело организации и представительства в этой области стояло на очень низкой ступени. Еще в промышленности, особенно после революционных событий 1905 года, положение было несколько лучше; торговля же до самых последних дней так и оставалась неорганизованной. По правде говоря, в дореволюционной России вообще не было того торгово-промышленного представительства, какое знают и Западная Европа, и Америка. Это не значит, что голос промышленности, а иногда и торговли, не был вовсе слышен и что Правительство к нему не прислушивалось, но в первую голову имело значение кто говорит, какое лицо, а не какое учреждение. Таковых было немного, и они долго не носили общероссийского, либо общепромышленного характера. Закон о торговых палатах был принят Временным Правительством лишь в 1917 году и вовсе не вошел в жизнь.

Нельзя, однако, сказать, что не было попыток как-то подойти к разрешению этого вопроса и выявить что-то такое, что заменило бы отсутствующие представительные учреждения. Началось это, как часто бывает, с «обедов», которые заставляли много о себе говорить в Петербурге. Устраивались они, в течение лет, в ресторане Донон, и на них происходило обсуждение социально-экономических вопросов.

«На обедах этих собирались представители крупной бюрократии, финансового мира и тех отраслей промышленности, которые были заинтересованы в понижении пошлин. Поднимались тут и обсуждались самые разнообразные вопросы, зачастую выходящие за рамки торгово-промышленных. На этих обедах промышленники были скудно представлены, заслоненные бюрократами, финансистами и экономистами. Вследствие этого, на обедах высказывались взгляды, идущие вразрез со стремлениями заводчиков и фабрикантов и возбуждавшие их великий гнев. В свою очередь, все эти фабриканты устраивали свои, так сказать «контробеды» и вели запальчивую и неустанную борьбу с посетителями «экономических обедов» в ресторане Донон.» (П. А. Берлин, «Русская буржуазия в старое и новое время», «Книга» 1922.)

Эти «фритредерские» обеды, душою которых был известный

экономист шестидесятых годов В. П. Безобразов, вызывали большую полемику в прессе. «Московские ведомости» называли их «праотцом всех наших застольных парламентеров» и «репетицией парламента». «Голос» упрекал «Московскую газету» в доносительстве, а «Новое время», в лице Скальского, считало, что они «явление весьма общественное и весьма крупное» и что «на них были разрешены многие капитальные государственные вопросы, от которых до сих пор охает русский народ». Московская купеческая общественность смотрела на собрания у Донона неодобрительно, устами В. А. Кокорева называла этот кружок «фирма Они» и заявляла, что значение его непомерно сильно и что «к нему принадлежит много влиятельных лиц».

Примерно в то же время начинают собираться торгово-промышленные съезды, или точнее — так называемые торгово-промышленные съезды, потому что по их составу таковыми их назвать никак невозможно; ни организованной промышленности, ни торговли еще не было, а отдельные представители фабрикантов и торговцев, хотя и принимали в этих совещаниях участие, но их голоса терялись в общей массе «приглашенных лиц», где были ученые экономисты, сельскохозяйственные деятели, представители банков и, главным образом, чиновники.

Посему эти совещания сплошь и рядом — как будет видно ниже — принимали постановления, которые никак не могли почитаться выражениями чаяний и пожеланий торгово-промышленного класса. Таковых съездов было четыре: первый был в Петербурге, два имели место в Москве, а четвертый и последний — на Нижегородской ярмарке, т. е. там, где Москва была сильно представлена. Но, как говорит русская пословица: «Не место красит человека», и московские настроения выявились на этих съездах весьма мало.

Первый в России торгово-промышленный съезд имел место в Петербурге в 1870 году, когда в Петербурге была организована мануфактурная выставка. Это дало повод для собраний и совещаний, задачей коих было обсудить вопросы, связанные с промышленностью и торговлей. Съезд был многолюден; председательствовал на нем герцог Лейхтенбергский, — особа императорской фамилии. Было не мало красноречивых выступлений и оживленных прений, одно только не удалось: представителей промышленности почти не было, российское купечество проявило к этому казенному начинанию полное равнодушие, что с горечью и было отмечено одним из самых заметных ораторов на съезде — Полетикой.

На первом собрании съезда В. Вешняков — вице-директор департамента сельского хозяйства в министерстве

государственного имущества, заявил, что с падением системы полицейского государства и с провозглашением начала свободы промышленности, последняя «почувствовала потребность в самосознании и уяснении самой себе своих нужд.»

Заметим, однако, что может быть, к сожалению, это не соответствовало действительности, ибо, как уже сказано, и фабриканты, и заводчики «блистали своим отсутствием».

Съездом был принят ряд резолюций: об исследовании рабочего вопроса, об определении прав артелей, об организации торгово-промышленного представительства. Съезд был единодушен в признании того, что это дело обстоит совершенно неудовлетворительно. В принятии резолюции было высказано пожелание об учреждении как местных комитетов, так и центральных комитетов, основанных исключительно на выборном начале, о предоставлении местным комитетам права непосредственного обращения к министру финансов. По вопросу о тарифной политике Съезд высказался за умеренный протекционизм и, наконец, выразил пожелание, чтобы следующий был созван в 1872 году.

В 1872 году в Москве опять состоялась всероссийская выставка, «Политехническая», как гласило ее официальное наименование. В этом же году должен был состояться Второй промышленный съезд, но он созван не был, и состоялся только десять лет спустя. Промышленность вообще на этой выставке не была в почете, в частности промышленность московского района, т. е. текстильная. Обозреватель выставки, небезызвестный К. А. Скольковский, писал в своей корреспонденции:

«Нельзя сказать, чтобы мануфактурный отдел, устроенный на средства собранные Найденовым, был удачен. В нем много находилось отличного, но он был беден числом предметов, не полон и потому не давал никаких данных для сравнения».

Он даже указывал, что главными экспонатами были изделия «известных фабрик» Т. С. Морозова.

Несомненно, эта инициатива молодого еще Н. А. Найденова была полезнее для развития русской индустрии, чем разговоры чиновников на совещаниях.

В 1882 году в Москве была Всероссийская выставка. К ней должен был быть приурочен промышленный съезд, но два общества, — «Общего содействия развитию промышленности и торговли» и «Императорское русское техническое Общество», которые принимали ближайшее участие в организации Съезда 1872 года, на этот раз не сговорились, в результате, вместо одного съезда, собралось два, оба в конце лета 1882 года. И на этих съездах представителей промышленности было мало.

Доминировали попрежнему чиновники и нарождавшаяся интеллигенция, особенно та, которая имела отношение к производству: инженеры, профессора технических школ, статистики; но были также земцы, как представители сельского хозяйства, и даже литераторы. Промышленников было немного, но они были организованнее. Впервые проявила себя незадолго перед этим создавшаяся новая группировка — организация горнопромышленников юга России.

Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на обоих съездах, был вопрос тарифной политики. Протекционистские настроения были довольно сильны, но в основном вопросе, о пошлине на сельскохозяйственные орудия, одолели фритредеры.

Последний съезд старого времени состоялся в 1896 году, на Нижегородской ярмарке, тоже во время Всероссийской выставки. Этот съезд уже имел значительное представительство промышленников, но все-таки еще чиновники и интеллигенция были на первом плане. И на этом съезде вопрос о пошлине на сельскохозяйственные орудия занимал одно из центральных мест, что дало повод опять вернуться к спору, привычному для России XIX века: земледельческая ли страна Россия и нужно ли в ней создавать или поощрять развитие промышленности.

Хотя этот съезд по наименованию и был промышленный, на нем были сторонники и того, и другого лагеря. Характерно то, что «лидера ми» были не землевладельцы и не фабриканты, а интеллигенты-представители науки. Аграриев возглавлял профессор Л. В. Ходский, а промышленников профессор Д. И. Менделеев, но промышленники выставили уже ряд серьезных ораторов, умевших говорить и знавших, что хотят сказать. Таковыми были: представитель горнопромышленников Юга Н. С. Авдаков, представитель Москвы, С. Т. Морозов, председатель Ярмарочного комитета и Г. А. Крестовников. Когда зашла речь о защите сельского хозяйства, то последний заметил, что «здесь вовсе не сельскохозяйственный съезд, а торгово-промышленный», на что Ходский, играя словами, заявил, что сельскохозяйственная промышленность имеет право на внимание съезда, как и всякая другая ее отрасль.

На этом съезде одолели аграрии и, в результате, от торгово-промышленной группы С. Т. Морозов заявил протест против некоторых решений, принятых съездом.

В силу всего только что изложенного, Московское торгово-промышленное представительство рассматривалось зачастую, как представительство «всероссийское». Происходило это, конечно, главным образом потому, что подлинного всероссийского объединения долго не было, объективная потребность в нем

существовала, и Москве приходилось говорить за всю Россию.

Одним из характерных примеров таковой роли Москвы и московских деятелей можно привести подготовку к 1893 году нового таможенного договора с Германией. Как известно, новый договор внес большие изменения в русско-германские отношения, также как и в народнохозяйственные и политические, и сыграл важную роль в переменах, имевших место в конце прошлого столетия во всей европейской внешней политике. Уже самый проект договора возбудил много толков в заинтересованных кругах и всюду стали говорить о таможенной войне.

Министр финансов того времени, С. Ю. Витте, счел нужным лично отправиться в Москву и на Нижегородскую ярмарку, для собеседований с промышленниками. В Москве беседа состоялась в Биржевом комитете, — и мнение промышленности и торговли было высказано председателем Московского Биржевого комитета Н. А. Найденовым.

Представитель Москвы говорил о тревоге, охватившей промышленные круги, в связи с новой политикой и о недостаточности защиты русской индустрии, и заявил себя протекционистом. Другая речь была сказана «у Макария» председателем ярмарочного комитета, тоже москвичом, Саввой Тимофеевичем Морозовым. Его выступление носило боевой характер и вызвало большой шум. Морозов говорил, что «богато наделенной русской земле и щедро одаренному русскому народу не пристало быть данниками чужой казны и чужого народа»; что «Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы».

В правительственных кругах обе эти речи не понравились, и Суворин в «Новом времени» сурово критиковал Морозова. Эта же газета устроила анкету, которая показала, что видные представители торговли и промышленности в общем солидарны с говорившими, отмечая, что оба говорили за всю Россию. Одним это нравилось, другим нет, но во «всероссийском» характере выступлений никто почти не сомневался.

Подлинный действительный толчок к организации торговли и промышленности в общероссийском масштабе дали революционные события 1905 года. Отсутствие единого центра, где были бы объединены представители разных отраслей русского народного хозяйства, давало себя сильно чувствовать, и естественно, что этот вопрос стал на очередь. Он, в конце концов, получил разрешение, пройдя несколько отдельных этапов.

Отраслевые организации существовали уже давно. Первой по

времени, а потому и по своему значению, была организация горнопромышленников юга России с 1898 года. В Таганроге состоялся первый съезд горнопромышленников, за которым последовали и другие. С 1893 года был создан Совет Съездов горнопромышленников юга России, который сразу же проявил энергичную деятельность: было создано «статистическое бюро», стал выходить печатный орган «Южно-Русский горный листок» и т. д.

Параллельно с организацией юга России, в том же 1882 году, возник Съезд горнопромышленников Царства Польского, также очень быстро сделавшийся одной из весьма влиятельных в России организаций. За ними следуют съезды нефтепромышленников, которые начинают собираться с 1884 года. Эта группировка с самого начала носит более синдикатский, чем общественный характер и отличается внутренней ожесточенной борьбой, которую вели между собою магнаты нефтяной промышленности — фирмы Нобеля, Ротшильда, Манташева и другие, более мелкие предприятия.

Существовавшие с 1880 года съезды Уральских горнопромышленников были гораздо менее влиятельной группировкой, зато Постоянная совещательная контора железнодорожников (1887), объединившая металлургические заводы по районам, сразу занимает видное место среди других организаций. В ней играет видную роль представитель московского района Ю. П. Чужой, в борьбе против диктатуры южных заводов.

Возникает также группировка мукомолов, сахарозаводчиков, винокуренных заводчиков, марганцевых промышленников и др. Москва, как это ни странно на первый взгляд, остается как бы в стороне от этого движения. Отраслевых организаций почти что нет. Ни хлопчатобумажники, ни суконщики, ни тем более оптовые торговцы мануфактурой отдельных объединений не имеют.

За всех представительствует Московский Биржевой комитет, руководимый неутомимым Н. А. Найденовым. К его голосу продолжает прислушиваться Петербург. «Не меньший интерес, чем съезды, — пишет П. А. Берлин, — представляли те многочисленные смотрины, которые московская буржуазия устраивала своим министрам. На посту министра торговли и промышленности то и дело появлялись новые руководители, и каждый из них почитал своим долгом поехать в Москву и представиться ее именитой буржуазии. При этом неизменно произносились речи как новым министром, так и представителями крупной буржуазии, и опять-таки в этих речах

не было отточенных и отчетливых политических лозунгов, была все та же неизменная ходатайствующая часть, но на ряду с этим был и тон, делающий неприятной музыку этих съездов для правительственных ушей, тон недовольства и стремления к политическим переменам. К обычным домогательствам и ходатайствам присоединились и необычные, хотя очень расплывчато выраженные требования политических реформ»…

П. А. Берлин говорит о министрах торговли, но на «смотрины» приезжал в Москву и министр финансов, который, как я уже говорил, бывал и в Нижегородской ярмарке. Но в те времена «Макарьевское торжище» носило сильно московский характер и «всероссийское купечество» сплошь и рядом возглавлялось московскими людьми.

Первая попытка создать всероссийское торгово-промышленное объединение была связана с Москвой, чем в известном смысле подчеркивалась та центральная роль, каковую она имела в русской хозяйственной жизни. Летом 1905 года, вскоре после Цусимы, когда в стране начало нарастать революционное настроение, были сделаны первые реальные шаги в этом направлении. Среди петербургских промышленников был поднят вопрос об организации торгово-промышленной партии, и в Москву была отправлена особая делегация, чтобы просить Московский Биржевой комитет взять на себя инициативу съезда промышленников и торговцев. Таковой съезд состоялся 4–6 июня того же года. Было избрано бюро в составе двадцати двух человек. Вскоре выяснилось, что идея создания политического союза вряд ли может иметь успех, и решили ограничиться экономической стороной единения. Правда, была сделана попытка вступить в «контакт» с другими общественными группировками — в сентябре в Москве происходил земский съезд, — но сразу определилось, что точки зрения различны: земский съезд стоял на кадетской программе, с требованием принудительного отчуждения земли, восьмичасового рабочего дня и т. д. Для промышленников такая позиция была неприемлемой. Вообще вся эта инициатива, имевшая место в Москве, оказалась невыполнимой, и организация — бюро — скоро прекратила свое существование.

Тогда Петербург взял дело целиком в свои руки. Инициатором был кружок промышленников, группировавшихся при конторе железозаводчиков. Были собраны два съезда — в январе и апреле 1906 года, — а в феврале было делегатское совещание. Был выработан проект положения о всероссийской организации под именем Съезда представителей промышленности и торговли. Был избран Совет, который

представил «Положение» на утверждение правительству, коим оно и было утверждено в августе того же года. А в октябре уже состоялся первый очередной съезд представителей промышленности и торговли. Был выбран «Совет», затем «Комитет», и дело организации было доведено до благополучного конца.

В составе съездов были действительные члены — таковых было сорок восемь — и совещательные (101) Первыми были торгово-промышленные организации, вторыми — отдельные предприятия. Насколько я помню, в составе съездов были все без исключения крупные промышленники объединения. Ведущую роль играл Совет Съездов горнопромышленников юга России и его председатель, член Государственного Совета Н. С. Авдаков, был и председателем центральной организации. Огромную роль играл член Государственной Думы, польский инженер Владислав Владиславович Жуковский.

Представители Москвы — Биржевой комитет и Купеческое общество — принимали, конечно, участие в организации съездов. Но с самого начала было ясно, что им, в особенности Биржевому комитету, эти организации не совсем по душе. Руководителями петербургских и провинциальных (южно-русских и уральских) были инженеры, политические деятели, адвокаты, словом — представители интеллигенции. А в Москве по большей части были сами хозяева, и разговор шел часто на разных языках. Поэтому Москва почти не участвовала в повседневной работе Совета Съездов и даже на общих собраниях почти «блистала отсутствием», в особенности касательно персонажей первого ранга.

Но как бы то ни было, как бы ни относилась Москва к петербургской организации, нельзя отрицать, что с созданием Совета Съездов — дело организации промышленности получило известное завершение. Иначе обстояло с торговлей. Подлинных торговых объединений не было до войны 1914 — 18 года.

Исключение составляли объединения синдикатского типа, созданные в металлургической и горной промышленности. Но они были созданы промышленниками, являлись распределительными органами промышленных предприятий и отражали «промышленную», фабрично-заводскую психологию. А как известно, интересы промышленности и торговли не всегда совпадают, и при возникавших спорах между промышленниками и торговцами, в той или иной ветви народного хозяйства, торговля была вооружена весьма плохо. Даже во время февральской революции, «Торгово-промышленная газета», официоз министерства торговли, писала:

«У нас нет ни надлежащих организаций торгового класса, ни сколько-нибудь сильных, хотя бы численным количеством, членов и продуктивностью своих работ торговых ассоциаций общегосударственного масштаба. Можно сказать, что еще «верхи» купечества кое-как объединены в биржевых организациях, но если подсчитать общую массу членов всех существующих у нас биржевых обществ, то окажется, что при ста с небольшим биржевых комитетов организованного купечества, можно насчитать не более пяти-шести тысяч человек, так как преобладающее число биржевых обществ не насчитывает и пятидесяти членов, считая в том числе транспортных, страховых и прочих агентов… Без грубой ошибки можно исчислить всю массу организованного торгового класса в семь-девять тысяч человек, то есть количество, едва составляющее 5 % одного только городского купечества, не считая нескольких сот тысяч сельского купечества».

Мне нужно опять вернуться к вопросу, как в России относились к представителям купечества. Во «вступлении» я привел ряд литературных свидетельств, где, как правило, отношение к купцам было либо враждебное, либо презрительное, либо «сверху вниз», либо ироническое. Тогда же я сделал оговорку, что литература и драматические произведения не всегда точно отражали жизнь, в особенности в обрисовке типов купеческого звания.

Теперь я приведу еще несколько примеров, но буду цитировать некоторых авторов не как беллетристов, а как свидетелей истории. Картина будет иная и укажет нам главным образом на ту эволюцию, которая произошла в течение XIX столетия.

Для начала я приведу очень правильную, нелестную ни для той, ни для другой стороны оценку дореформенных отношений помещиков к торговцам, которые имели место, пока еще не началось дворянское оскудение:

«На купца смотрели, — пишет Сергей Атава, — не то чтоб с презрением, а так, как-то чудно. Где, дескать, тебе до нас. Такой же ты мужик, как и все, только вот синий сюртук носишь, да и пообтесался немного между господами, а посадить обедать с собою вместе все-таки нельзя — в салфетку сморкаешься.

Не знаю, понимали ли, или лучше сказать, чувствовали ли «купцы», что на них так «господа» смотрят, но если и понимали, они этого все-таки не показывали. Они делали свое дело, покупали и продавали, садились на ближайший стул от двери, вставали с него каждую минуту, улыбались, потели, утирались, будучи совершенно не в состоянии понять наших суждений о

политике и всякой чертовщине, составлявшей предмет наших бесконечных рассуждений, как только мы, бывало, сойдемся»… (Сергей Атава, «Отечественные записки», 1880).

Этот же, очень чуткий автор рисует иную картину таковых же взаимоотношений после освобождения крестьян. Вот что мы у него читаем:

«Всем нам в то время до зарезу нужны были деньги. А деньги были у купца. Надо, стало быть, за ними обратиться к нему. Мы обнищали, и он давал. Сначала, сгоряча, эту податливость его и ту охоту, с которой отдавал нам деньги, мы принимали было за дань его уважения и благодарности нам, так как он от нас же научился, но эти политические взгляды на «кулака» продержались недолго. Подугольников дал раз, два, три, подождал, и порядочно-таки подождал, да вдруг и приехал сам. Хотя этот раз его попрежнему дальше кабинета не пустили, но он уже сам попросил, чтоб подали ему водочки, и спать на ночь к управляющему во флигель не пошел, а спал в кабинете на диване.

Утром же, вставши чуть ли не на заре, обошел и осмотрел все хозяйство, обо всем расспросил и хотя, уезжая, склонился на просьбу и дал еще денег взаймы, но это был уже не тот, не прежний Подугольников, который, бывало, только потел и утирался. А когда он приехал на следующий раз, то его не только пришлось опять положить спать в кабинете, на диване, но надо было позвать обедать в столовую, строго-настрого приказавши детям не смеяться, если Подугольников станет сморкаться в салфетку».

О дальнейшей эволюции говорит князь Мещерский в своих очерках. Здесь уже нет следа былой приниженности.

Вот его оценка:

«Купец, говорящий во имя интересов внутреннего рынка, уже не тот аршинник, который двумя головами сахару в пользу городничего отстаивал свое право обмеривать и обвешивать. Нет. За этим купцом иногда целый мир разнородных потребностей и вопиющих нужд народных и государственных, во имя которых он стал говорить, не стесняясь, ибо чувствует свою силу в этом уполномочии и в этой солидарности своих интересов с интересом народным»…

На этом дело не остановилось, и роли как будто переменились. Об этом писал и Боборыкин, и другие. Показательную картину в этом направлении дает газета «Новое время», всегда хорошо умевшая определить настроения верхов и дворянства:

«Купец идет. На купца спрос теперь. Купец в моде. От него ждут «настоящего слова». И он везде не заставляет себя ждать. Он

произносит речи, проектирует мероприятия, издает книги, фабрикует высшие сорта политики, устраивает митинги и проч.

В Москве один знаменатель — купец, все на свою линию загибающий. Купец тут снизу, сверху, со всех сторон. Он и круг, и центр московской жизни. Вы можете его получить под всеми флагами и соусами. И с этим все уже настолько свыклись, что никто, вероятно, и не воображает Москву без купца. В сущности, это даже и естественно, потому что купец есть органическая часть Москвы, — ее рот, ее нос, ее начинающие прорезываться зубы.

В Москве вы ни шагу не сделаете без купца. Он и миткалем торгует, и о категорическом императиве хлопочет, и кузьмичевскую траву исповедует, и лучшие в мире клиники устраивает. Все, что есть в Москве выдающегося, — в руках купца, или под его ногами. У него лучшие дома и выезды, лучшие картины, любовницы и библиотеки. Загляните в какое угодно учреждение, — вы непременно встретите там купца, очень часто в мундире, с «аглицкой складкой», с французской речью, но все же купца, со всеми его «Ордынко-Якиманскими» (Ордынка и Якиманка — две главные улицы Замоскворечья) свойствами, которые не выветриваются ни от каких течений, ни от какой цивилизации…

Поверьте, из этого сырья время создаст превосходные вещи. В особенности можно возлагать большие надежды на женщин из московского купечества. В них таятся несметные духовные сокровища»…

Надо сказать, что автор зашел слишком далеко. Может быть, по существу, в известной степени он был и прав, но другой лагерь не хотел с этим считаться, и «полупрезрительное» отношение сохранилось до самого последнего времени.

Об отношениях между дворянством и купечеством в Москве любопытные мысли высказывает Немирович-Данченко. (Вл. И. Немирович Данченко, «Из прошлого Москвы». Госуд. Изд. Худож. Литературы. 1938).

Вот, что мы у него читаем:

«Дворянство завидовало купечеству, купечество щеголяло своим стремлением к цивилизации и культуре, купеческие жены получали свои туалеты из Парижа, ездили на зимнюю весну на Французскую Ривьеру и, в то же самое время, по каким-то причинам заискивали у высшего дворянства. Чем человек становится богаче, тем пышнее расцветает его тщеславие. И выражалось оно в странной форме. Вспомним одного такого купца лет сорока, очень элегантного, одевался он не иначе, как в Лондоне, имея там постоянного портного… Он говорил об одном аристократе так:

«Очень уж он горд. Он, конечно, пригласит меня на бал, или на раут — так это что. Нет, ты дай мне пригласить тебя, дай мне показать тебе, как я могу принять и угостить. А он все больше — визитную карточку».

Это, я не скажу «принижение», но во всяком случае не первенствующее положение купечества сохранилось до самых дней революции. А так как февральский переворот, вопреки утверждениям советских историков, в своем существе вовсе не был «буржуазной революцией», то и после февраля вовсе не было, так сказать, купеческого «реванша». Положение оставалось, в своих основных чертах, тем же самым, только господствующим классом стала социалистически-меньшевистская и эс-эровская интеллигенция, и официоз коноваловского министерства торговли, меланхолически подводя итоги недавнему прошлому, писал:

«Не так уже давно наше торговое сословие, и тогда довольно многочисленное, занимало в стране, в социальном отношении, незавидное положение. Занятие торговлей, хотя и приносило выгоды материального свойства, но отнюдь не давало вообще почетного положения»…

Мне самому, на своей собственной шкуре, пришлось испытать ту разницу отношения, которая еще была применительна к дворянским и купеческим детям. Этот эпизод имел место давно, почти полвека тому назад, но он так сильно врезался мне в память, что я до сих пор ясно помню все его детали.

Я учился в Москве, в так называемом Катковском лицее, пробыв там четыре года, от пятого до восьмого класса. Лицей не был «привилегированным» учебным заведением, как сказано было в уставе его — в лицей принимались дети всех званий, — но все-таки дворянский элемент преобладал. Особенно это сказывалось по отношению к тому классу, куда я попал (тридцать третий выпуск).

Моими школьными товарищами были: сын уездного предводителя и сам, последний перед революцией, московский уездный предводитель, кн. В. В. Голицын, Вуся, как его звали в классе; сын губернского предводителя Г. П. Базилевский; сын московского губернатора Г. Г. Кристи; два «катковских внука» — кн. М. Л. Шаховской и бар. Н. А. Энгельгардт; М. С. Дмитриев-Мамонов, В. В. Глебов, С. Л. Милорадович, Н. В. Шеншин и другие. Класс у нас был очень дружеский, и никакой разницы по отношению к себе я никогда не чувствовал. Я бывал у многих из своих одноклассников; многие бывали и у нас в доме, и на больших вечерах, которые у нас устраивались, пока сестра не была еще замужем, и также «запросто». Школьное дело в лицее

было хорошо поставлено, учиться было не особенно трудно, но «выучивали»:

я до сих пор читаю по-латыни, как по-русски. Свои лицейские годы я до сих пор вспоминаю с большой любовью, в отличие от многих, для которых воспоминание о гимназии является каким-то кошмаром. Для меня лицей один из элементов моего вообще очень счастливого детства.

Когда мы были в восьмом и последнем классе, в феврале был убит великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Он был попечителем лицея, поэтому был назначен траур и «почетный караул» при гробе, который стоял в одной из небольших церквей Чудова монастыря в Кремле. Караул несли воспитанники старших классов, пришлось и мне раза два выполнять эту обязанность.

Но, кроме «караула», представитель воспитанников должен был участвовать и в самой церемонии похорон. Это рассматривалось как большая честь. Обычно ученики средних учебных заведений в такого рода церемониях не участвовали. Сделано это было потому, что великий князь очень лицей любил и не раз в него приезжал.

Я всегда учился очень хорошо, а в лицее, последние три года, я был первым учеником всего гимназического отделения. Было внешнее подтверждение в том факте, что на золотой доске, которая висела в большой приемной, моя фамилия стояла первой и отдельно, а за ней шли все остальные, по алфавиту. Я был также «старшим воспитанником», что по отношению к приходящим бывало не часто. Все начальство относилось ко мне с особым вниманием, и всегда, когда в лицей приезжали именитые посетители, начиная с министров и кончая о. Иоанном Кронштадтским, или нынешним Московским Патриархом Алексеем, который сам лицей окончил, меня представляли прежде других, а иногда и одного только.

Посему в классе у нас ожидали, что честь «представительства» будет предложена мне.

На самом деле, произошло иначе. Представительство было предложено кн. В. В. Голицыну, но последний отказался, заявив, что в отношении меня совершена несправедливость. Начальство объяснило, что могут спросить фамилию, и для лицея лучше, если это будет титулованный, а не ученик из купеческого звания. Но Голицын стоял на своем. Тогда было предложено Базилевскому, который также отклонил это предложение, и начальство уступило и, скрепя сердце, предложило мне. Для меня вся эта история была весьма неприятна, я хотел сказаться больным, но класс настоял, и я на похоронах присутствовал.

Должен сказать, что об этом не жалел: на такой церемонии мне вообще пришлось быть раз в жизни, а кроме того, я видел вблизи очень многих известных людей того времени и весь парадный придворный обиход.

Но вместе с тем я впервые ясно понял, что тогда значило быть «чумазым».

К сказанному прибавлю, что впоследствии мне не раз приходилось бывать в Кремлевском дворце, на «Высочайших выходах». Почти всегда я был либо от Купеческого Общества, либо от Биржевого комитета, то есть, иначе говоря, как представитель купечества. Таковые происходили в последнем, полутемном зале (кажется, он назывался «александровский»). Но в этом случае, хотя чувствовалась разница между белой и черной костью, все-таки дело обстояло иначе. В том же зале были высокие персоны из разных правительственных учреждений, и разница была между дворянами и лицами других сословий, и между «двором» и служилыми людьми, поскольку таковые не имели придворных званий. А таковые, хотя и редко еще, но уже имелись среди лиц из купечества, тех, кои были одержимы болезнью «чинобесия».

Прежде чем перейти к попытке установить картину московского купеческого «родословия», нужно сделать несколько предварительных замечаний. Во-первых, для изучения этого вопроса во всех деталях существует малое количество источников. Уже не говоря о том, что в заграничных библиотеках некоторых русских книг не имеется, даже в России, в настоящее время, установить те или иные подробности было бы довольно трудно. Купеческой генеалогией мало кто занимается. Больше всего, конечно, Н. А. Найденов и П. И. Щукин; из историков — П. И. Бартенев, кое-что напечатавший в своем «Русском архиве». Отдельными семьями занимались, но это были частные издания, широкой публике неизвестные.

Есть и другая трудность: установить, о ком должна идти речь; можно говорить о тех, кто сам занимался торговыми и промышленными делами, за свой счет, или стоял во главе акционерного общества. Но можно говорить и о тех, кто вышел из прежних купеческих семей. Наконец, были и такие, которые были только записаны в «гильдии».

Нужно прежде всего иметь в виду, что в русских дореволюционных условиях категория и промышленников и даже торговцев отнюдь не совпадала с так называемым купеческим сословием. Конечно, сословное устройство дореволюционной России знало «купеческое сословие», членами которого состояли купцы, записанные в гильдии, но эти купцы, с профессиональной

точки зрения, не всегда являлись торговцами или промышленниками — с точки зрения их занятий.

Это были люди, уплачивавшие гильдейские сборы и повинности, принятые в состав купеческих обществ и пользовавшиеся теми преимуществами, которые, по прежним законам, были предоставлены людям купеческого звания.

Торговцами же являлись лица, выбиравшие так называемые промысловые свидетельства, то есть уплачивавшие основной промысловый налог и, на основании этих свидетельств, либо производившие торговлю, либо занимавшиеся промышленной деятельностью. Если собственником предприятия было акционерное общество, либо паевое товарищество, то в силу признания их юридическими лицами, промысловые свидетельства выдавались на их имя, а руководители таковых, члены правлений и даже директора распорядители, значились «не торгующими», а часто и вовсе не были записаны в гильдии. Городовым положением 1892 года, а в особенности Положением о государственном промысловом налоге 1898 года, — купеческое сословие было обречено на несомненное умирание. И действительно, его существование почти сводилось на нет.

В купцы записывались на основании соображений, совершенно посторонних торговой деятельности. Например, евреи записывались в купцы первой гильдии потому, что таким путем они получали право повсеместного жительства, в независимости от так называемой черты оседлости.

В столицах записывались для участия в управлении и руководстве крупными благотворительными и просветительными учреждениями, созданными купеческими обществами за счет тех огромных капиталов, которые поступали зачастую этим обществам по завещаниям их бывших сочленов. И в сущности говоря, деятельность купеческих обществ постепенно утрачивала свой профессионально-представительный характер, за счет биржевых комитетов, которые и сами в старой России выполняли функции торговых палат.

Таким образом, субъектом торговой и промышленной деятельности являлся не «купец», с сословной точки зрения, а торговец, в тесном смысле этого слова, или промышленник. В условиях жизни прошлого времени он далеко не всегда был наследственным владельцем своего дела, а большей частью начинал свое дело сам. Число предприятий, насчитывавших несколько десятков лет существования, было вообще не так велико, а имевших столетний стаж было наперечет. Еще в промышленности это имело место, а в торговле было совсем редким явлением. Правда, в отношении торговли, надо считаться

еще и с тем, что зачастую — можно сказать, как постоянное правило — торговая фирма, в особенности крупная, переходила в промышленность, сначала становилась «торгово-промышленной», а потом и вовсе отходила от торговли, то есть продавала лишь товар своего собственного изделия, а не показной.

Вообще, как справедливо отметил Туган-Барановский в своем исследовании о русской фабрике, в России вся почти промышленность вышла из торговли, то есть заводчиками и фабрикантами становились бывшие торговцы.

Это явление, характерное для прошлой торгово-промышленной жизни России, можно сопоставить с другим, также представлявшим некоторую ее особенность. Я имею в виду, что в экономике России редко наблюдалось создание крупных промышленных единиц, а крупными становились мелкие, после ряда лет существования, если деятельность их была успешна.

Этому не противоречит утверждение Туган-Барановского, что именно фабрики способствовали в России развитию кустарной цели и вообще сельской промышленности. Это явление, характерное не для одной хлопчатобумажной индустрии, где оно было весьма частым, свидетельствует лишь о том, что в первой стадии развития русского производства и фабричная промышленность, и сельско-кустарная, настолько тесно переплетались, что трудно было отличить, где кончается одна форма и начинается другая. А это утверждение дает основание сказать, как возникали небольшие, и промышленные и, главным образом, торговые предприятия, то есть, иначе говоря, как шло комплектование торгово-промышленной среды.

Уместно сказать, прежде всего, о той подготовке, которую требовала жизнь для начала торгово-промышленной деятельности в России, а, может быть, даже установить, нужна ли была на русской земле вообще, для занятия торговлей и мелкой промышленностью, какая-нибудь выучка или какой-нибудь стаж. Если обратиться к низшим формам торговли, — тому, что называлось «в развоз и в разнос», и даже к мелкой рознице в деревне, то без большой погрешности можно утверждать, что для нее в сущности никакой подготовки не требовалось. При том низком, с европейской точки зрения, уровне потребностей, который был у большинства русского крестьянского населения, ассортимент товаров, которым нужно было снабжать деревню, был невелик и несложен; его нужно было знать, и лишь знание его являлось для торговца самым важным. Получение такового знания приобреталось опытом и наблюдением за окружающей жизнью. Благодаря большому разнообразию русского населения с точки зрения этнографической, отдельные национальности

сильно различались по своим вкусам и привычкам. Но кто знал вкус своего потребителя, тот мог уже действовать, так как в деревне было труднее продать, чем для деревни достать.

Поэтому почти любой крестьянин данного села мог начать у себя на месте торговлю, так как он знал хорошо уклад жизни своих односельчан, то есть, проще говоря, свой собственный. А так как в каждой деревне оказывались крестьяне мало привязанные к земле по своим склонностям, смотревшие на свою сельскохозяйственную работу, как на тяжкую обузу, то им всегда, при наличии некоторой инициативы, представлялся естественный выход в торговлю.

Они ездили в ближайший город за товаром и начинали у себя на месте снабжение им своей деревни и ее окрестностей. Таким образом, до последнего времени, не город шел со своим товаром в деревню, а деревня шла за ним в город сама. Правда, здесь некоторую роль играла сравнительная отсталость торгово-промышленного аппарата в России с точки зрения техники продажи, но общие черты указанного выше процесса, благодаря географическим условиям России, ее громадному пространству и слабо развитым путям сообщения, долго оставались теми, о которых я говорил.

Возвращаясь к вопросу о необходимости подготовки для начала торговой деятельности, нужно указать, что для предприятий более совершенного типа крупной розницы в деревне и в городе, таковые иногда осуществлялись чисто бытовым путем. Зачастую новые предприятия выходили из прежних, уже существовавших. Из той или иной фирмы уходил старший служащий, часто доверенный руководитель дела, и начинал на накопленные сбережения свое собственное дело, нередко в том же самом месте и даже по соседству.

Конечно, у подобного рода лиц был и служебный стаж и деловой опыт, и они являлись достаточно подготовленными для самостоятельной деятельности, но и тут будущих торгово-промышленных деятелей готовила сама жизнь, а не школьное обучение. Подобный способ подготовки новых торговцев наблюдался также и в крупных городских торговых предприятиях. Можно с уверенностью сказать, что значительное большинство собственников открытых вновь торговых фирм действовали раньше как сотрудники предприятий такого же типа. Некоторое исключение представляют собой лишь предприятия, возникшие в порядке развития кооперативного движения, а также созданные промышленными объединениями и группировками синдикатского типа, для продажи своих собственных изделий. Но эти два типа торговых предприятий стали появляться на народно-

хозяйственной сцене лишь незадолго до войны и не успели внести сколько-нибудь существенные изменения в действующую практику.

Обрисованное выше положение делает справедливым вывод, что, во всяком случае, по отношению к торговле занятие ею и организация новых дел не требовали, как правило, специальной учебной подготовки. До самого последнего времени контингент торговых служащих составляли лица, учившиеся делу главным образом на практике и начинавшие свою деловую карьеру в фирме, что называется, — «с мальчиков», а посему роль коммерчески-профессионального образования для торговли почти сводилась к нулю, и это являлось отчасти причиной, отчасти следствием слабого развития коммерческого образования в России.

Правда, оно существовало давно. Некоторые коммерческие училища Москвы и Петербурга к началу войны насчитывали более ста лет своего существования, но распространение их влияния оставалось незначительным. Лишь в самое последнее перед войной время сеть средних и низших учебных заведений такого рода заметно увеличилась. Почти во всяком мало-мальски крупном центре стали появляться средние школы, ставившие своей целью коммерческую подготовку молодежи, а также начали появляться и высшие коммерческие училища. Но влияние их на степень образованности деятелей торговой или промышленной специальности, все-таки сказывалось сравнительно мало.

Отчасти это объяснялось обычным русским противопоставлением учения в школе учению в ремесле, или в амбаре, причем, для начала карьеры, от мальчика требовалась только элементарная грамотность. Не имел значения и самый характер русской коммерческой школы. Построенная по западно-европейскому образцу, она являлась перегруженной рядом преподаваемых дисциплин и не обращала достаточного внимания на надлежащую практическую подготовку. Особенно справедливо это было по отношению к высшей школе. Созданный незадолго перед войной, Петербургский Политехнический институт, с его экономическим отделением, и коммерческие институты в Москве, Киеве и Харькове, были в русских условиях, с точки зрения преподавания, образцовыми учебными заведениями.

Превосходный состав преподавательского персонала, разносторонняя и обширная программа преподавания, прекрасно оборудованные помещения, лаборатории и другие вспомогательные приспособления, — все, казалось бы, должно было обеспечить им полный успех. Но коммерческий мир и торговые организации все-таки с некоторым недоверием

относились к молодым людям, кончавшим институты, думая, очевидно, что в русских условиях менее требовалось знакомство с длинным рядом теоретических дисциплин, по сравнению с основным знанием счетоводства, или даже просто с умением считать на счетах. И несомненно можно было отметить, что до самого последнего времени, даже в таких крупных центрах, как Москва или Харьков, легче себе находили работу в торговых предприятиях молодые люди, окончившие низшие коммерческие школы — как, например, Московское Мещанское училище, известные своими высокими требованиями к усвоению предметов, необходимых для элементарной коммерческой практики, и добивавшиеся от всех своих учеников совершенства в обращении со счетами и каллиграфического почерка, — нежели лица, имевшие дипломы об окончании специального коммерческого образования. И для питомцев упомянутого выше Мещанского училища не было надобности отыскивать место: на них нужно было записываться заранее, прибегая к своего рода протекции, чтобы получать каждый год нового, молодого и толкового сотрудника.

Для иллюстрации того отношения, которое существовало даже у преподавательского персонала высших школ к деловым возможностям их учеников и питомцев, приведу характерный пример из своих собственных воспоминаний.

Я окончил, после университета, Московский Коммерческий институт, в 1911 году. В это время институт, созданный Московским Обществом распространения коммерческого образования, или вернее, его энергичным председателем, известным банковским деятелем А. С. Вишняковым, еще не имел «прав», и диплом его носил, так сказать, частный характер. Но в 1912 году институту удалось добиться получения этих прав, когда Государственная Дума и Совет приняли соответствующий законопроект, долго лежавший под спудом. Начальство института, во главе с директором, профессором П. И. Новгородцевым, стало настаивать, чтобы некоторые из бывших студентов, в частности те, которые, как я, были оставлены при Институте, «передержали бы» выпускные экзамены по новым правилам.

Согласно этим правилам, требовалось предоставление большой «дипломной» работы, своего рода маленькой диссертации, как ее называли, и защиты ее перед специальной экзаменационной комиссией. Это происходило в 1913 году, когда я был уже и в составе Московской городской думы, и в Биржевом, и в Купеческом обществах, и держать экзамены, как студенту, было для меня не совсем легально. Но и Вишняков, и

Новгородцев меня уговорили, и я решил пойти на это испытание.

Так как курс, намеченный мне для преподавания, был «Организация торговых предприятий», то для своей дипломной работы я взял темой «Систему Тейлора», о которой тогда в России знали еще очень мало. Новгородцев одобрил мой выбор, но главный мой экзаменатор, деятель Петербургской Хлебной биржи, А. Ф. Волков, остался очень недоволен. Во время испытания, после того, как я сказал свое вступительное слово, он, задав мне некоторые технические вопросы, вдруг спросил меня: «А скажите, что у себя, в вашей фирме, собираетесь ли вы применять систему Тейлора?» И так как я несколько растерялся, не зная, что ответить, то Волков, не дожидаясь моего ответа, посмотрел на Вишнякова и, с добродушной усмешкой обратившись ко мне, сказал: «Знаете, вы человек молодой. Если начнете у себя в деле заводить разные, сомнительного свойства новшества, то представители банков еще пожалуй подумают, что вы собираетесь не платить.»

Этот инцидент привел всех в веселое настроение, испытание мое почти на этом и закончилось, и все прошло благополучно.

Это, правда, не помешало мне делать в нашем товариществе некоторые попытки применения упомянутой мной системы, а А. С. Вишняков, который, как близкий друг моего, уже тогда покойного, отца, всегда относился ко мне с большим расположением и вниманием, — не один раз спрашивал меня шутливо: «Ну, как система Тейлора?»

Я много говорил о том, как вступали в купечество, как становились торговцами или промышленниками. Нужно сказать и о том, как из него уходили. И это бывало. Выход из купечества был уходом в дворянство. Об этом всегда в Москве много говорили, и мнения, надо сказать, были разные.

Было два способа перехода в дворянство. Иногда — это бывало сравнительно редко — тот или иной коммерческий деятель, а иногда и вся его семья, Именным Высочайшим указом возводились в «потомственное Российской Империи дворянское достоинство».

Одним из последних примеров «облагорожения» старых купеческих фамилий было возведение (в 1912 году) главного владельца и руководителя всемирно известной Прохоровской Трехгорной мануфактуры, Николая Ивановича Прохорова со всей его семьей в дворянское достоинство.

Другим примером, но который имел место на много лет раньше, было возведение в дворянское звание известнейшего русского строителя железной дороги, Петра Ионовича Губонина. Правда, он впоследствии получил чин тайного советника, т. е. все

равно, был бы, как бы теперь сказали, «анноблирован», но его дворянство было жалованное. Особенностью такового пожалования было то, что такого рода дворян дворянское общество признавало и обычно принимало в свой состав. Так было и с Прохоровыми. Хорошо помню, как много говорили о том, что Ник. Ив. Прохоров, в дворянском мундире с красным воротником, принимал участие в выборе последнего губернского предводителя, после ухода А. Д. Самарина, назначенного обер-прокурором Святейшего Синода.

Другим путем ухода в дворянство было чинопроизводство. По русской «табели о рангах», в гражданской службе 4-ый класс, а в военной 6-ой, давали потомственное дворянство. Относительно военной службы, где потомственного дворянина делал чин полковника, я не могу припомнить ни одного примера, но возможно, что были и таковые. Что же касается гражданских генералов, действительных статских советников, то этих последних было немало, — как говорили «пруд пруди». И здесь имелось два варианта: можно было получить чин действительного статского советника в виде награды, за особые оказанные услуги, Высочайшим Приказом. Таких примеров много. Самым элегантным считалось получить генеральский чин, пожертвовав свои коллекции, или музей, Академии Наук. На моей памяти таким путем стал генералом П. И. Щукин, а также А. А. Титов и Ал. Ал. Бахрушин.

Но существовал и другой способ: до генеральского чина можно было дослужиться. Нужно было только «попасть» на государственную службу, а там все шло само собою. И в этой служебной рутине не было разницы ни между купцами, ни между разночинцами, ни между лицами духовного звания.

Русская «табель о рангах» представляла собой нечто совершенно особое, примеров чему в других странах не было. Чиновничество было, действительно, чем-то особым, но оно управляло Россией. Однако, оно отнюдь не отожествлялось ни с высшей дворянской знатью, ни с придворным царским окружением. И русская история недавнего прошлого знает примеры крупных бюрократов, пришедших к власти из разных слоев русского общества, в том числе и из купечества.

Это были чиновники, которые родились в купечестве, но потом совсем от него отошли, уйдя целиком на государственную службу, чиновники, которые не прочь были получить генеральство, а следовательно и дворянство, оставаясь все-таки при своих делах и сидя у себя в амбаре. Препятствий к этому, с сословной точки зрения, не было, так как для участия в промышленном или торговом деле, благодаря акционерной

форме предприятий, не нужно было принадлежать к купеческому сословию.

Пресловутая «Табель о рангах» открывала широкие возможности для государственной службы. Много было почетных мировых судей, — это была служба по министерству юстиции. Попечители и устроители училищ «служили» либо по министерству народного просвещения, либо торговли и промышленности. Городским деятелям открывалась дорога по министерству внутренних дел и, наконец, для «благотворителей» бывала доступной, и самой легкой служба по ведомству учреждениями Императрицы Марии. По «благотворительных», как говорили, «бирюзовых» генералов — не любили.

Любопытно привести, как справку, один из отзывов об уходе в дворянство, который, несомненно, отражает настроение своей эпохи. Это отзыв Кокорева. Вот что он пишет:

«Не подлежит никакому сомнению верность всем известного определения, что подъем промышленности составляет главное условие народного благоденствия и силы государства. У нас этот подъем не только не заметен, но даже наоборот, видны доказательства движения назад, явно выражающиеся в упадке производительных сил. Причиной этому особая болезнь некоторых лиц коммерческого сословия, поддерживаемая, к несчастью, так сказать поблажаемая в смысле удовлетворения болезненных желаний. Эта болезнь — чинобесие.

По общему мнению всех истинных патриотов и здравомыслящих людей, дезертирство из коммерческого сословия в другие сословия должно быть прекращено. Если бы стремление к переходу из купеческого сословия в чиновничество охватило собою наш фабричный округ в губерниях Московской и Владимирской, тогда бы Иваново-Вознесенск, Шуя и все Кинешмские и другие фабрики изобразили бы из себя, через несколько десятков лет, совершенные развалины.

Сыновья действительных статских советников нашли бы унизительным для себя сидеть в конторе или амбаре, где продаются фабричные товары.»

В этом отзыве есть, конечно, очень много верного, но, как это часто бывает, у Кокорева краски сильно сгущены. «Чинобесие», конечно, было, но не было эпидемией. В конце концов, в дворянство ушло не так уж много купеческих семей. Да и то, в отношении ушедших нужно иметь в виду то, что многие семьи переставали заниматься промышленной и торговой деятельностью и без того, чтобы непременно уйти в дворянство. Может быть, трудно найти объяснение тому обстоятельству, что среди московского купечества было очень мало фамилий,

которые насчитывали бы более ста лет существования, но это факт.

Редко в каком деле было три или четыре поколения. Или выходили из дела, или сходили на нет. Во всяком случае, было очень немного таких, которые из года в год, из поколения в поколение, с равной силой и значением сохраняли бы свое место в народно-хозяйственной жизни — и в производстве, и в профессиональных представительствах.

В заключение всей вышеобрисованной (может быть, несколько бессистемно) общей картины торгово-промышленной Москвы довоенного времени, мне кажется необходимым отметить еще некоторые штрихи, характерные для русской промышленной жизни. Они не являются исключительно присущими Москве, они носят всероссийский характер, но в Москве, думается мне, они выявились с наибольшей яркостью и рельефностью.

Прежде всего нужно помнить, что по условиям жизни в России, всякое производство, всякие промысла имели не только хозяйственное, но и культурное значение. Даже кустарная промышленность неизменно являлась фактором, повышавшим не только материальные, но и культурные условия, заставляя население отходить от старозаветного уклада жизни и воспринимать, так или иначе, иные культурные навыки и методы. А фабрика всегда, как правило, являлась там, где обычно была и больница, и школа, и фабричная лавка, а иногда и фабричный театр и библиотека. Не мало было таких предприятий, которые смотрели на обслуживание окрестного населения, как на свою повинность, что было тем более естественно, что и рабочая масса обычно выходила из того же окрестного населения.

Правда, все это было часто потому, что земство не было в состоянии обслужить население — не по своей вине, конечно, — но при общей культурной отсталости всякая крупная хозяйственная единица могла многое сделать и, зачастую, делала. И все промышленные уезды, Московской, Владимирской губерний и на юге обычно были лучшими, в смысле обслуживания потребностей населения. В этом направлении имело значение и то обстоятельство, что в уездах с развитою промышленностью вся тяжесть местного обложения ложилась не на земельную собственность, а на фабрики и заводы, следовательно, налоги поступали исправно и в более высоком размере, что, конечно, давало и земству возможность расширить свою деятельность.

Кроме того, фабрично-заводская рабочая среда была, за последние тридцать-сорок лет, объектом революционной пропаганды, подчас весьма интенсивной. Не входя в оценку политической и даже экономической стороны этого вопроса,

нельзя не отметить, что такая пропаганда, несомненно, поднимала культурный уровень рабочей массы, и фабричные рабочие стали сильно разниться от крестьян. Мне пришлось раньше указывать на отношение отдельных русских общественных групп, например, славянофилов, — к «фабричным». В некоторых отношениях их суровая критика имела основание, но нельзя отрицать, что уход на фабрику выводил крестьян из прежней их косности и невежества.

Далее, самое отношение «предпринимателя» к своему делу было несколько иным, чем теперь на Западе, или в Америке. На свою деятельность смотрели не только или не столько, как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти и в том, что именно в купеческой среде необычайно были развиты и благотворительность, и коллекционерство, на которые смотрели, как на выполнение какого-то свыше назначенного долга.

Нужно сказать вообще, что в России не было того «культа» богатых людей, который наблюдается в западных странах. Не только в революционной среде, но и в городской интеллигенции к богатым людям было не то, что неприязненное, а мало доброжелательное отношение. Помню, по своему опыту, что в студенческие времена, когда была выдвинута моя кандидатура на должность председателя общества взаимопомощи студентов юристов, против меня главным возражением было то, что я «хожу в церковь» и «приезжаю иногда в университет на своей лошади». Правда, я все-таки был выбран, но потому, что уже долго в этом обществе работал.

Даже в купеческих группировках и на бирже богатство не играло решающей роли. Почти все главные руководители отдельных организаций обычно бывали не очень богатые люди. Таковыми были и Найденов, и Крестовников или Гужон. Бывали и исключения, но сравнительно редко. Да кроме того, всегда интересовались происхождением богатства, недаром Найденов говорил, что Москва ни ростовщиков, ни откупщиков (Откупщики — это люди, бравшие на откуп торговлю водкой в тех или иных губерниях.) не любит.

Не любили и не уважали также и тех, в основе благосостояния коих был «неплатеж», когда «выворачивали шубу», с тем, чтобы нажиться на сделке с кредиторами. Надо сказать, что прежние русские законы плохо защищали кредитора: можно было почти безнаказанно перевести свое имущество на чужое имя и лишить таким образом кредитора возможности

наложить на него арест.

Незадолго перед войной, в провинции была целая эпидемия неплатежей, иногда носивших почти уголовный характер. Москва усиленно боролась с этим печальным явлением: разрабатывался вопрос о пересмотре законодательства — существовали особо созданные комиссии для этой цели, и биржевой комитет стал отказывать в «администрации», а направлял дело в «конкурс», то есть на ликвидацию, при малейших признаках злостности. Правда, в последние годы, когда ряд больших фирм, под влиянием кризиса в хлопковом промысле, испытывал денежные затруднения, многие предприятия получили реорганизацию своего внутреннего устройства, с преобладающим банковским влиянием, но интересы кредиторов при этом не страдали.

Насколько стремились оградить свою фирму от возможного обвинения в желании нажиться за счет доверителей, можно судить по одному факту, характерному для Москвы: один из известнейших московских промышленников разыскивал, путем публикации в газете, кредиторов своего отца, который более тридцати лет назад вынужден был заключить с ними сделку, не имея возможности полностью с ними рассчитаться, и всем, кого смог разыскать, заплатил.

Это был, правда, С. И. Четвериков, пользовавшийся репутацией самого выдающегося и кристаллически честного промышленного и общественного деятеля в старой Москве, к голосу которого всегда внимательно прислушивались.

Может создасться впечатление, что я рисую какую-то идиллическую картину, закрывая глаза на все имевшиеся злоупотребления, и хочу возвеличить то, что не было этого достойно. Я знаю и свидетельствую, что злоупотребления были, были недостойные и нечестные деятели и дельцы, но в то же время утверждаю, что они не являлись правилом, а представляли собою исключение, и повторяю лишь то, что уже говорил: тот значительный успех в развитии производительных сил и всего народного хозяйства России не мог бы иметь места, если бы база была порочной, если бы те, кто этот успех создавали, были жулики и мошенники, а таковые, как и везде, к сожалению, были. Один из моих приятелей, председатель нижегородского ярмарочного комитета, член Государственной Думы А. С. Салазкин (Это имя вымышленное) рассказывал мне следуюшие подробности про одного небезызвестного в России коммерческого деятеля: когда он был еще молодым человеком, его отец решил не платить и «сесть в яму». Он перевел дело на сына и объявил кредиторам, что ничего платить не может. Его «посадили в яму» — тюрьму для неплательщиков, и стали ожидать, какая будет

предложена сделка.

После некоторого времени узник позвал своего сына и поручил ему предложить кредиторам по гривеннику, в уверенности, что те согласятся и выпустят его на свободу. Но сын все медлил и на сделку не шел. Через некоторое время, когда отцу уже сильно надоела тюрьма, он стал сурово выговаривать сыну, который преспокойно отвечал: «Посидите еще, папаша». Когда возмущенный отец сказал: «Ведь это я все передал тебе, Вася», — сын ему «резонно» ответил: «Знали, папаша, кому давали». Отец долго просидел в тюрьме, потом его все-таки выпустили, после чего вскоре он умер.

Про этого же «деятеля» один из его приятелей говорил: «Ну, Вася, и жулик же ты. Уж видал я жуликов, много с жуликами дел делал, сам не любил упускать то, что в руки плывет, но такого, как ты, не видал, да и не увижу, потому что и быть не может».

Возвращаясь к тому, о чем говорил раньше, добавлю, что самая оценка достоинств фирмы была иной, чем, например, во Франции, в настоящее время. Здесь торговец старается продать как можно дороже, хотя бы за счет сильного сокращения оборота: хороший купец тот, кто умеет продавать дорого, и всяческие профессиональные группировки всячески этому способствуют. В России было наоборот: хорошей фирмой считалась та, которая могла торговать дешевле, чем ее конкуренты. Эта дешевизна не должна была идти за счет недоплаты торговому персоналу. «Хорошей» также фирма считалась лишь тогда, когда служащие знали, что их положение лучше, чем в других предприятиях, и стремились остаться на службе, покидая ее только при желании начать свое собственное дело. Фирмы, где служащие, из-за плохого к ним обращения, часто сменялись, и состав их был текучий, уважением не пользовались. Их презрительно называли «проходной двор».

При определении отношения прежней России к богатству, нужно не упускать из виду особенности русского семейного и наследственного права.

В России богатство было индивидуальным, а не семейным. У детей не было презюмаций, что они непременно и в «законных» долях будут наследовать отцовское достояние. Купеческие богатства были, по большей части «благоприобретенные», и наследодатель мог делать с ними, что хотел. Примеров такого «произвольного» распоряжения своим имуществом было немало. Я вспоминаю в Москве одного из крупных промышленников, который, не желая и имея к тому основания, оставить все свое состояние сыну, завещал большие суммы церквам, на колокола: «Пусть звонят в мою память». И ничего поделать с такою

своеобразной благотворительностью было нельзя. Если к этому прибавить, что уже давно женщины в России были совершенно свободны в распоряжении своим имуществом, то будет ясно, что там ничто не мешало употреблять нажитые средства на ту цель, которая была близка сердцу. «По недоразумению, по капризу, по вдохновению», — писал хорошо знавший Москву сотрудник «Нового времени».

Широкая благотворительность, коллекционерство и поддержка всякого рода культурных начинаний были особенностью русской торгово-промышленной среды. Третьяковская Галлерея, Щукинский и Морозовский музеи современной французской живописи, Бахрушинский Театральный музей, собрание русского фарфора А. В. Морозова, собрания икон С. П. Рябушинского, собрания картин В. О. Гиршмана, Е. И. Лосевой и М. П. Рябушинского, Частная Опера С. М. Мамонтова, Опера С. И. Зимина, Художественный Театр В. С. Алексеева-Станиславского и С. Т. Морозова, равно как и Н. Л. Тарасова… В. А. Морозов и «Русские ведомости», М. К. Морозова — и Московское философское общество, С. И. Щукин — и Философский институт при Московском университете… Найденовские собрания и издания по истории Москвы, Московии и, в частности, московского купечества…

Клинический городок и Девичье поле в Москве созданы, главным образом, семьей Морозовых… Солдатенков — и его издательство, и «Щепкинская» библиотека… Больница имени Солдатенкова, Солодовни-ковская больница, Бахрушинские, Хлудовские, Мазуринские, Горбовские странноприимные дома и приюты; Арнольдо-Третьяковское училище для глухонемых; Шелапутинская и Медведниковская гимназии;

Александровское коммерческое училище; Практическая Академия Коммерческих Наук; Коммерческий Институт Московского общества распространения коммерческого образования, где каждая аудитория, каждый кабинет или лаборатория были сооружены либо какой-то семьей, либо в память какой-то семьи… Много было и других, и разве вообще можно припомнить все те памятники жертвенности представителей «темного царства», того «чумазого», который неустанно шел вперед и не хотел только торговать миткалем, а интересовался категорическим императивом, гегелианством, Штейнеровской антропософией и картинами Матисса, Ван Гога и Пикассо.

Но нужно быть справедливым. Нужно признать, что та роль, которую купечество, в частности московское, играло в общественной жизни и, главным образом, в целях благотворения,

уже давно отмечалась выдающимися русскими людьми.

В 1856 году в Москву приезжала делегация севастопольских моряков, славных защитников этой русской крепости, павшей во время Крымской войны. Геройским защитникам Севастополя в Москве была устроена торжественная встреча, одним из главных моментов коей был торжественный обед, устроенный Кокоревым от имени русского московского купечества. На этом обеде известный русский историк М. П.

Погодин произнес большую речь, в которой, между прочим, сказал следующее:

«Перехожу на другой клирос и прошу позволения сказать несколько слов в честь знаменитого московского купечества. Оно служит верно Отечеству своими трудами и приносит на алтарь его беспрерывные жертвы. Ни один торговый город в Европе не может сравниться в этом отношении с Москвой. Но наши купцы не охотники еще до истории: они не считают своих пожертвований и лишают народную летопись прекрасных страниц. Если бы счесть все их пожертвования за нынешнее только столетие, то они составили бы такую цифру, которой должна бы поклониться Европа. И не бывает в Москве промежутка, чтобы переводились даже частные благотворители между купцами. Скончается один, — является другой. Святое место не бывает пусто. Каков был Крашенинников. До десяти миллионов простиралось количество его пожертвований. Колесов, Лепешкин оставили завещания, изукрашенные делами благотворительности. Сколько назначил для добра Рахманов, нашедший себе достойного душеприказчика в Солдатенкове. А сам Солдатенков, а Набилков, Лобков, Гучковы, Прохоровы, Алексеевы, — всех и не пересчитать.

Да здравствует и успевает во всех своих добрых делах знаменитое благотворительное Московское купечество».

Что бы пришлось сказать Погодину, если бы он произносил свою речь пятьдесят лет спустя.

ГЛАВА II

Если бы мне пришлось печатать эту главу отдельно, я бы прибавил еще один подзаголовок: «Очерк из истории русской культуры». Как видно будет ниже, нет ни одной культурной области, где бы представители московского купечества не внесли своего вклада. Для подтверждения справедливости моего утверждения я приведу свидетельство одного из признанных во всем мире деятеля в области театра — К. С. Алексеева-Станиславского:

«Я жил в такое время, — пишет он, — когда в области искусства, науки, эстетики, началось большое оживление. Как известно, в Москве этому немало способствовало тогдашнее молодое купечество, которое впервые вышло на арену русской жизни и, наряду со своими торгово-промышленными делами, вплотную заинтересовалось искусством.

Вот, например, Павел Михайлович Третьяков, создатель знаменитой галлереи, которую он пожертвовал городу Москве. С утра и до ночи работал он или в конторе, или на фабрике, а вечерами занимался в своей галлерее, или беседовал с молодыми художниками, в которых чуял талант. Через год-другой картины их попадали в галлерею, а они сами становились сначала просто известными, а потом знаменитыми. И с какой скромностью меценатствовал П. М. Третьяков…

Вот другой фабрикант, — К. Т. Солдатенков, посвятивший себя издательству тех книг, которые не могли рассчитывать на большой тираж, но были необходимы для науки, или вообще для культурно-образовательных целей. Его прекрасный дом в греческом стиле превратился в библиотеку. Окна этого дома никогда не блистали праздничными огнями, и только два огня кабинета долго за полночь светились в темноте тихим светом.

М. В. Сабашников, подобно Солдатенкову, тоже меценатствовал в области литературы и книги, и создал значительное в культурном отношении издательство.

Сергей Иванович Щукин собрал галлерею французских художников нового направления, куда бесплатно допускались все желающие знакомиться с живописью. Его брат, Петр Иванович Щукин, создал большой музей русских древностей.

Алексей Александрович Бахрушин учредил на свои средства единственный в России театральный музей, собрав в нем то, что относилось к русскому и частью к западно-европейскому театру.

А вот еще превосходная фигура одного из строителей русской культурной жизни, совершенно исключительная по таланту,

разносторонности, энергии и широте размаха. Я говорю об известном меценате Савве Ивановиче Мамонтове, который был одновременно и певцом, и оперным артистом, и режиссером, и драматургом, и создателем русской частной оперы, и меценатом в живописи, вроде Третьякова, и строителем многих русских железно-дорожных линий.

Но о нем мне придется говорить подробно в свое время так же, как и о другом крупном меценате в области театра, — Савве Тимофеевиче Морозове, деятельность которого тесно слита с основанием Художественного театра». (К. С. Станиславский, «Моя жизнь в искусстве», Ленинград, «Академия», 1928.)

В этой очень верно схваченной картине имеется один, как говорится, «досадный» пропуск: Константин Сергеевич забыл упомянуть самого себя.

В родословии московского купечества была очень сложная иерархия и весьма своеобразное местничество. Были семьи, которые всеми считались на вершинах московского купечества; были другие, которые сами себя считали таковыми, с чем остальные не всегда были согласны; были такие, которые претендовали на первенство, благодаря своему богатству или большой доходности своих предприятий. Но опять мне приходится повторить: как это ни странно, в старой Москве богатство решающей роли не играло. Почти все семьи, которые надлежит поставить на первом месте в смысле их значения и влияния, были не из тех, которые славились бы своим богатством. Иногда это совпадало, но лишь в тех случаях, когда богатство служило источником для дел широкого благотворения, или создания музеев, клиник, или развития театральной деятельности.

Боборыкин ввел в обиход термин «купеческие династии». Он умел хорошо наблюдать действительность и обладал даром дать настоящую характеристику. На самом деле, такие династии существовали. Каждая семья жила более или менее замкнуто, окруженная своими друзьями и приближенными, людьми «разных званий», а не членами других равноценных династий, и в общем говоря, не считалась ни с кем и ни с чем. Было бы ошибкой считать это проявлением пресловутого самодурства: жизнь текла в домашнем кругу, никто не искал, чтоб о нем говорили газеты.

Это было лишь последним пережитком того патриархального уклада, в котором, в прежнее время проходила жизнь во всех почти слоях русского общества. В купечестве, может быть, этот уклад сохранился несколько дольше, но это никак нельзя принимать за признак какой-то «отсталости».

Весьма интересную попытку установить московскую торгово-

промышленную табель о рангах дает В. П. Рябушинский.

«В московской неписанной купеческой иерархии, — говорит он, — на вершине уважения стоял промышленник-фабрикант; потом шел купец-торговец, а внизу стоял человек, который давал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Его не очень уважали, как бы дешевы его деньги ни были, и как бы приличен он сам ни был. Процентщик»…

Тут же автор отмечает, что и в Москве, и в России начался процесс захвата промышленности банками и, в связи с этим, появился антагонизм и между банкирами и промышленниками, так сказать, борьба за гегемонию.

Устанавливаемая Рябушинским иерархия кажется мне совершенно правильной, с той лишь поправкой, что ее надо брать в определенных отрезках времени и места. Да еще можно сказать, что она верна не для одной России. Французский писатель Андрэ Моруа, сам происходящий из французской купеческой семьи, свидетельствует, что и во Франции наблюдается нечто подобное.

В московском купеческом родословии было два с половиной десятка семей, которые нужно поставить на самых верхах генеалогической лестницы. Повторяю, это вовсе не всегда были «гости», или «первостатейные купцы», или миллионеры. Это были те, которые занимали почетное положение в народно-хозяйственной жизни и помнили о своих ближних: помогали страждущим и неимущим и откликались на культурные и просветительные потребности. Все эти семьи можно разделить на несколько категорий.

На первом месте надо поставить пять семей, которые из рода в род сохранили значительное влияние, либо в промышленности, либо в торговле, постоянно участвовали в общественной — профессионально-торговой и городской деятельности, и своей жертвенностью, или созданием культурно-просветительных учреждений обессмертили свое имя. Это были: Морозовы, Бахрушины, Найденовы, Третьяковы и Щукины.

Во вторую группу нужно отнести семьи, которые также играли выдающуюся роль, но которые, к моменту революции, сошли с первого плана, либо отсутствием ярких представителей, что для этой группы особенно характерно, либо выходом из купеческого плана и переходом в дворянство. Это были семьи Прохоровых, Алексеевых, Шелапутиных, Куманиных, Солдатенковых, Якунчиковых.

Далее надо поставить семьи, в прошлом занимавшие самые первые места, но бывшие либо на ущербе, либо ушедшие в другие области общественной или культурной жизни. Таковыми были семьи Хлудовых, Мамонтовых, Боткиных, Мазуриных и

Абрикосовых. Следующую группу составляют семьи, которые в последние годы были более известны общественной деятельностью их представителей, чем свой коммерческой активностью. Это Крестовниковы, Гучковы, Вишняковы, Рукавишниковы, Коноваловы. Наконец, семьи, из коих каждая являлась по своему примечательной: Рябушинские, Красилыциковы, Ушковы, Швецовы, Второвы и Тарасовы.

В заключение я приведу характеристику этой части московского купечества, какую дает ей В. В. Стасов в своей известной статье, посвященной П. М. Третьякову и его Галлерее. Упомянув о существова-

нии Кит Китыча и Гордея Торцова, он свидетельствует, что, в течение первой половины настоящего столетия, выросла иная еще порода людей купеческой семьи, с иными потребностями и иными стремлениями, людей, у которых, невзирая на богатство, всегда было мало охоты до пиров, до всякого жуирства и нелепого прожигания жизни, но у которых была, вместо того, великая потребность в жизни интеллектуальной, было влечение ко всему научному и художественному. И вот эти люди ищут себе постоянно товарищей и знакомых в среде интеллигентной, истинно образованной и талантливой, проводят много времени с писателями и художниками, интересуются созданиями литературы, науки и искусства. Одни из них накопляют в своем доме богатые собрания книг и рукописей, другие — не менее богатые коллекции картин и всяких художественных произведений. Одни сами становятся писателями, другие — людьми науки, третьи — художниками и музыкантами, четвертые заводят типографский станок и печатают целые библиотеки хороших книг, пятые создают публичные галлереи, куда открывают доступ всем желающим. И всегда, во всем, стоит у них на первом месте общественное благо, забота о пользе всему народу.

Эта деятельность лучшей части московского купечества в продолжение первой половины нашего столетия, такая светлая, такая благородная, такая изумительная, принадлежит важнейшим страницам истории русского народа, и рано или поздно заставит какого-нибудь интеллигентного человека сделаться ее историографом. Можно только удивиться, как до сих пор такого историографа у нас еще не нашлось.

Морозовы. С именем Морозовых связуется представление о влиянии и расцвете московской купеческой мощи. Эта семья, разделившаяся на несколько самостоятельных и ставших различными, ветвей, всегда сохраняла значительное влияние и в ходе московской промышленности, и в ряде благотворительных и

культурных начинаний. Диапазон культурной деятельности был чрезвычайно велик. Он захватывал и «Русские ведомости», и философское московское общество, и Художественный театр, и музей французской живописи, и клиники на Девичьем Поле.

Морозовы были одной из немногих московских семей, где уже к началу девятнадцатого века насчитывалось пять поколений, одинаково активно принимавших участие и в промышленности, и в общественности. Были, конечно, проявления и упадка, но в общем эта семья сохраняла долго свое руководящее влияние.

Основателем Морозовской семьи был Савва Васильевич Морозов, начавший свою деятельность в начале XIX века, после московского пожара, когда сгорел ряд прежних московских фабрик. С этого времени, под влиянием благоприятного таможенного тарифа, начался подъем в хлопчатобумажной промышленности.

У Саввы Васильевича было пять сыновей: Тимофей, Елисей, Захар, Абрам и Иван. О судьбе последнего известно немного, а первые четыре явились сами, или через своих сыновей, создателями четырех главных Морозовских Мануфактур и родоначальниками четырех главных ветвей Морозовского рода. Тимофей был во главе Никольской мануфактуры; Елисей и его сын Викула — Мануфактуры Викулы Морозова; Захар — Богородской-Глуховской, а Абрам — Тверской. Все эти мануфактуры в дальнейшем жили своей отдельной жизнью, и никакого «Морозовского треста» не существовало.

Тимофей Саввич был основателем одной из первых Морозовских мануфактур, — Никольской, которая была первой русской хлопчатобумажной фабрикой, оборудованной конторой Л. И. Кноп. Акционерную форму она приняла сравнительно поздно, в 1873 году, и получила название: «Т-во Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сын и Ко». Это была полная мануфактура, то есть покупавшая хлопок и продававшая готовый товар, зачастую из своих складов, непосредственно потребителям. Работали так называемый бельевой и одежный товар, и изделья ее славились по всей России, и за рубежом, — в Азии и на Востоке.

Тимофей Саввич тратил немало средств на разные культурные начинания, в частности на издательство, которое он осуществил с помощью своего зятя, профессора Г. Ф. Карпова.

Жена Тимофея Саввича, Мария Федоровна, после его смерти, была и главою фирмы и главою многочисленной семьи. Я ее хорошо помню, — мы были пайщиками Никольской мануфактуры. Это была женщина очень властная, с ясным умом, большим житейским тактом и самостоятельными взглядами.

Подлинная глава семьи.

У Тимофея Саввича было два сына и три дочери, — Савва и Сергей Тимофеевичи, Анна, Юлия и Александра Тимофеевны. О Савве Тимофеевиче я скажу в дальнейшем отдельно. Сергей Тимофеевич дожил до глубокой старости и умер сравнительно недавно, в эмиграции. Он был женат на О. В. Кривошейной, сестре известного государственного деятеля. Сергею Тимофеевичу принадлежит честь создания в Москве Кустарного музея в Леонтьевском переулке. Он много содействовал развитию кустарного искусства.

Савва Тимофеевич был женат на бывшей работнице Никольской мануфактуры, где она, в свое время, была «присучалыцицей».

(Присучальщица — это работница на прядильной машине, задача которой состоит в том, чтобы следить, как бы не прервалась нить и, в случае разрыва нити пряжи» соединять.)

Сначала она вышла замуж за одного из фабрикантов из семьи Зиминых, овдовела, и потом на ней женился Савва Тимофеевич. Я ее помню уже не молодой, но еще очень интересной женщиной, весьма авторитетной и скорее надменной. Она была своего рода русским самородком, и кто не знал ее прошлого, никогда не сказал бы, что она стояла за фабричным станком. Мне доводилось с ней встречаться по городским благотворительным делам.

Помню один комитет, где она с большим искусством председательствовала. После смерти мужа она третий раз вышла замуж за бывшего московского градоначальника А. А. Рейнбота. Как известно, против него было возбуждено уголовное дело, что нанесло большой удар ее самолюбию. От брака с Саввой Тимофеевичем у нее было четверо детей: Мария и Елена, Тимофей и Савва Саввичи. Мария Саввишна была замужем за И. О. Курлюковым (из семьи «бриллиантщиков»), но скоро с ним разошлась; занималась благотворительностью, была очень добрая, но какая-то странная, видимо не совсем нормальная: любила выступать на благотворительных вечерах в балетных танцах. Коронным ее номером была «русская», поставленная ей, как многим другим московским любительницам, балериной Е. В. Гельцер, которая, исполняя ее, пользовалась огромным успехом. У Марии Саввишны это дело не ладилось, над ней добродушно подсмеивались и называли «Марья Саввишна, Вчерашна Давишна».(В семье Мамонтовых, где тоже были «Саввы», дочерей звали «Саввовна», а не «Саввишна)». Все это было уже после смерти ее отца.

Савва Тимофеевич в течение ряда лет был во главе Никольской мануфактуры и хорошо знал фабрично-заводское

дело. Кроме того, он много занимался и промышленно-общественной деятельностью. Мне уже приходилось говорить о его выступлениях, как председателя Нижегородского Ярмарочного биржевого комитета. Там его очень ценили и любили. Мне пришлось вступить в состав этого комитета лет через пятнадцать после его ухода, но о нем всегда говорили и вспоминали.

Савва Тимофеевич был человек разносторонний и многим интересовался. Он сыграл большую роль в жизни Художественного театра. Вот как о нем вспоминает Станиславский:

«Несмотря на художественный успех театра, материальная сторона его шла неудовлетворительно. Дефицит рос с каждым месяцем. Приходилось собирать пайщиков дела для того, чтобы просить их повторять свои взносы. К сожалению, большинству это оказалось не по средствам…

… Но и на этот раз, добрая судьба позаботилась о нас, заблаговременно заготовив нам спасителя.

… Еще в первый год существования театра, на один из спектаклей «Федора», случайно заехал Савва Тимофеевич Морозов. Этому замечательному человеку суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы, но и служить искусству со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции и личной выгоды. С. Т. Морозов просмотрел спектакль и решил, что нашему театру надо помочь. И вот теперь этому представился случай.

Неожиданно для всех он приехал на описываемое заседание и предложил пайщикам продать ему все паи. Соглашение состоялось и, с того времени, фактическими владельцами дела стали только три лица: С. Т. Морозов, Вл. Ив. Немирович-Данченко и я. Морозов финансировал театр и взял на себя всю хозяйственную часть.

Он вникал во все подробности дела и отдавал ему все свободное время… Савва Тимофеевич был трогателен своей бескорыстной преданноностью искусству и желанием посильно помогать общему делу»…

Не менее положительную характеристику дает хорошо его знавший Вл. Ив. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях «Из прошлого Москвы»:

«Среди московских купеческих фамилий, — пишет он, — династия Морозовых была самая выдающаяся. Савва Тимофеевич был ее представителем. Большой энергии и большой воли. Не преувеличивал, говоря о себе: если кто станет на моей дороге,

перейду и не сморгну. Держал себя чрезвычайно независимо… Знал вкус и цену простоте, которая дороже роскоши… Силу капитализма понимал в широком государственном масштабе».

В свое время в Москве очень много говорили об участии С. Т. Морозова в революционном движении, приведшем, в конце концов С. Т. к самоубийству. Немирович-Данченко дает по этому поводу любопытные подробности:

«Человеческая природа не выносит двух равносильных противоположных страстей. Купец не смеет увлекаться. Он должен быть верен своей стихии, стихии выдержки и расчета. Измена неминуемо поведет к трагическому конфликту, а Савва Морозов мог страстно увлекаться.

До влюбленности.

Не женщиной, — это у него большой роли не играло, а личностью, идеей, общественностью. Он с увлечением отдавался роли представителя московского купечества, придавая этой роли широкое общественное значение. Года два увлекался мною, потом Станиславским. Увлекаясь, отдавал свою сильную волю в полное распоряжение того, кем он был увлечен; когда говорил, то его быстрые глаза точно искали одобрения, сверкали беспощадностью, сознанием капиталистической мощи и влюбленным желанием угодить предмету его настоящего увлечения.

Кто бы поверил, что Савва Морозов с волнением проникался революционным значением Росмерсхольма…

Но самым громадным, всепоглощающим увлечением его был Максим Горький и, в дальнейшем, — революционное движение»…

На революционное движение он давал значительные суммы. Когда же в 1905 году разразилась первая революция и потом резкая реакция, — что-то произошло в его психике и он застрелился. Это случилось в Ницце.

Вдова привезла в Москву, для похорон, закрытый металлический гроб. Московские болтуны пустили слух, что в гробу был не Савва Морозов. Жадные до всего таинственного люди подхватили, и по Москве много-много лет ходила легенда, что Морозов жив и скрывается где-то в глубине России…

Легенда, действительно, по Москве ходила, но сомнений, что в Москву было перевезено и похоронено тело С. Т. Морозова, не было. Тело его из Ниццы привезла не вдова, а специально посланный его семьей его племянник Карпов. Он сам мне рассказывал, как выполнил эту миссию, и у него никаких сомнений не было.

Другая ветвь Морозовской семьи была «Викулычи». Им

принадлежала другая мануфактура в том же местечке Никольском, под названием «Т-во Викулы Морозова сыновей».

Викула Елисеевич был сын Елисея Саввича и отец многочисленного семейства. Все они были старообрядцы, «беспоповцы», кажется, поморского согласия, очень твердые в старой вере. Все были с большими черными бородами, не курили и ели непременно своей собственной ложкой. Самый известный из них — Алексей Викулович, у которого была на редкость полная и прекрасно подобранная коллекция русского фарфора. В Москве эту коллекцию знали мало, так как владелец не очень любил ее показывать. Было у него и хорошее собрание русских портретов, но мне не пришлось его видеть.

Из братьев я знал еще Елисея Викуловича, который, как помнится, ничем особенно не отличался. Зато одна из сестер получила большую известность:

она была замужем за мебельным фабрикантом Шмидтом и мать известного революционера, покончившего с собой в московской тюрьме, после декабрьского восстания 1905 года.

Другая была замужем за крупным ткацким фабрикантом, В. А. Горбуновым, который был тоже «бес-поповец». Я помню, что на его похоронах церковная служба продолжалась более шести часов кряду.

Старообрядческой была и третья ветвь: Морозовых Богородско-Глуховских. Богородско-Глуховская мануфактура была одной из старейших русских акционерных компаний, основанная в 1855 году Иваном Захаровичем, внуком Саввы Васильевича. У него было два сына, Давыд и Арсений Ивановичи. Первого я не помню, он давно уже умер, а Арсения Ивановича помню хорошо. Он был одним из главных персонажей в старообрядчестве (рогожского согласия) и пользовался и среди них, и в промышленных кругах, весьма большим уважением. У него было два сына, Петр и Сергей Арсеньевичи, и дочь, Глафира Арсеньевна Расторгуева (ее муж был Николай Петрович, из семьи Расторгуевых — рыбников).

Оба брата, Арсений и Давыд Ивановичи, покровительствовали литературе, и некоторые журналы, — «Голос Москвы», «Русское дело» и «Русское обозрение» издавались, в значительной степени, на их средства.

У Давыда Ивановича было также два сына и дочь, — Николай и Иван Давыдовичи и Ольга Давыдовна, по мужу Царская. Николай Давыдович был женат на Елене Владимировне, урожденной Чибисовой и дочери Ольги Абрамовны из семьи «Тверских» Морозовых. Детей у них не было.

Николай Давыдович был одной из самых примечательных

фигур на московском торгово-промышленном горизонте. Он долгое время стоял во главе дела, принадлежавшего их семье, и поставил Богородицко-Глуховскую мануфактуру на большую высоту. Это была одна из лучших, по своему техническому оборудованию, фабрик во всей Европе. Работала она, как и все фабрики Морозовых, бельевой и одежный товар, и некоторые «артикулы» пользовались большой и заслуженной славой.

Н.Д. долго жил в Англии, хорошо знал английскую хлопчатобумажную промышленность и даже состоял членом английских профессиональных организаций. Н. Д. принимал участье и в работе Биржевого комитета, хотя и не любил занимать официально какие-либо должности. Но он был своего рода душою дела, к голосу его прислушивались и с мнением его считались. Он вел суровую борьбу против отдельных попыток всякого рода злоупотреблений и бесчестностей в торгово-промышленном обиходе: неплатежей, невыполнения обязательств по контрактам, нарушения данного слова и пр. В этих случаях он был беспощаден к правонарушителю и своей горячностью и страстностью всегда умел заставить большинство следовать за ним.

Он был моим соседом по имению: он купил- у Белосельских-Белозерских их подмосковное имение, где построил прекрасный дом в стиле английского замка. Имение это было в десяти верстах от нашего, и мы часто ездили в Москву одним и тем же поездом. С этого началось наше знакомство, перешедшее потом в дружбу. В дальнейшем, на Бирже, мы много вместе работали.

Брат его, Иван Давыдович, занимался сначала больше общественной деятельностью, и мы тоже с ним немало встречались. Он был и гласным Думы, и почетным мировым судьей, и принимал участие в городских благотворительных комитетах, например, по Вербному базару и Дню белой ромашки. Женат он был первым браком на Ксении Александровне Найденовой. Они были радушными и хлебосольными хозяевами и я не раз у них бывал. Обычно играли мы у них в карты, в любимую когда-то в Москве игру, — преферанс. Постоянная партия была: братья Н. Д. и И. Д. Морозовы, И. М. Любимов и я. Играли, надо сказать, очень крупно.

Последней ветвью Морозовской «династии» были «Абрамовичи», или «Тверские». Родоначальником этой группы был Абрам Саввич, основатель Тверской мануфактуры, женатый на Дарье Давыдовне Широковой, родная сестра которой, Пелагея Давыдовна, была замужем за Герасимом Ивановичем Хлудовым. Его сын, Абрам Абрамович, был женат на Варваре Алексеевне Хлудовой, дочери Алексея Ивановича Хлудова, т. е., иначе говоря, на своей двоюродной племяннице. У них было три сына: Арсений,

Михаил и Иван Абрамовичи.

У другого сына Абрама Саввича, Давыда Абрамовича, был сын, Николай Давыдович, ничем себя не проявивший и умерший сравнительно рано, и три дочери: Серафима Давыдовна Красильщикова, Маргарита Давыдовна Карпова и Антонида Давыдовна Алексеева. О Серафиме Давыдовне мне придется говорить в связи с семьей Красилыциковых.

В этой ветви морозовского семейства особенно известными были женщины, — не урожденные Морозовы, а морозовские жены. Варвара Алексеевна урожденная Хлудова, и Маргарита Кирилловна урожденная Мамонтова, сыграли, обе, огромную роль не только в московской, но и в общерусской культурной жизни. Варвару Алексеевну Боборыкин описал в своем Китай-Городе. Но оригинал был гораздо примечательнее копии. Верно у Боборыкина лишь то, что ее деятельность широко развернулась после смерти ее первого мужа, А. А. Морозова. Вторым ее мужем был профессор В. М. Соболевский, руководитель газеты «Русские ведомости».

По каким-то завещательным затруднениям она не могла выйти за него замуж официально, и ее дети от Соболевского, Глеб и Наталья, носили фамилию Морозовых. Глеб Васильевич был женат на Марине Александровне Найденовой. Варвара Алексеевна была — «классический тип прогрессивной Московской благотворительницы». Не было начинаний, на которые она не откликалась бы. Но в ее активности была особая черта, являвшаяся, конечно, следствием ее близости к «Русским ведомостям», и в этом вопросе она представляла некоторое исключение среди других деятелей из московского купечества. Одним из ее главных созданий были так называемые Пречистенские курсы для рабочих, которые действительно были таковыми и, с течением времени, стали значительным центром для просвещения московских рабочих масс. Моя сестра, Надежда Афанасьевна, почти со времени их возникновения, была одной из деятельных сотрудниц В. А. в этом деле, в связи с чем и я, соприкасаясь с этим начинанием, был в общении с Варварой Алексеевной и сохраняю благоговейную память о ее бескорыстной и энергичной работе.

Беспристрастия ради, я приведу один отзыв, который дает о ней Вл. Немирович-Данченко в своей книге «Из прошлого»:

«Это была очень либеральная благотворительница. Тип в своем роде замечательный. Красивая женщина, богатая фабрикантша, держала себя скромно, нигде не щеголяла своими деньгами, была близка с профессором, главным редактором популярнейшей в России газеты, может быть даже строила всю

свою жизнь во вкусе благородного сдержанного тона этой газеты. Поддержка женских курсов, студенчества, библиотек, — здесь всегда можно было встретить имя Варвары Алексеевны Морозовой. Казалось бы, кому же и откликнуться на наши театральные мечты, как не ей. И я, и Алексеев, были с ней, конечно, знакомы и раньше. Уверен, что обоих нас она знала с хорошей стороны.

Когда мы робко, точно конфузясь своих идей, докладывали ей о наших планах, в ее глазах был почтительно-внимательный холод, так что весь наш пыл быстро замерзал, и все хорошие слова застывали на языке. Мы чувствовали, что чем сильнее мы ее убеждаем, тем меньше она нам верит, тем больше мы становимся похожими на людей, которые пришли вовлечь богатую женщину в невыгодную сделку. Она с холодной, любезной улыбкой, отказала»…

Сын Варвары Алексеевны, Михаил Абрамович, был известен в Москве под именем «Джентльмен». Этим именем он был обязан тому, что с него, как говорится, списал героя своей известной пьесы того же наименования А. И. Сумбатов-Южин. Эта пьеса очень хорошо шла в Московском Малом Театре, и в начале девятисотых годов, и в новой постановке, незадолго перед войной 1914 года.

Вся Москва ее пересмотрела и о герое много говорили, хотя, в сущности говоря, сам по себе он этого, может быть, и не заслуживал. Был он человек образованный, не без дарований, даже писал (под псевдонимом М. Юрьев), но больше всего знали его в Москве, помимо Сумбатовской пьесы, еще по сказочному даже для Москвы, карточному проигрышу: в одну ночь в Английском клубе, он проиграл известному табачному фабриканту и балетоману, М. Н. Бостанжогло, более миллиона рублей.

Жена его, Маргарита Кирилловна, была также очень известна в Москве, но совсем в иной области. В ее доме, при ее содействии и участии, устраивались религиозно-философские собрания, и устраивались они московскими философами, начиная с кн. Сергея Николаевича Трубецкого. Мне удалось, по протекции, раза два или три присутствовать на этих чрезвычайно интересных собраниях, являвшихся одной из значительных достопримечательностей. Протекцией моей был Семен Владимирович Лурье, принадлежавший к промышленному миру, но исключительно грамотный в вопросах, как экономики, так и философии. Он был очень близок к делу устройства этих собраний.

М. К. Морозова тоже была выведена в театральной пьесе — в

«Цели жизни» В. Немировича-Данченко, — в каррикатурном, но не слишком злом виде. О ней и о собраниях в ее доме не мало писал в своих воспоминаниях за последнее время Степун. К его мемуарам мне еще придется вернуться: у меня впечатление, что автор «Николая Переслегина» не очень хорошо знал Москву.

Семьей Морозовых было создано много благотворительных учреждений, в частности университетские клиники. Самым значительным был институт для лечения раковых опухолей, при Московском университете. Про эту клинику Рябушинский говорит, что она представляла собой целый город. Далее были университетские психиатрические клиники, детская больница имени В. Е. Морозова, Городской родильный дом имени С. Т. Морозова, богадельня имени Д. А. Морозова. В. А.

Морозовой было устроено ее имени начальное ремесленное училище, и С. Т. Морозовым — упомянутый мною уже музей кустарных изделий. Наконец, Морозовыми был сооружен прядильно-ткацкий корпус при Московском Техническом училище и организована соответствующая кафедра по текстильному делу.

Бахрушины (Сведения о семье Бахрушиных любезно сообщил мне М. Д. Бахрушин). происходят из купцов города Зарайска Рязанской губернии, где род их можно проследить по писцовым книгам до 1722 года, но семейные предания идут дальше, утверждая, что род их был известен уже с половины XVII века. По профессии они были «прасолы», т. е. гоняли гуртом скот из Приволжья в большие города.

Скот иногда дох по дороге, шкуры сдирались, их везли в город и продавали кожевенным заводам; потом это положило начало своему собственному делу.

Алексей Федорович Бахрушин (1800–1848) перебрался в Москву из Зарайска в тридцатых годах прошлого столетия. В Московское купечество он занесен с 1835 года. Семья переезжала на телегах, со всем скарбом. Младшего сына, Александра, будущего почетного гражданина города Москвы, везли в бельевой корзине.

В Москве Алексей Федорович основал кожевенный завод и готовил лайку для перчаток. По своему времени, он был новатором: учил младшего сына французскому языку, первый в Москве поставил кирпичную трубу на заводе и обрил себе бороду, что тогда для купца считалось зазорным.

На трубу многие посматривали, качая головой: «Пролетит он в эту самую трубу». Вроде этого и случилось: когда он вскоре умер, наследники раздумывали, принимать ли наследство, — так много было долгов.

Про бороду говорили, что однажды, выпивши, А. Ф. поспорил с другими купцами на 100 рублей, что сбреет себе бороду. Тут же позвал цирюльника: «Сбрей мне бороду». — «Не могу, ваше степенство, когда протрезвитесь, ею меня побьете.» — «Давай ножницы». И он сам себе отрезал бороду, и тогда цирюльник побрил его.

После смерти Алексея Федоровича его вдова, Наталия Ивановна, продолжала дело с тремя сыновьями, — Петром, Александром и Василием Алексеевичами. Дело пошло успешно. Кроме кожевенного завода, появилась и суконная фабрика.

Разбогатели Бахрушины главным образом во время Русско-турецкой войны. В то время уже существовало паевой товарищество «Алексей Бахрушин и Сыновья». Жили братья очень патриархально. Старший, Петр Алексеевич, правил всем домом, всей семьей, и братьями, и взрослыми, женатыми сыновьями, как диктатор. Своим братьям, которые были значительно его моложе, он говорил «ты», «Саша», «Вася», но они обращались к нему: «Вы, батюшка-братец Петр Алексеевич». До прихода его в столовую никто не мог сесть. Потом младшая дочь читала молитву «Очи всех на Тя, Господи…», и начинался обед, после которого все подходили к его руке и к руке его жены. Жили долгое время общим хозяйством, материал на одежду покупали штуками, для всех. Долго и касса была общая. В конце года выводилась общая наличность.

Петр Алексеевич умер в 1894 году. Он был женат на Екатерине Ивановне Митрофановой и имел 18 человек детей, из коих 9 умерли в раннем возрасте. Из остальных было четыре сына: Дмитрий, Алексей, Николай и Константин Петровичи, — и пять дочерей. У всех сыновей были многочисленные семьи.

Александр Алексеевич, женатый на Елене Михайловне Постниковой, был отцом известного городского деятеля Владимира Александровича, коллекционеров Сергея и Алексея Александровичей, и дедом профессора Сергея Владимировича.

Владимир Александрович был женат на Елизавете Сергеевне Перловой, а Алексей Александрович на Вере Васильевне Носовой.

У Бахрушиных в крови было два свойства: коллекционерство и благотворительность.

Из коллекционеров были известны Алексей Петрович и Алексей Александрович. Первый собирал русскую старину и, главным образом, книги. Его коллекция, в свое время, была подробно описана. По духовному завещанию, библиотеку он оставил Румянцевскому Музею, а фарфор и старинные вещи — Историческому, где были две залы его имени. Про него говорили, что он страшно скуп, так как «ходит кажное воскресение на

Сухаревку и торгуется, как еврей». Но всякий коллекционер знает, что самое приятное — это самому разыскать подлинно ценную вещь, о достоинствах коей другие не подозревали.

О Театральном музее Алексея Александровича слишком хорошо известно, чтобы на нем останавливаться. Это единственное в мире богатейшее собрание всего, что имело какое-либо отношение к театру. Видно было, с какой любовью оно долгие годы собиралось. А. А. был большим любителем театра, долгое время председательствовал в Театральном обществе и был весьма популярен в театральных кругах.

Он был человек очень интересный и несколько взбалмошенный. Когда он был в духе и сам показывал свои коллекции, было чрезвычайно поучительно. Об его музее и о нем самом упоминается в Большой Советской Энциклопедии.

Коллекционерствовал и брат его, Сергей Александрович. Это был большой оригинал. Вставал он обычно в три часа пополудни и ехал в амбар, где состоял кассиром суконного склада. Приезжал он, когда уже запирали. Был большим поклонником балета и балерин. В балете его всегда можно было встретить. Собирал он гравюры, табакерки и картины. В частности у него было большое количество картин Врубеля. Женат он не был.

Бахрушиных в Москве иногда называли «профессиональными благотворителями». И было за что. В их семье был обычай: по окончании каждого года, если он был, в финансовом смысле, благоприятен, отделять ту или иную сумму на дела благотворения. Еще при жизни старших представителей семьи были выстроены и содержались за их счет: Бахрушинская городская больница, Дом бесплатных квартир, приют и колония для беспризорных, Ремесленное училище для мальчиков, Дом для престарелых артистов. В Зарайске была богадельня имени Бахрушиных.

И по Москве, и по Зарайску они были почетными гражданами города, — честь весьма редкая. Во время моего пребывания во Городской думе было всего два почетных гражданина города Москвы: Д. А. Бахрушин и кн. В. М. Голицын, бывший городской голова.

Могли легко получить дворянство, — сами не хотели. Только Алексей Александрович, за переделку Музея Академии Наук, получил генеральский чин.

Я очень хорошо знал многих членов семьи Бахрушиных, и старшего поколения, и моих современников. С Алексеем Александровичем мы много работали по благотворительным делам, в частности на знаменитых Московских Вербных базарах, в Дворянском собрании. С Константином Петровичем постоянно

встречался за преферансом. Это был один из самых толстых людей в Москве и приятный собеседник. Один из немногих, который говорил мне «Паша» и «ты», — а я ему, конечно, «Вы, Константин Петрович». У них ежегодно, в день Сретенья, 2-го февраля, устраивался большой бал: это был день его рождения. Все вообще Бахрушины жили сравнительно замкнуто, и это являлось исключением.

С его семьей мы были вообще ближе знакомы: две его дочери были за двумя Михайловыми, а посему в некотором свойстве с моей сестрой, Ольгой Афанасьевной; младшие же, Нина и Петр Константиновичи Бахрушины, бывали у нас в доме. Бывал также и милейший Михаил Дмитриевич, тогда только еще начинавший свою деловую карьеру.

Но больше всего приходилось встречаться с профессором Сергеем Владимировичем. И по городу Москве, и по Союзу городов мы работали вместе, и об этом общении я сохраняю самые светлые воспоминания. Это был один из самых культурных и обаятельных людей, которых мне доводилось видеть. Он был очень одаренный человек, очень хорошо рисовал. Обычно на каком-нибудь заседании и всегда на собраниях «Комитета прогрессивной группы гласных», которые происходили зачастую в моей столовой, за чаем, он рисовал каррикатуру на какую-либо жгучую тему, которую обсуждали. Это всегда было очень метко, забавно и хорошо сделано.

Свои воспоминания о Бахрушиных я закончу своего рода посторонним свидетельством, — выдержкой из одной статьи «Нового времени»:

«Одной из самых крупных и богатых фирм в Москве считается торговый дом братьев Бахрушиных. У них кожевенное дело и суконное. Владельцы молодые еще люди, с высшим образованием, известные благотворители, жертвующие сотни тысяч. Дело свое они ведут, хотя и на новых началах, т. е. пользуясь последними словами науки, но по старинным московским обычаям. Их, например, конторы и приемные заставляют многого желать»…

Найденовы происходили из мастеровых фабрики купцов Колосовых. Они были уроженцы села Батыева, Суздальского уезда, принадлежавшего шелковым фабрикантам Колосовым. В 1765 году были переселены в Москву. Родоначальником семьи считается красильный мастер Егор Иванович. Сын его, Александр Егорович, уже начал сам торговать. Во время французского нашествия он уже был торговцем и другом известного Верещагина. Потом перешел к производству и устроил небольшую фабрику, работавшую шали.

Был он женат на Татьяне Никитишне Дерягиной. У него было три сына: Виктор, Николай и- Александр Александровичи и дочери — Мария Александровна Ремизова, Ольга Александровна Капустина, Анна Александровна Бахрушина.

Самым выдающимся представителем семьи Найденовых был, вне сомнения, Николай Александрович. В течение долгих лет он занимал одно из самых первых мест в московской общественности и работал в разных направлениях. В течение 25 с лишним лет он был председателем Московского Биржевого комитета, который в ту пору — конец прошлого столетия — был единственной промышленной организацией московского района.

Громадный рост текстильной, в особенности хлопчатобумажной индустрии, имевший место в те годы, в значительной степени был облегчен деятельностью Биржевого Комитета, и в этом отношении заслуги его председателя были значительны и несомненны. Именно в период возглавления им московской торгово-промышленной общественности у Биржевого комитета создался тот престиж, который внешне выявлялся в том, что новоназначенный руководитель финансового ведомства долгом своим почитал приезжать в Москву и представляться московскому купечеству.

Помимо Биржи, Н. А. уделял не мало внимания и работе в Московском Купеческом обществе. Но здесь,»по преимуществу, он работал в другой области. Вместе со своим другом, известным русским историком И. Е. Забелиным, он взял инициативу собрать и напечатать архивные документы, которые могли бы служить источником для истории московского купечества, а именно — ревизские, окладные, переписные книги, общественные приговоры и пр.

Найденовская инициатива встретила живой отклик среди выборных купеческого общества: в девяностых годах было издано 9 томов, заключающих данные десяти ревизий (первая — в 20-ых годах 18-го века, при Петре Великом, десятая — при Александре II, в 1857 году). Кроме того, вышло несколько дополнительных томов, содержащих переписные книги XVII века, окладную книгу 1798 года и другие документы.

Данными, извлеченными из этого огромного труда, я пользуюсь в своем изложении.

Изданием Материалов для истории московского купечества не исчерпывается забота Найденова об опубликовании исторических документов. Им лично уже были собраны, переведены и напечатаны многочисленные извлечения из описаний «Московии», содержащиеся в различных трудах иностранцев, приезжавших туда в XVI–XVIII веках. Главным

образом, были напечатаны карты, планы и гравюры, которые мало кому были известны. Все это составило 4 или 5 сборников.

Но самым примечательным памятником, оставленным Н. А., было издание посвященное московским церквам. В ту же примерно эпоху, по его инициативе и на его средства были сняты фотографии, большого альбомного размера, всех московских церквей (сорока сороков). Подлинник — фотографии — составлял шесть больших альбомов. С подлинника были перепечатки, с литографиями и коротким текстом.

В моей коллекции были все найденовские издания, хотя они были напечатаны в очень небольшом количестве экземпляров, — иногда менее 25-ти: по моей просьбе, мне подобрал их сын Н. А., Александр Николаевич. Все эти издания, вместе взятые, представляли необычайно ценный материал по истории города Москвы. Не думаю, чтобы в каком-либо другом городе мира были собрания такой же ценности исторических документов, трудами одного человека, и не профессионального историка, а любителя, желавшего послужить родной стране и родному городу.

Городу Н. А. служил и своим участием в городском общественном управлении, где был одним из активных гласных. Характерно было, в особенности для того времени, — то, что он старался найти среди культурных элементов купечества, лиц подходящих для участия в городской думе. Покойный Л. Л. Катуар впоследствии так много поработавший для города Москвы, рассказывал мне, что это был именно Н. А. Найденов, который убедил его войти в состав гласных Московской думы. И Л. Л. подчеркивал, что его убедил тот аргумент, который приводился Найденовым: если городовое положение, с его высоким избирательным цензом, возлагает на купеческое сословие, где все почти были домовладельцами, ответственность за руководство городским хозяйством, то прямой долг всех грамотных представителей этого сословия принять действенное участие в руководстве хозяйственной жизнью своего города. «А ведь наш город это — Москва, первопрестольная столица», прибавил Найденов. И Л. Л. Катуар свидетельствовал мне, что он был далеко не единственный, кого привлек к городской жизни неутомимый Н. А.

Вот как описывает Н. А. Найденова В. П. Рябушинский, хорошо его знавший: указав, что фигура Н. А. очень показательна для купеческой Москвы последней трети XIX века, он продолжает:

«Значение и авторитет Н. А. в ней, т. е. в Москве, были тогда очень велики. Маленький, живой огненный, — таким он живет у меня в памяти; не таков казенный тип московского купца, а кто мог быть им более, чем Н. А. Так всё в Москве: напишешь какое-

нибудь правило, а потом самым характерным явлением — исключение. Как в грамматике. Н. А. делал свое купеческое ремесло, и хорошо делал, но главное его занятие было общественное служение…

Жило в нем большое московское купеческое самосознание, но без классового эгоизма. Выросло оно на почве любви к родному городу, к его истории, традициям, быту. Очень поучительно читать у Забелина, как молодой гласный Московской думы отстаивал ассигновки на издание материалов для истории Москвы.

Что-то общее чувствуется в мелком канцеляристе Забелине, будущем докторе русской истории, и в купеческом сыне Найденове, будущем главе московского купечества. (В. П. Рябушинский, «Купечество Московское и День Русского Ребенка», Сан Франциско Калифорния, 1951.)

Мне довелось еще встречаться с Н. А., но немного. Видел я его два-три раза. Воспоминание о нем такое же, как у Рябушинского. Думается мне, что слово «огненный» тут вполне уместно.

Но я очень хорошо знал семью Александра Александровича, о которой уже упоминал. С А. А., который принимал большое участие в промышленной и банковской жизни, мы встречались в правлениях разных предприятий, в частности в Северном страховом обществе, где он был директором Правления.

Александра Герасимовна Найденова одна из самых крупных московских домовладелиц, была также одной из самых больших благотворительниц. Яузское попечительство о бедных так и называлось «Найденовским». Она была большим знатоком русского фарфора и дом ее на Покровском бульваре был как бы маленьким музеем. Я не раз бывал в этом доме, где принимали с легендарным Найденовским гостеприимством.

Старший сын, — Александр Александрович младший, — был членом Совета Московского Купеческого банка и Московского Биржевого общества. Младший, Георгий Александрович, благополучно здравствует, проживает в Париже. Нас с ним связывает более чем пятидесятилетняя дружба.

Третьяковы происходили из старого, но не богатого купеческого рода. Елисей Мартынович Третьяков, прадед Павла и Сергея Михайловичей, из купцов города Малого Ярославца, прибыл в Москву в 1774 году, семидесятилетним стариком, с женой Василисой Трифоновной, урожденной Бычковой, и двумя сыновьями, Захаром и Осипом. В Малоярославце купеческий род Третьяковых существовал еще с 1646 года.

В 1800 году Захар Елисеевич, оставшись вдовцом с

малолетними детьми, снова женился в 1801 году; от второй жены, Авдотьи Васильевны, родился сын Михаил. В 1831 году Михаил Захарович женился на Александре Даниловне Борисовой. Он скончался в 1850 году, 49-ти лет от роду. У него были дети: старший сын Павел Михайлович, родившийся в 1832 году, Сергей Михайлович (1834), Елизавета Михайловна (1835), Софья Михайловна (1839) и Надежда Михайловна. Павел Михайлович был женат на Вере Николаевне Мамонтовой, Сергей Михайлович — на Елизавете Сергеевне Мазуриной. Елизавета Михайловна была замужем за Владимиром Дмитриевичем Коншиным, Софья Михайловна — за Александром Степановичем Каминским. Надежда Михайловна — за Яковом Федоровичем Гартунгом.

Все дети получили полное домашнее образование. Учителя ходили на дом, и Михаил Захарович сам следил за обучением детей.

История рода Третьяковых в сущности сводится к жизнеописанию двух братьев, Павла и Сергея Михайловичей. Не часто бывает, чтобы имена двух братьев являлись так тесно друг с другом связанными. При жизни их объединяли подлинная родственная любовь и дружба. В вечности они живут, как создатели Галлереи имени братьев Павла и Сергея Третьяковых.

Оба брата продолжали отцовское дело, сначала торговое, потом промышленное. Им принадлежала известнейшая Новая Костромская мануфактура льняных изделий. Они были льнянщики, а лен в России всегда почитался коренным русским товаром. Славянофильствующие экономисты, вроде Кокорева, всегда восхваляли лен и противопоставляли его иноземному «американскому» хлопку.

Торговые и промышленные дела Третьяковых шли очень успешно, но все-таки эта семья никогда не считалась одной из самых богатых; упоминая об этом, подчеркиваю, что при создании своей знаменитой Гал-лереи Павел Михайлович тратил огромные, в особенности по тому времени, — деньги, может быть, несколько в ущерб благосостоянию своей собственной семьи.

Оба брата усердно занимались своими промышленными делами, но это не мешало им уделять не мало времени и иной деятельности: оба они широко занимались благотворительностью, в частности ими было создано весьма ценное в Москве Арнольдо-Третьяковское училище для глухонемых. Было и другое: Сергей Михайлович много работал по городскому самоуправлению, был городским головой. Павел Михайлович целиком отдал себя собиранию картин. Оба брата были коллекционерами, но Сергей Михайлович собирал, как любитель; Павел Михайлович видел в этом своего рода миссию,

возложенную на него Провидением.

О Третьяковской Галлерее существует целая литература. Недавно в Советской России была опубликована книга, составленная его дочерью, Александрой Павловной Боткиной «Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве».

Нет, поэтому, думается мне, оснований подробно здесь на этом останавливаться. Я приведу лишь, для полноты характеристики, несколько строк, обрисовывающих то, как он сам понимал свою миссию: в своем заявлении в Московскую городскую думу о передаче Москве его галлереи и галлереи его покойного брата он писал, что делает это, «желая способствовать устройству в дорогом мне городе полезных учреждений, содействовать процветанию искусства в России и, вместе с тем, сохранить на вечное время собранную мною коллекцию».

Эта же последняя мысль нашла отражение в его приписке к духовному завещанию, сделанной незадолго до его смерти. Давая иное назначение завещанному капиталу на приобретение новых картин, он говорит: «Нахожу не полезным и не желательным для дела, чтобы Художественная Галлерея пополнялась художественными предметами после моей смерти, так как собрание и так уже очень велико и еще может увеличиться, почему для обозрения может сделаться утомительным, да и характер собрания может изменится, то я по сему соображению»… и т. д…

Нужно сказать, что эта приписка, о юридическом значении коей юристы немало спорили, осталась не выполненной, и Галлерея стала менять свой характер еще-до революции, когда во главе ее стоял И. Грабарь.

Передачу Галлереи городу П. М. хотел произвести возможно более тихо, без всякого шума, не желая быть в центре общего внимания и объектом благодарности. Ему это не удалось, и он очень был недоволен. Его особенно огорчил собранный в Москве съезд художников, на который он не пошел, и статья В. В. Стасова в «Русской старине». Эта статья появилась в декабрьской книжке 1893 года и произвела большое впечатление. В ней впервые было обрисовано то значение, которое имело Третьяковское собирательство картин для развития русского искусства и, в частности, живописи. Вот как характеризует Стасов Третьякова, как собирателя:

«С гидом и картой в руках, ревностно и тщательно, пересмотрел он почти все европейские музеи, переезжая из одной большой столицы в другую, из одного маленького итальянского, голландского и немецкого городка в другой. И он сделался настоящим, глубоким и тонким знатоком живописи. И все-таки он

не терял главную цель из виду, он не переставал заботиться всего более о русской школе.

От этого его картинная галлерея так мало похожа на другие русские наши галлереи. Она не есть случайное собрание картин, она есть результат знания, соображений, строгого взвешивания и, всего более, глубокой любви к своему дорогому делу. Крамской писал ему в 1874 году: «Меня очень занимает, во все время знакомства с вами, один вопрос: каким это образом мог образоваться в вас такой истинный любитель искусства. Я очень хорошо знаю, что любить разумом очень трудно».

От брака с В. Н. Мамонтовой у П. М. было шесть человек детей, — два сына и четыре дочери. Один из сыновей, Иван, умер восьмилетним мальчиком. Другой, Михаил, пережил отца, но был болен душевной болезнью. Из дочерей две, — Александра и Мария, — были замужем за двумя братьями Боткиными, Сергеем и Александром Сергеевичами. Сергей Сергеевич был доктором медицины, в дальнейшем — лейб-медик, как и его отец Сергей Петрович. Вера Павловна была женой известного музыканта А. И. Зилоти, а Любовь Павловна вышла за художника Н. И. Гриценко.

У Сергея Михайловича от первого брака (с Елиз. Серг. Мазуриной) был сын Николай Сергеевич, скончавшийся сравнительно рано; других сыновей у С. М. не было. Николай Сергеевич был женат на Александре Густавовне Дункер, сестре инженера К. Г. Дункера.

У них было два сына и три дочери. Старший сын, известный общественный деятель, Сергей Николаевич Третьяков, женат на Н. С. Мамонтовой. Об его общественной деятельности в России мне придется говорить в дальнейшем.

Последняя, причисляемая мною к самому «цвету» московского купечества, была семья **Щукиных**. Она отличалась от других тем, что ее представители получили известность не только в России и не за свои деяния в России, — Третьяковскую Галлерею знают во всем мире, — но Щукины внесли крупный вклад в западно-европейскую культуру.

Родоначальник этой замечательной семьи Петр Щукин происходил из купечества города Боровска Калужской губернии. Он переселился в Москву во второй половине 18-го века и стал торговать. Род Щукиных упоминается в московских писцовых книгах с 1787 года.

Его сын, Василий Петрович, продолжал его дело. Он скончался в 1836 году, 80-ти лет от роду; надо думать, что он не родился в Москве, а пришел в нее вместе со своим отцом из Боровска.

Сын его, Иван Васильевич, был подлинным основателем

«Щукинской династии». При нем их фирма и его семья заняли то первенствующее место в торгово-промышленной Москве, которое они с той поры неукоснительно занимали.

И. В. Щукина подробно описал в своих воспоминаниях его сын Петр Иванович. Из них я позаимствую лишь несколько строк, добавив, что И. В. был, несомненно, один из самых — не побоюсь сказать — гениальных русских торгово-промышленных деятелей. Его престиж и влияние в Москве были чрезвычайно велики. И вовсе не из-за его богатства. В Москве тогда было много богатых людей, может быть, даже богаче Щукиных, но которые далеко не пользовались тем почетом, который приходился на долю Щукиных. Щукинская фирма была одной из самых уважаемых в Москве.

Вот как говорит Петр Иванович в своих воспоминаниях про своего отца:

«Отец вел очень деятельную жизнь. Как человек уже пожилой, он ложился спать рано и вставал тоже рано; в театрах отец обыкновенно не досиживал до конца представления, и в ложах Московского Большого Театра, где имеется комнатка с диваном, обыкновенно засыпал во время итальянской оперы, несмотря на то, что очень ее любил. По утрам из всей нашей семьи вставал раньше всех отец. Перед тем, как спуститься в столовую, пить кофей в халате и туфлях, отец вызывал к себе повара Егора…

Отец любил красное вино и был большим его знатоком. Шампанское он не переносил. Сладкое варенье еще посыпал сахаром…

Отец был сильный брюнет, но с годами волосы на голове и борода стали у него седеть, только одни брови, которые были у него чрезвычайно густые, оставались черными. У отца были такие выразительные глаза, что от одного его взгляда дети моментально переставали реветь; взгляд отца действовал и на взрослых; говорил он всегда очень громко, все равно было ли это дома, в гостях, или на улице.

Даже заграницей говорил на улице так громко, что прохожие оборачивались; речь у него была ясная и выразительная. Вот два его характерных выражения: об одном мужчине, у которого было много волос на голове, отец сказал, что «У него волос на три добрых драки». Об одном горьком пьянице отец выразился так: «Пьет запоем, да еще каждый день пьян».

Ив. Вас. был женат на старшей дочери П. К. Боткина, и это делало его родней многих именитых купеческих фамилий того времени. У него было шесть сыновей и, кажется, пять дочерей. Все сыновья, — Петр, Сергей, Николай, Владимир, Дмитрий и Иван Ивановичи, принимали участие в Щукинской фирме, но

многие из нее впоследствии вышли, по тем или иным обстоятельствам. Из дочерей, кажется, ни одна не была замужем за представителем купеческой фамилии.

Из сыновей Ив. Вас. самыми известными были Петр, Сергей и Иван Ивановичи.

Петр Иванович, автор воспоминаний, столь ценных для купеческой Москвы, был одним из самых известных в Москве коллекционеров русской старины. Он отличался от других тем, что не только собирал, но и популяризировал собранные им сокровища. Им было составлено подробное описание его музея, а самые интересные документы из его коллекции он полностью перепечатывал в издаваемом им «Щукинском Сборнике». Вышло 10 томов этого сборника и, кроме того, три тома бумаг, относящихся к отечественной войне 1812 года.

Его коллекции были переданы в Исторический музей в Москве; за это его также сделали «генералом». Я очень хорошо его помню: не раз он показывал мне свой музей. Он любил ходить в форменной шинели ведомства народного просвещения, с синими отворотами. Напоминал видом почтенного директора какой-нибудь гимназии.

Сергей Иванович занимает совершенно исключительное место среди русских — и московских — самородков-коллекционеров. Собирал он картины современной французской живописи. Можно сказать, что вся французская живопись начала текущего столетия, Гогэн, Ван Гог, Матисс, часть и их предшественников, — Ренуар, Сезанн, Монэ, Дега, находятся в Москве — и у Щукина и, в меньшей степени, у Ив. Абр. Морозова.

В Щукинской коллекции замечательно то, что С. И. показал картины того или иного мастера в то время, когда он не был признан, когда над ним смеялись, и никто не считал его гением. Покупал он картины за грош, и не по своей скаредности и не по желанию прижать или притеснить художника, но потому, что картины его не продавались, и цены на них не было.

Но как бы то ни было, Щукинское собрание стало изумительным по своей ценности музеем новой французской живописи, которому не было равного ни в Европе, ни в самой Франции. Когда в 1917 году, после февральской революции, в Москву приезжали два французских депутата социалиста, — Мариюс Мутэ и Марсель Кашэн, то я — в то время товарищ городского головы — был назначен сопровождать этих именитых гостей. Я помню, что один из них, кажется, Мутэ, попросил меня устроить им возможность ознакомиться со Щукинской и Морозовской коллекциями. И. А. Морозов наотрез отказал, сказав, что картины упакованы, так как он собирается увозить их

из Москвы.

А С. И. Щукин не только согласился, но сам подробно свои галлереи показал. Я помню, что Мутэ мне сказал после осмотра: «Вот видите, наша буржуазия все эти сокровища пропустила, и ее не трогают, а ваша их собрала, и вас преследуют».

С. И. обладал, несомненно, исключительным даром распознавать подлинные художественные ценности и видел их еще тогда, когда окружающие их не замечали. Это и дало ему возможность создать свое изумительное собрание, что и сотворило ему всеевропейскую славу. Он сам мне рассказывал, что когда уже в беженстве он обосновался в Париже, то крупнейший торговец картинами просил его «начать кого-нибудь собирать».

Он предлагал ему дать безвозмездно большое количество картин того или иного художника, с тем, что они смогут официально заявить, что картины этого художника собирает Щукин. Он заверил С. И., что в этом деле нет никакого элемента «благотворительности», и что они не проиграют, а заработают. С. И. на это не пошел, но сказал, что если бы он мог собирать, то собирал бы Рауля Дюфи.

Есть и другой пример отношения С. И. к своему «собирательству», к тому, как он смотрел на творимое им дело. В конце 20-ых годов, в связи с попыткой советского правительства реализировать заграницей русские художественные ценности, начались процессы о собственности на эти предметы искусства. Много говорили о процессе, начатом госпожей Палей, урожденной Карпович, морганатической женой вел. кн. Павла Александровича. Говорили также и о том, что С. И. Щукин собирается судебным порядком вызволить свои коллекции. Я помню, что когда я спросил С. И., верно ли это, он очень взволновался. Он всегда заикался, тут стал еще больше заикаться и сказал мне:

— Вы знаете, П. А., я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там.

С. И. был годом старше моего отца, и у нас, следовательно, была большая разница лет: он был старше меня на 36 лет, но, несмотря на это, нас связывала — не боюсь это сказать — глубокая и искренняя дружба.

Сергей Иванович очень много путешествовал, был в Египте, странствовал по пустыне, организовав для этого особый караван; он мне говорил, что это было одно из самых сильных и приятных воспоминаний его жизни.

Он был женат два раза: на Лидии Григорьевне Кореневой и на

Надежде Афанасьевне, по первому браку Конюс. От первого брака у него было три сына, — Иван, Григорий и Сергей, и дочь Екатерина. Два сына, Григорий и Сергей, трагически покончили с собой в молодом возрасте. От второго брака — дочь, Ирина.

Иван Сергеевич, которого я также очень хорошо знаю, окончил филологический факультет, был учеником профессора Ключевского. По инициативе И. С., Сергей Иванович выстроил Психологический институт при Московском Университете. В эмиграции И. С. переменил специальность: он блестяще защитил диссертацию на степень доктора Сорбонны по истории восточных искусств — Персии и Индии — и, будучи французским гражданином, работает и до сих пор, если не ошибаюсь, в области археологических раскопок где-то в восточных странах.

Говоря о Щукинской семье, нужно вспомнить еще младшего брата Сергея Ивановича — Ивана Ивановича. Он не участвовал в Торговом доме, был выделен и проживал в Париже, на авеню Ваграм. Он собирал русские книги, главным образом, по истории русской философии и истории русской религиозной мысли. Был близок с русской эмиграцией первых лет текущего столетия, в частности с М. М. Ковалевским, и когда существовала Высшая школа социальных наук, — читал там лекции. Как многие из Щукиных, он был человек очень одаренный и интересный. У него постоянно собирались его друзья из русских интеллигентов Парижа. В конце его жизни его материальное положение пришло в расстройство и, на почве материальных затруднений, он наложил на себя руки. Его библиотека была приобретена Школой восточных языков и является наилучшим русским книгохранилищем Парижа.

В Москве было несколько семейств носивших фамилию **Прохоровых**. Некоторые были родственниками, но были и однофамильцы. Сейчас я буду говорить о тех Прохоровых, которым принадлежала знаменитая Трехгорная Мануфактура.

(Ниже приводятся сведения, частью заимствованные из юбилейного издания Прохоровской Трехгорной Мануфактуры в Москве (1799–1899), любезно предоставленные мне М. А. Прохоровой.)

Монастырский крестьянин Троице-Сергиевского посада Иван Прохорович Прохоров служил при Московском Митрополите и в половине XVIII века переселил всю свою семью в Москву. По освобождении монастырских крестьян от крепостной зависимости, Иван Прохорович приписался в мещане Дмитриевской слободы в Москве.

Единственный его сын, Василий Иванович, служивший приказчиком у одного старообрядца, занимавшегося

пивоварением, после 1771 года завел собственное дело, — он устроил в Хамовниках небольшую пивоварню. Но он был человеком благочестивым и богобоязненным: занятие пивоварением не соответствовало его убеждениям и он решил искать другого производства. Судьба свела его с Ф. А. Розановым, работавшим на ситценабивочной фабрике и знавшим набивочное производство.

Молодой Прохоров и молодой Розанов решили объединиться и начать свое собственное ситцепечатное дело, что им и удалось в 1799 году. Так возникла Трехгорная Мануфактура.

Дело пошло успешно. Первоначально фабрика занималась лишь набивкой чужого товара, — миткаль доставляли крупные московские торговцы; в Москве своего склада не было, велась небольшая торговля в Скопине и Зарайске. В 1803 году, у князей Хованских была приобретена земля, где была создана Мануфактура.

Прохоров и Розанов были «шурья», то есть женаты на родных сестрах, но их «компания» продолжалась не долго. В 1813 году компаньоны разделились.

В. И. Прохоров продолжал дело при помощи своих сыновей, Тимофея, Ивана, Константина и Якова. Тимофей Васильевич сам был хороший колорист, и под его руководством производство достигло совершенства. Фабрика стала работать свой товар и постепенно круг производства расширялся. Были созданы свои ткацкая и прядильная фабрики, то есть мануфактура стала полной. Были открыты и собственные склады по всей России, в Сибири и Средней Азии.

В дальнейшем был организован Торговый Дом Братья К. и Я. Прохоровы, но впоследствии Константин Васильевич из Дома вышел. Он был женат на Прасковье Герасимовне Хлудовой и является родоначальником другой ветви Прохоровых (Морская Мануфактура). Фабрика на Трех Горах осталась в руках у сыновей Якова Васильевича, Алексея и Ивана. Яков Васильевич скончался в 1858 году.

Иван Яковлевич оказался достойным продолжателем дела своих предков. При нем оно стало расширяться и крепнуть. Фабрика была переоборудована и стала одной из лучших текстильных фабрик в России. В 1899 году, торговый дом был преобразован в паевое товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры.

У Ивана Яковлевича было два сына, — Сергей и Николай Ивановичи.

Сергей Иванович умер совсем молодым — 42-х лет, в 1899 году, но он успел не мало поработать на пользу фабрики.

Николай Иванович со всей семьей был Высочайшим указом возведен в дворянство в сентябре 1912 года. Умер он в 1915 году.

Семья Прохоровых приобрела в дальнейшем еще две мануфактуры, — Покровскую и Ярцевскую. В семьях и Сергея Ивановича, и Николая Ивановича было много детей, и сыновей, и дочерей. Из мужского поколения никого в живых не осталось. Всех Прохоровых с молодых лет подготовляли к участию в своих делах, — время им этого не позволило.

В. П. Рябушинский справедливо заметил: «Родовые фабрики были для нас то же самое, что родовые замки для средневековых рыцарей». В отношении Прохоровых это в особенности верно. Прохоровская семья, в лице ее мужчин, прежде всего жила своим делом. Выражение «Прохоровский ситец» было указанием не только на фабричную марку, а на творчество семьи и ее представителей.

Поэтому Прохоровы мало проявили себя в общественной деятельности. Эта культурная и даровитая семья не дала ни городского головы, ни председателя Биржевого комитета. Даже гласным думы, кажется, никто не был. Все время и все внимание уходили на фабрику. Зато на фабрике было сделано все, что можно: больница существовала с 70-ых годов, — раньше была приемным покоем; амбулатория, родильный приют, богадельня; школа была устроена в 1816 году; ряд ремесленных училищ для подготовки квалифицированных рабочих, ряд библиотек, свой театр и т. д.

В деле благотворительности Прохоровы действовали, так сказать, «частным порядком», всегда отзывались в годы испытаний. Во время японской войны в Омске был устроен большой лазарет и питательный пункт. Им с успехом заведывала ан. Ал. Прохорова, бывшая там и представительницей Красного Креста. Во время голода 1892 года, Ек. Ив. Беклемишева, урожденная Прохорова, открыла в Черниговском уезде столовую для голодающих и больницу для тифозных. Истратила она на это большие средства, и заразилась от своих больных сыпным тифом. Она была очень талантливая скульпторша: ее вещи были во всех музеях и многих частных коллекциях. Ее талант перешел к ее дочери, Клеоп. Вл. Беклемишевой, одной из самых талантливых и любимых скульпторш в эмиграции.

Наконец, можно упомянуть, что сын другой сестры, Ал. Ал. Алехин, был шахматным чемпионом мира.

С семьей Прохоровых тесно переплетается родственными узами семья **Алексеевых**, — одна из самых старых московских купеческих фамилий. Происходят они из крестьян сельца Добродеева Ярославской губернии, принадлежавшего Наталье

Никифоровне Ивановой. Предок их, Алексей Петрович (1724–1775), был женат на дочери конюха графа П. Б. Шереметьева. Он переселился в Москву и значится в списках московского купечества с 1746 года. У него было два сына, — Семен и Василий. В 1795 году он торговал в Серебряном ряду. У Семена Владимировича было три сына: Владимир, Петр и Василий Семеновичи. От них и пошли различные ветви этой многочисленной семьи.

Семья Алексеевых была весьма известна по своим заслугам и в промышленной, и в общественной областях, и в сфере искусства. Имя Константина Сергеевича Алексеева-Станиславского известно всему миру.

В промышленной области Алексеевская фирма товарищества «Владимир Алексеев» работала по хлопку и шерсти. У них были хлопкоочистительные заводы и шерстомойни. Было и огромное овцеводство и коневодство. Им принадлежит заслуга перенесения мери-носовского овцеводства из Донской области в Сибирь. Частично им принадлежала и золотоканительная фабрика, — позднее кабельный завод, где директором был Станиславский.

Промышленные дела Алексеевых сохранил в потомстве Владимир Семенович. Откуда и название фирмы. Главным ее руководителем был внук основателя, Владимир Сергеевич, брат Станиславского, сам человек чрезвычайно талантливый и большой знаток искусства.

Он принимал участие в спектаклях Алексеевского кружка, из которого вышел Художественный Театр. Был музыкант, режиссер, ставил оперы в театре Зимина.

Брат его, Борис Сергеевич, играл в Обществе Искусства и Литературы.

Из сестер, — Мария Сергеевна Оленина-Лонг — певица. Анна Сергеевна Штекер выступала на сцене Художественного театра под фамилией Алеева. Зинаида Сергеевна Соколова также была артисткой.

О К. С. Станиславском, думается мне, говорить не приходится: о нем существует целая литература. Он сам оставил записки «Моя жизнь в искусстве», где говорит и о своем детстве.

В общественной деятельности Алексеевы дали Москве двух городских голов: Александра Васильевича (1840-41) и Николая Александровича (1881–1893). Последний был энергичным деятелем, сильно двинувшим вперед городское хозяйство. О нем в Москве ходила легенда, пользовавшаяся большой популярностью, потому что в ее основе был подлинный эпизод: к нему пришел один богатый купец и сказал: «Поклонись мне при всех в ноги, и я дам миллион на больницу». Кругом стояли люди,

и Алексеев, ни слова не говоря, в ноги поклонился. Больница была выстроена.

Он был убит на своем посту каким-то душевнобольным. Его очень оплакивали. О нем сохранился рассказ, что он именно накануне смерти в ноги поклонился.

Александр Семенович Алексеев был профессором и деканом юридического факультета Московского университета. Мои студенческие годы проходили во время его деканства. Я сохранил о нем память, как о просвещенном и приятном человеке, пользовавшимся общей любовью и большим уважением.

Сын его, Григорий Александрович, был ближайшим помощником князя Львова по Земскому Союзу.

Семья **Куманиных** является одной из старейших московских купеческих семей; с течением времени, почти все ее члены перешли в дворянство. Она занимает первое место в московском купеческом родословии по числу ее членов, возглавлявших Московское городское общественное управление.

Родоначальником московской ветви Куманиных является Алексей Куманин, переяславский купец. Жена его, Марфа Андреевна, умерла в 1789 году. В том же году, ее сыновья, Алексей, Василий и Иван Алексеевичи, переселились в Москву, где стали московскими «Кошельской слободы» купцами.

Алексей Алексеевич стал «первостатейным купцом, коммерции советником, кавалером ордена Св. Владимира IV степени (что тогда давало дворянство), бургомистром Московского магистрата (1792–1795) и Московским городским главой» (1811–1813, то есть во время Отечественной войны).

Сын его, Константин Алексеевич, был также городским головой (1824–1827); с 1830 года также получил дворянство. Его брат, Валентин Алексеевич, потомственный дворянин, занимался общественной деятельностью: был членом Московской мануфактуры и Коммерческих советов, директором попечительства о тюрьмах и т. д.

Сын Ивана Алексеевича, Петр Иванович, потомственный почетный гражданин, был также московским городским головой (1852–1855). Он был учредителем богадельни, носящей его имя и находящейся в Москве на Калужской улице. Дочь Константина Алексеевича, Наталья Константиновна, была замужем за Кириллом Афанасьевичем Кукиным, потомственным почетным гражданином, который также был Московским городским головой (1852–1855).

Алексей Константинович, потомственный дворянин, работал в деле коммерческого образования.

Николай Гордианович, сын Гордиана Ивановича, брата Петра

Ивановича, потомственный почетный гражданин, был казначеем городской распорядительной думы и выборным купеческого сословия. На его средства основана Петро-Николаевская богадельня.

Сын Александра Константиновича, Валентин Александрович, потомственный дворянин, служил дежурным чиновником в Румянцевском музее и имел чин коллежского регистратора. Владел банкирской конторой. Был большим любителем театра и сам выступал в труппе Лентовского.

Его брат, Федор Александрович, также потомственный дворянин, служил в Московском губернском акцизном управлении, а затем посвятил себя литературной деятельности. Издавал ряд журналов: «Артист», «Театрал», «Театральная библиотека», «Читатель» и др.

Третий брат, Александр Александрович, служил в Московском Главном архиве министерства иностранных дел.

Шелапутины происходят из Покровских купцов. Переселились в Москву в конце XVIII столетия и в 1792 году торговали в «светочном» ряду.

Внуки родоначальника, Прокофий и Антип Дмитриевичи, были очень богатыми людьми и имели звание коммерции советников. Прокофий Дмитриевич в 1811–1813 году исполнял обязанности Московского городского головы. За свое пожертвование «минерального кабинета в пользу Московской Медико-хирургической академии» получил диплом на дворянское достоинство и был награжден орденом. Сын его, Дмитрий Прокофьевич, уже не состоял в купечестве.

Внук Антипа Дмитриевича, Павел Григорьевич, соорудил Гинекологический институт при Московском университете и построил гимназию имени Григория Шелапутина. Им же было создано ремесленное училище имени Анатолия Шелапутина.

Солдатенковы происходят из крестьян деревни Прокуниной, Коломенского уезда Московской губернии. Родоначальник их, Егор Васильевич, значится в Московском купечестве с 1797 года. Но известной эта семья стала лишь в половине XIX века, благодаря Кузьме Терентьевичу, внуку родоначальника.

О К. Т. Солдатенкове очень много говорит в своих воспоминаниях П. И. Щукин и приводит немало подробностей, характеризующих этого замечательного человека и современную ему эпоху и среду, в коей он вращался. Эту среду нельзя, в строгом смысле слова, назвать «купеческой» преимущественно. Там были представители интеллигенции. Были, конечно, и купцы, начиная с семьи Щукиных. С Иваном Васильевичем его связывала тесная дружба в течение более, чем пятидесяти лет.

В былое время К. Т. торговал бумажной пряжей, но также занимался дисконтом. Впоследствии стал крупным пайщиком ряда мануфактур, банков и страховых обществ.

К. Т. снимал лавку в старом Гостином дворе, состоявшую из двух комнат, верхней и нижней. В верхней К. Т. обыкновенно занимался чтением газет, а в нижней Ив. Ил. Барышев, его конторщик и управляющий, стоял или сидел за конторкой и, если не было дела, то писал фельетоны для «Московского листка» под псевдонимом Мясницкий. Псевдоним этот был взят потому, что Барышев жил в доме Солдатенкова, на Мясницкой улице. В этом доме, где жил и сам К. Т., было несколько богато отделанных комнат, имелось много хороших картин русских художников, большая библиотека и молельня.

В последней служил сам Козьма Терентьевич, вместе со своим дальним родственником, торговцем церковными старопечатными книгами, Сергеем Михайловичем Большаковым, для чего оба надевали кафтаны особого покроя… Как пишет П. И. Щукин, «Солдатенков был старообрядец по Рогожскому кладбищу, что не мешало ему жить с француженкой, Клемансой Карловной Дюпюи. Клеманса Карловна очень плохо знала по-русски, а Козьма Терентьевич, кроме русского, не говорил ни на одном языке».

У К. Т. Солдатенкова была большая библиотека и ценное собрание картин, которые он завещал Московскому Румянцевскому Музею. Но самым главным вкладом его в русскую культуру была его издательская деятельность. Его ближайшим сотрудником в этой области был известный в Москве городской деятель, Митрофан Павлович Щепкин, отец Дмитрия Митрофановича, ближайшего, в свою очередь, сотрудника князя Г. Е. Львова по Земскому союзу и Временному Правительству. Под руководством М. П. Щепкина было издано много выпусков, посвященных классикам экономической науки, для чего были сделаны специальные переводы. Эта серия издания, носившая название «Щепкинской библиотеки», была ценнейшим пособием для студентов, но уже в мое время — начало этого столетия — многие книжки стали библиографической редкостью.

К. Т. оставил много средств на дела благотворительности, в частности, для постройки городской больницы.

Коллекция картин К. Т. Солдатенкова является одной из самых ранних по времени ее составления, и самых замечательных по превосходному и долгому существованию.

Собирать картины он стал еще с конца сороковых годов, но решающим моментом была его поездка в Италию в 1872 году, где он сошелся, через братьев Боткиных, с знаменитым художником

А. А. Ивановым и попросил его «руководства» для основания русской картинной галлереи. В дальнейшем К. Т, просил Иванова покупать для него, что тот заметит хорошего, у русских художников. «Мое желание, — писал он, — собрать галлерею только русских художников».

Иванов охотно это поручение принял и постепенно у Солдатенкова собралась огромная коллекция, где было не мало самых прекрасных образцов русской живописи, как например, эскиз картины «Явление Христа народу» А. А. Иванова.

К. Т. Солдатенкову принадлежало весьма живописное подмосковное имение Кунцево. Он там всегда проживал летом; там же было немало дач, сдававшихся на лето. Жила там семья Щукиных, а по соседству находилась дача бар. Кнопа. У К. Т. постоянно кто-нибудь гостил, а иные приезжали обедать из Москвы, благо это было недалеко. Приезжал туда И. С. Аксаков, историк И. Е. Забелин, М. П. Щукин, А. А. Козлов, в ту пору генерал-лейтенант и почетный опекун, художник Лагорио, врачи Кетчер и Пикулин и др. Бывал всегда и кто-либо из Щукиных. Хозяин принимал радушно, но без излишней роскоши. На одном таком обеде Н. И. Щукин сказал: «Угостили бы вы нас, Козьма Терентьевич, спаржей», — на что К. Т. возразил:

«Спаржа, батенька, кусается: пять рублей фунт».

Я воспроизвел этот эпизод для того, чтобы показать, что пресловутое, легендарное московское хлебосольство состояло не в роскоши застольной трапезы. Оно выражалось в умении хозяина составить программу обеда и в способности создать приятную для приглашенных обстановку. Незадолго до последней войны, в некоторых домах московских снобов, на больших приемах, когда ужин готовил либо «Эрмитаж», либо «Прага», завели обычай давать карточку. Ужинавший мог заказать, что угодно. Старые любители покушать строго осуждали это нововведение. «Если ты меня зовешь и хочешь приветствовать, — говорили они, — то избавь меня от заботы думать, чего бы вкусного я бы съел. А в трактир я и сам могу пойти, — денег хватит».

Якунчиковы были также одной из московских купеческих фамилий, которая довольно скоро отстала от торгово-промышленной деятельности и ушла в дворянство. Их имя было известно с первой четверти прошлого столетия, но почетное место в рядах московского купечества они заняли несколько позднее, благодаря Василию Ивановичу Якунчикову.

В одном из писем В. А. Кокорева к В. И. Якунчикову содержится любопытная характеристика молодого Якунчикова. Вот, что писал автор «Русских провалов»:

«Ваше любезное письмо перенесло мои мысли к

воспоминаниям о событиях бывших в 1846 году, в котором я в первый раз имел удовольствие познакомиться с Вами на откупных торгах в Ярославле. Как сейчас представляю себе красивого юношу, с шапкой кудреватых волос на голове, с розовыми щеками и созерцательным взглядом на окружающее. Потом этот юноша уехал надолго в Англию, воспринял там только то, что пригодно для России, и возвратился домой, нисколько не утратив русских чувств и русского направления. Этот юноша, — Вы, продолжающий свое коммерческое поприще с достоинством и честью для родины. Много с тех пор протекло воды. Вы шли стопой благоразумной осмотрительности, а я без всякой сдержанности давал волю своим фантазиям».

Якунчиковым принадлежала Воскресенская мануфактура в местечке Норе Фоминской, Верейского уезда, Московской губернии. Эту фабрику они продали Т-ву Эмиль Циндель, уйдя таким образом от активной деятельности.

Василий Иванович был женат на Зинаиде Николаевне Мамонтовой, дочери Николая Федоровича и сестре Веры Николаевны Третьяковой, жены известного создателя картинной галлереи.

У Якунчиковых женская половина семьи была не менее известна, чем мужская. Зинаида Николаевна была одной из наиболее красивых и интересных в Москве хозяек дома. Еще большей известностью пользовалась ее невестка и племянница, Мария Федоровна.

В 1881 году, во время сильного голода, она организовала столовые в Тамбовской губернии; ей пришла мысль раздавать бабам работы и скупать их старинные местные вышивки. Дело это впоследствии приняло обширные размеры и стало известно в Европе. Это было сделано по образцу Абрамцевского кустарного дела, о котором я буду еще говорить. М. Ф. Якунчикова была племянницей Саввы Ивановича Мамонтова. Впоследствии, в 1908 году, М. Ф. взяла на себя управление Абрамцевской столярной мастерской и кустарным складом в Москве.

Одна из дочерей В. И., Мария Васильевна, по мужу Вебер, была сама художница, а ее сестра, Наталья Васильевна, была женой известного художника В. Д. Поленова.

Хлудовы происходили из экономических крестьян деревни Акатовой, Высоцкой волости, Егорьевского уезда, Рязанской губернии. Имя их упоминается уже в 1824 году.

Родоначальником этой семьи был Иван Иванович Хлудов, человек чрезвычайно энергичный и предприимчивый, каковым свойством, впрочем, отличались жители этого района, известные под именем «Гуслицов» или «Гусляков», по имени речки

Гуслянки, протекающей через город Егорьевск и впадающей в Москва-реку.

Иван Иванович переселился в Москву вскоре после французского нашествия и начал там торговать. Жил он в своем доме, на Швивой Горке, где и родились все его дети. В 1836 году приобретен был свой амбар в Старом Гостином Дворе, за № 93. Скончался Иван Иванович во второй половине тридцатых годов.

После его смерти сыновья его продолжали отцовское дело под фирмой Торговый дом С., Н., Д., А. и Г. Ивана Хлудова Сыновья. Братья решили создать свое собственное фабричное производство.

По постановлению Егорьевской городской думы, было решено сдать в аренду крестьянам Хлудовым заречную часть городской земли, всего около 20-ти десятин, под постройку фабрики. Решение было принято потому, что это была низменная часть реки, болото с бугром и никуда не пригодная земля. Впоследствии эта земля была приобретена в собственность, благодаря хлопотам старшего брата, Савелия Ивановича. В дальнейшем была прикуплена земля соседних крестьян деревни Русанцево, и вся площадь земли под фабрикой была около 36-ти десятин.

Механическая фабрика была открыта в 1845 году, 8-го ноября. Паевое Товарищество Егорьевской мануфактуры было создано в 1874 году.

По-видимому, создание фабрики представляло собою дело рискованное, потому что приглашало одного из местных тузов, Степана Галактионовича Князева, «но они не пошли».

Старший сын Ивана Ивановича, Савелий Иванович, был холостяк, ходил в цилиндре и был приятелем Л. И. Кнопа. Они вместе пивали «из бочек»; в погребке Бодега, на Лубянке, в доме Бауэр… Кноп потом говорил: «Немец русского перепил, а тот и умер…»

Второй сын, Назар Иванович, был женат и имел сына Николая. Дочь последнего, Надежда Николаевна, была замужем сначала за Абрикосовым, а потом за известным чешским политическим деятелем К. П. Крамаржем.

Хлудов Алексей Иванович, третий сын основателя Хлудовского дела, родился в 1818 и скончался в 1882 году. По отзывам людей, близко его знавших, это был «человек неподкупной честности, прямой, правдивый, трудолюбивый, отличавшийся силой ума и верностью взглядов». Одаренный большими природными способностями и развивавший их вполне самостоятельно, так как в молодости не получил почти никакого образования, Алексей Иванович, вместе со своим братом

Герасимом Ивановичем, успешно руководил Хлудовским предприятием, работавшим в области хлопковой торговли и хлопчатобумажной промышленности. Принимал он участие и в других промышленных делах, в частности был одним из основателей Кноповской Кренгольмской Мануфактуры.

Ал. Ив. известен также, как коллекционер древних русских рукописей и старопечатных книг, коих он составил богатейшее собрание, включившее в себя вещи большой ценности, как например, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, сочинения Максима Грека, творения Иоанна Дамаскина в переводе кн. А. И. Курбского с собственноручными его заметками, и многие другие. Общее число рукописей достигало 430-ти а старопечатных книг до 624-х.

После его смерти собрание рукописей поступило согласно его желанию, в Никольский Единоверческий Монастырь в Москве.

Ал. Ив. уделял очень много времени и общественной деятельности. Он был членом коммерческого суда, почетным членом совета Коммерческого училища; с установлением в 1859 году должности председателя Московского Биржевого комитета, был первым избран в это звание, каковое сохранил до 1865 года, а в 1862 году был выбран председателем московских отделений департамента торговли и мануфактуры. Имея звание Мануфактур-Советника и орден Владимира 3-ей степени, в год коронации Александра II (1856), он был старшиной московского купеческого сословия.

Герасим Иванович родился в 1822 году и скончался в 1885 году.

Вот любопытная характеристика Г. И. Хлудова, которую я нашел в «Историческом вестнике» за 1893 г., в статье Д. И. Покровского «Очерки Москвы»:

«Дом свой Герасим Иванович вел на самую утонченную ногу, да и сам смахивал на англичанина. У него не раз пировали министры финансов и иные тузы финансовой администрации. Сад при его доме, сползавший к самой Яузе, был отделан на образцовый английский манер и заключал в себе не только оранжереи, но и птичий двор, и даже зверинец. Прожил Гер. Ив. более полжизни в этом доме безмятежно и благополучно, преумножая богатство, возвышая свою коммерческую репутацию, и сюда же был привезен бездыханным, от подъезда купеческого клуба, куда шел прямо из страхового общества, с миллионами только что полученной за сгоревшую Яузовскую фабрику премии.

Замечательно, что и брат его, Алексей Иванович, умер такою же почти смертью, едучи на извозчике из гостей, и попал домой мертвым, не прямо, а сначала побывав в Тверской части»,

Подобно своему брату Алексею Ивановичу, Герасим Иванович был коллекционером. Он собирал картины и преимущественно русской школы. Его галлерея начала составляться с начала 50-ых годов. Он положил ей основание, купив у юноши Перова, только что выступившего со своим могучим талантом, — его «Приезд станового на следствие» — в 1851 году и «Первый чин дьячковского сына» — в 1858 году. В течение 60-ых годов к ним присоединилось несколько других хороших картин: «Разборчивая невеста» Федотова, «Вирсавия» Брюллова (эскиз), «Вдовушка» Капкова, пейзажи Айвазовского и Боголюбова, «Таверна» и «Рыночек» Риццони. Коллекция эта более не существует: после смерти Г. И. Хлудова она была разделена между его наследниками.

У Алексея Ивановича было четыре сына. Из них Иван Алексеевич был одним из самых выдающихся представителей своей семьи. Он родился в 1839 году и скончался в 1868 году, всего 29 лет от роду. Он получил образование в С. Петербургском Петропавловском училище и, после его окончания, был отправлен в Бремен, на службу, в контору, имевшую обширные торговые сношения со всеми странами света, а через два года отправился в Англию, где основательно изучил хлопковый рынок. В 1860 году был в Северо-Американских Соединенных Штатах, изучил на месте производство хлопка и завел для Торг. Дома бр. Хлудовых торговые сношения с Америкой, но в самом начале от этого получились убытки, так как в это время в Америке была гражданская война, и купленный хлопок был конфискован и частью сожжен.

Тогда Торговый дом Хлудовых открыл в Ливерпуле свою контору.

Впоследствии, когда началась хлопковая торговля со Средней Азией, Иван Алексеевич отправился туда для изучения дела на месте и установил торговые сношения. Но в Самарканде он заболел и скоропостижно умер.

У Алексея Ивановича было три дочери: Ольга Алексеевна Панина, Варвара Алексеевна Морозова и Татьяна Алексеевна Мамонтова. Две последних занимали видное место в московской купеческой иерархии, и в смысле жертвенности, и по своей поддержке культурных начинаний.

Хлудовы наряду с Бахрушиными занимали видное место в деле устройства благотворительных учреждений. Ими были созданы:

Богадельня имени Герасима Ивановича Хлудова, Палаты для неизлечимо больных женщин, Бесплатные квартиры имени П. Д. Хлудовой, Бесплатные квартиры имени Г. И. Хлудова, Бесплатные

квартиры имени Конст. и Ел. Прохоровых, Ремесленная школа,

Детская больница имени М. А. Хлудова — являлась Университетской клиникой по детским болезням.

Упоминавшееся ранее собрание старинных рукописей А. И. Хлудова составило особую Хлудовскую библиотеку рукописей и старопечатных книг при Никольском монастыре.

Семья **Боткиных**, несомненно, одна из самых замечательных русских семей, которая дала ряд выдающихся людей на самых разнообразных поприщах. Некоторые ее представители до революции оставались промышленниками и торговцами, но другие целиком ушли в науку, в искусство, в дипломатию и достигли не только всероссийской, но и европейской известности. Боткинскую семью очень верно характеризует биограф одного из самых выдающихся ее представителей, знаменитого клинициста, лейб-медика Сергея Петровича.

«С. П. Боткин происходил из чистокровной великорусской семьи, без малейшей примеси иноземной крови и тем самым служит блестящим доказательством, что если к даровитости славянского племени присоединяют обширные и солидные познания, вместе с любовью к настойчивому труду, то племя это способно выставлять самых передовых деятелей в области общеевропейской науки и мысли». (С. П. Боткин, его жизнь и переписка». Биографический очерк д-ра Белоголового, СПБ 1892.)

Боткины происходят из Торопецких посадских людей. Их род можно проследить по документам в непрерывной связи до половины XVII века. Первым перешел в Москву Дмитрий Кононович, повидимому в 1791 году. Потом его брат, Петр Кононович (1781–1853), основатель известной чайной фирмы. Этот деятельный и далеко не заурядный человек быстро достиг в Москве сначала зажиточного, а потом и богатого положения. Он был женат два раза и от обоих браков имел многочисленное потомство. После него осталось в живых 9 сыновей и 5 дочерей.

Боткин был один из пионеров чайного дела в России, и в этой области заслуги его велики. Дело это, чисто семейное, акционировано было лишь в 1893 году, когда было организовано Т-во чайной торговли Петра Боткина Сыновья. Их сахарный завод, — Т-во Ново-Таволжинский свекло-сахарный завод Боткина, — был акционирован в 1890 году.

Старший из сыновей П. К. Боткина, Василий Петрович, являет собою характерный пример подлинных русских самородков. Трудно объяснить себе, как мог этот московский купеческий сын, предназначавшийся для торговли за прилавком в амбаре своего отца, не прошедший через ту, или иную высшую школу, так образовать и развить себя, что, не достигнув еще тридцатилетнего

возраста, сделался одним из деятельных членов того небольшого кружка передовых мыслителей и литераторов начала сороковых годов, к которому принадлежали и Белинский, и Грановский, и Герцен, и Степанов, и Огарев. В этой блестящей плеяде он пользовался репутацией одного из лучших знатоков и истолкователей Гегеля, увлекавшего в то время эти молодые умы, искавшие света.

Помимо его гегелианства, он славился, как знаток классической литературы по всем отраслям искусств. Особенно характерны были его отношения с Белинским. Вот что писал о В. П. Боткине «Неистовый Виссарион» в своем письме:

«Меня радует, что я первый понял этого человека. Его бесконечная доброта, его тихое упоение, с каким он в разговоре называет того, к кому обращается, его ясное гармоническое расположение души во всякое время, его всегдашняя готовность к восприятию впечатлений искусства, его совершенное самозабвение, отрешение от своего я, даже не производят во мне досады на самого себя; я забываюсь, смотря на него… Меня особенно восхищает в нем то, что он столько же честный, сколько и благородный человек… Гармония внешней жизни человека с его внутренней жизнью есть идеал жизни, и только в Василии нашел я осуществление этого идеала»…

Надо сказать, что для Белинского В. П. Боткин был не только другом, но и помощником. Он лучше его знал языки, читал в подлиннике Гегеля, занимался современной немецкой философией и давал ему материал, в котором Белинский нуждался.

Не менее характерно и свидетельство поэта Шеншина-Фета, который был женат на его сестре. Вот что пишет он в своих воспоминаниях:

«Во время оно я часто бывал у Василия Петровича во флигеле, но ни разу не бывал в большом Боткинском доме. Будучи на этот раз в духе, Василий Петрович объяснил мне, что, согласно завещанию их покойного отца, он состоит одним из четырех членов Боткинской фирмы и, таким образом, одним из хозяев дома. Покойный П. К. Боткин оставил после смерти своей дела в порядке и далеко не огромный капитал… Безобидно для всех членов семьи, из числа девяти сыновей, он назначил членами фирмы только четырех: двух от первого и двух от второго брака…

Василий Петрович пригласил меня в тот же день к семейному обеду. Изо всех членов фирмы наиболее очевидными представителями дома являлись меньшой брат Петр со своей женой… Даже самый ненаблюдательный человек не мог бы не

заметить того влияния, которое Василий Петрович незримо производил на всех окружающих. Заметно было, насколько все покорялись его нравственному авторитету, настолько же старались избежать резких его замечаний, на которые он так же мало скупился в кругу родных, как и в кругу друзей. Кроме того, все только весьма недавно испытали его педагогическое влияние, так как, влияя в свою очередь и на покойного отца, Василий Петрович младших братьев провел через университет, а сестрам нанимал на собственный счет учителей по предметам, знание которых считал необходимым»…

К его характеристике В. П. Боткина можно еще добавить, что он сам не мало писал. Его сочинения составляют три тома. Особенным успехом пользовались его воспоминания о путешествии — а он объездил почти всю Европу — в частности его- «Письма об Испании».

Что касается жизни и деятельности одного из самых знаменитых, а вернее — самого знаменитого русского клинициста, Сергея Петровича Боткина, слишком хорошо известны, чтобы мне нужно было долго на них останавливаться. Сергей Петрович был гордостью русской науки. И как врач, и как человек, он пользовался огромным уважением. Напомню только, что он окончил медицинский факультет Московского университета, был на Крымской войне и заграницей; потом поселился в Петербурге, где получил кафедру в Военно-медицинской академии и где прошла, вся его научная и врачебная деятельность. С. П. очень любил музыку, сам был прекрасный музыкант и с большим талантом играл на виолончели.

Как многие из Боткиных, он был общителен, и его дом, где гости бывали по субботам, являлся большим культурным центром. Его сын, дипломат, П. С. Боткин, в своих воспоминаниях «Картины дипломатической жизни», вышедших в 1930 г. в Париже, — описал свою молодость и жизнь в отцовском доме, где постоянно бывали и проф. Менделеев, и проф. Герьэ, и Салтыков-Щедрин, и Антон Рубинштейн, и И. Ф. Горбунов.

Про Боткиных можно сказать, как и про Бахрушиных, что коллекционерство было у них в крови. Почти каждый из братьев что-нибудь собирал. Но самым известным в этой области был Михаил Петрович, — художник, академик и тайный советник. Жил он в Петербурге, на Васильевском Острове, в своем собственном доме, где и помещалось его драгоценнейшее собрание. М. П. в течение примерно пятидесяти лет собирал старинные художественные вещи. Он подолгу живал заграницей, в частности в Италии, где и приобрел немало сокровищ. Древний

мир был у него прекрасно представлен расписными вазами, терракотовыми статуэтками, масками, светильниками. Была у него коллекция итальянских майолик XV, XVI и XVII веков, художественная резьба по дереву эпохи итальянского Возрождения, работы из слоновой кости, большое собрание русской финифти и многое, многое другое.

Из картин у него было много этюдов художника А. А. Иванова, жизнеописание которого он и издал.

Сам он писал картины преимущественно религиозного содержания.

Коллекционером был и Дмитрий Петрович. Он был женат на Софии Сергеевне Мазуриной и жил в своем доме на Покровке. Там же помещалась и его прекрасная коллекция картин иностранных художников, собранная им в течение многих лет. К сожалению, после его смерти эта коллекция не сохранилась в целом виде: частью была распродана, частью распределена между наследниками. Он был близким другом П. М. Третьякова и помогал ему в его собирательстве, участвуя даже в покупке некоторых картин, но сам произведений русских художников не приобретал.

Д. П. был чрезвычайно радушным хозяином и умел принимать своих друзей. Его воскресные обеды славились на всю Москву. Вообще вся семья его славилась своим гостеприимством.

В собирательстве и в составлении коллекций в семье Боткиных была одна особенность, которую нельзя обойти молчанием: все симпатии и стремления были космополитичны и общеевропейски и не заключали в себе ничего народнического, никакого стремления к отечественному. Все картины, собираемые и Василием Петровичем, и Дмитрием Петровичем Боткиными, бывали всегда иностранные, так что даже при распродаже этюдов и картин Александра Иванова, после его смерти, В. П. Боткин купил только итальянский пейзаж — «Понтийские болота» и копию Иванова, карандашом, с Сикстинской Мадонны Рафаэля.

Д. П. Боткин имел в своей галлерее только такие картины, которые носили характер вполне иностранный. Превосходная художественная коллекция М. П. Боткина, за исключением картин и этюдов Александра Иванова, имела характер «древний». Все художественные статьи В. П. Боткина посвящены прославлению великих созданий искусства греческого, римского, средневекового, времени Возрождения, и стремились к изучению какого угодно искусства, только не русского. В своей статье, помещенной в «Современнике» за 1855 г., об академической выставке 1855 года В. П. Боткин говорит:

«Хранить чистоту вкуса, чистоту классических преданий,

хранить святыни правды и естественности в искусстве, — вот в чем заслуга нашей Академии и благотворность ее влияния на русскую школу живописи… Идеалы искусства, в своем высшем развитии, всегда переходят за черты, разделяющие национальности и становятся общими идеалами духа человеческого, но для этого необходимо, чтобы первоначально идеалы эти самостоятельно вырабатывались на национальной почве, прошли весь трудный и сложный процесс очищения от всего частного и из народного возвысились до общечеловеческого».

В этом отношении, в этом своеобразном западничестве Боткинская семья занимает особое место среди других московских фамилий, где, в то время, уклон в сторону национального был особенно силен.

Говоря о семье Боткиных, нельзя не сказать несколько слов и об одном из сравнительно младших ее представителей, но получившим почетную и заслуженную известность: это лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, один из сыновей С. П.

Во время русско-японской войны он был в действующей армии. Вскоре после ее окончания он был назначен лейб-медиком царской семьи и проживал с семьею в Царском Селе. Там оставался он при ней до революции и был в числе тех лиц царской свиты, которые не оставили царскую семью после февральского переворота. Он последовал за нею в Тобольскую ссылку и был расстрелян в Екатеринбурге, оставаясь до конца дней своих верным своему долгу.

С семьей Боткиных имеет много общего и семья **Мамонтовых**, которая также была весьма многочисленна, и также, в лице своих, и мужских, и женских представителей, — дала много людей, получивших большую известность. Мамонтовы так же, как и Боткины, прославились на самых разнообразных поприщах: и в области промышленной и, пожалуй, в особенности в области искусства.

Мамонтовская семья была очень велика, и представители второго поколения уже не были так богаты, как их родители, а в третьем раздробление средств пошло еще далее. Происхождением их богатств был откупщицкий промысел, что сблизило их с небезызвестным Кокоревым. Поэтому, при появлении их в Москве, они сразу вошли в богатую купеческую среду («Темное царство» Островского).

Род Мамонтовых ведет свое начало от Ивана Мамонтова, о котором известно лишь то, что он родился в 1730 году и что у него был сын Федор Иванович (1760). Видимо это он занимался откупным промыслом и составил себе хорошее состояние, так что сыновья его были уже богатыми людьми. Видимо также, что занимался он и широкой благотворительностью: памятник на его могиле в Звенигороде был поставлен благодарными жителями, за услуги, оказанные им в 1812 году.

У него было три сына, — Иван, Михаил и Николай. Михаил, видимо, не был женат, во всяком случае потомства не оставил. Два других брата были родоначальниками двух ветвей почтенной и многочисленной Мамонтовской семьи.

Вот что пишет о появлении Мамонтовых в Москве одна из внучек родоначальников этой семьи А. Н. Боткина в своей книге

«П. М. Третьяков»:

«Братья Иван и Николай Федоровичи Мамонтовы приехали в Москву богатыми людьми. Николай Федорович купил большой и красивый дом с обширным садом на Разгуляе. К этому времени у него была большая семья. Между 1829 и 1840 годами родилось шесть сыновей, В 1843 и 1844 годах — две дочери, Зинаида и Вера. Для родителей и для братьев эти две девочки были постоянным предметом заботы и нежности. И хотя после них было еще четверо детей, эти две остались всеобщими любимицами… Между собой они были дружны и неразлучны. Их даже называли не Зина и Вера, а «Зина-Вера», соединяя их в одно. Характеры их, особенно впоследствии, оказались разными, как и их жизни: Зинаидой восхищались, Веру любили».

Мамонтовская молодежь — дети Ивана Федоровича и Николая Федоровича, были хорошо образованы и разнообразно одарены. Больше всего во многих из них было природной музыкальности. Зинаида и Вера превосходно играли на фортепьяно. Особенно же музыкальны были Виктор Иванович и Савва Иванович, что сыграло большую роль в жизни и того, и другого.

Оба брата, и Николай, и Иван Федоровичи, были, как сказано, близки с Кокоревым, а через него стали в добрых отношениях и с известным русским историком М. П. Погодиным, который не раз упоминает о них в своем дневнике. И Кокорев, и Погодин часто виделись с Мамонтовыми и постоянно у них обедали. А через Погодина Мамонтовым открывался ход и в редакцию «Москвитянина» и вообще ко всему литературному и ученому миру Москвы.

Погодин был знаком и с другими Мамонтовыми. Он упоминает Михаила Федоровича и Федора Ивановича. Последний, по его поручению, виделся с известным чешским ученым, Шафариком, о чем и писал Погодину:

«Найдя Шафарика дома, передал ему в кабинет Ваше письмо, книги, чай и пр… Шафарик принял меня очень благосклонно, спросил как выговаривается моя фамилия и спрашивал, от чего она происходит и когда я не смог ему на это хорошенько ответить, то обещал мне сделать филологическое исследование, и на другой день дал мне, в знак памяти, записочку, писанную его рукою, где он выводил мою фамилию от святого Мамонта».

Из всех Мамонтовых самой выдающейся фигурой был Савва Иванович. В народно-хозяйственной жизни он был известен, как строитель Ярославской, потом Северной дороги, но больше его знали, как человека, самыми разными путями связанного с искусством. Сам он обладал разнообразными талантами: был

певцом — учился пению в Италии, — был скульптором, был режиссером, был автором драматических произведений. Но самое в нем главное то, что он являлся всегда тем центром, вокруг которого группировались все, кому дороги были артистические искания. И сам он много искал, и много находил; не малую роль сыграл он в «отыскании» Шаляпина. Как сказал В. М. Васнецов, «в нем была какая-то электрическая струя, зажигающая энергию окружающих. Бог дал ему особый дар возбуждать творчество других».

Савва Иванович родился в 1841 году и скончался в 1918, уже после революции.

К. С. Алексеев-Станиславский был другом Саввы Ивановича с самого детства. Он дает верную ему характеристику в своей книге «Моя жизнь в искусстве»:

«Я обещался, — пишет он, — сказать несколько слов об этом замечательном человеке, прославившимся не только в области искусства, но и в области общественной деятельности. Это он, Мамонтов, провел железную дорогу на Север, в Архангельск и Мурман, для выхода к океану, и на юг, к Донецким угольным копям, для соединения их с угольным центром, хотя в то время, когда он начинал это важное культурное дело, над ним смеялись и называли его аферистом и авантюристом. И вот он же, Мамонтов, меценатствуя в области оперы и давая артистам ценные указания по вопросам грима, жеста, костюма и даже пения, вообще по вопросам создания сценического образа, дал могучий толчок культуре русского оперного дела: выдвинул Шаляпина, сделал, при его посредстве, популярным Мусоргского, забракованного многими знатоками, создал в своем театре огромный успех опере Римского-Корсакова «Садко» и содействовал этим пробуждению его творческой энергии и созданию «Царской Невесты» и «Салтана», написанных для Мамонтовской Оперы и впервые здесь исполнявшихся.

Здесь же, в его театре, где он показал нам ряд прекрасных оперных постановок своей режиссерской работы, мы впервые увидали, вместо прежних ремесленных декораций, ряд замечательных созданий кисти Поленова, Васнецова, Серова, Коровина, которые, вместе с Репиным, Антокольским и другими лучшими русскими художниками, почти выросли и, можно сказать, прожили жизнь в доме и семье Мамонтовых. Наконец, кто знает, может быть, без него и великий Врубель не смог бы пробиться вверх, к славе. Ведь его картины были забракованы на Нижегородской всероссийской выставке и энергичное заступничество Мамонтова не склонило жюри к более сочувственной оценке. Тогда Савва Иванович, на собственные

средства, выстроил целый павильон для Врубеля и выставил в нем его произведения. После этого художник обратил на себя внимание, был многими признан и впоследствии стал знаменитостью.

Дом Мамонтовых находился на Садовой, недалеко от Красных ворот и от нас. Он являлся приютом для молодых талантливых художников, скульпторов, артистов, музыкантов, певцов, танцоров. Мамонтов интересовался всеми искусствами и понимал их. Раз или два раза в год в его доме устраивался спектакль для детей, а иногда и для взрослых. Чаще всего шли пьесы собственного создания. Их писал сам хозяин или его сын»…

О своем отце немало говорит и Всеволод Саввич Мамонтов в своей книжке «Воспоминания о русских художниках». К характеристике Станиславского он прибавляет, что всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство. И в Мурманске, и в Архангельске, и в оживлении Севера, было много жажды красивого, и в его философии и религии сквозило искусство, и в важном, таком страшном, толстом портфеле пряталось искусство.

С именем Саввы Ивановича и жены его, Елизаветы Григорьевны, урожденной Сапожковой, тесно связано одно из замечательных начинаний в области русского народного искусства: знаменитое «Абрамцево». Это имение, расположенное в 12-ти верстах от Троице-Сергиевской Лавры, на берегу живописной речки Воры, было куплено Мамонтовым в 1870 году у Соф. Серг. Аксаковой, последней представительницы семьи автора «Детские годы Багрова внука». Это была Аксаковская подмосковная усадьба. В новых руках она возродилась и скоро стала одним из самых культурных уголков России.

Об Абрамцеве много написано и я не имею возможности останавливаться на нем подробно. Напоминаю только, что там был создан ряд мастерских и школ, которые дали мощный толчок развитию русского кустарного дела и популяризации всякого рода кустарных изделий.

У гостеприимных хозяев Абрамцева собирался весь цвет русского искусства; музыканты, певцы и особенно художники, — Репин, Васнецов, Серов, Антокольский и др.

«Направление старших, — пишет Н. В. Поленова в своих воспоминаниях «Абрамцево», — не могло не отразиться и на молодом поколении, — на детях Мамонтовых и их товарищах. Под влиянием Абрамцева воспитывались художественно будущие деятели на разных поприщах искусства, — оттуда вышли Андрей и Сергей Мамонтовы, их друг детства Серов, Мария Васильевна Якунчикова-Вебер и, наконец, Мария Федоровна Якунчикова,

урожденная Мамонтова, племянница Саввы Ивановича, явившаяся преемницей в начатом Елизаветой Григорьевной деле художественного направления кустарных работ крестьян».

Абрамцевым особенно занималась Елиз. Григ. Мамонтова, которой долгое время помогала художница Ел. Дм. Поленова. Но и сам хозяин немало вложил своего в эти начинания. Его, как скульптора, интересовала керамика, и он завел гончарную мастерскую, где наряду с другими художниками, сам лепил.

В конце прошлого столетия, С. И. Мамонтову пришлось пережить тяжелое испытание и глубокую, внутреннюю драму: в постройке и эксплоатации Ярославской железной дороги были обнаружены злоупот- ребления и растраты, и Мамонтову, как и его коллегам по правлению, пришлось сесть на скамью подсудимых.

Злоупотребления, несомненно, были, но, с другой стороны, вся эта «Мамонтовская панама», как тогда говорили, была одним из эпизодов борьбы казенного и частного железнодорожного хозяйства. Чтобы осуществить выкуп дороги, министерство финансов, скупавшее акции через Петербургский Международный банк, старалось сделать ответственным лишь Мамонтова за весь ход дела. В Москве общественые симпатии были на стороне Саввы Ивановича и его считали жертвой. Оправдательный приговор был встречен бурными апплодисментами, но все-таки это дело разорило этого выдающегося человека.

Семья **Абрикосовых** в представлении жителей Москвы была связана с конфетным производством. Абрикосовские конфеты, особенно Абрикосовская пастила, яблочная и рябиновая, пользовались за- служенной славой. Но заслуги этой семьи перед родным городом и родной землей шли гораздо дальше. Эта семья, как и другие московские купеческие семьи, дала немало представителей, получивших почетную известность на разных поприщах и даже в разных странах.

Абрикосовы происходят из крестьян села Троицкого Чембарского уезда Пензенской губернии, которое принадлежало Анне Петровне Балашевой. Фамилию свою они получили в 1814 году.

Родоначальником был Алексей Иванович Абрикосов, организовавший конфетные фабрики в Москве и Симферополе. Паевое Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей было создано в 1880 году. В начале текущего столетия фирма переживала финансовые затруднения. На первое место в Москве вышли фабрики Эйнем и Сиу.

Абрикосовская семья была очень велика и, как это бывало обычно в больших купеческих семьях Москвы, многие члены

семьи второго или третьего поколения ушли или в науку, или в либеральные профессии.

Алексей Иванович был известный доктор и, в частности, врач Городского родильного дома имени А. А. Абрикосовой.

Борис Иванович был присяжный поверенный.

Дмитрий Иванович — дипломат. Я помню его Секретарем посольства в Токио, в 1920 году.

С семьей Абрикосовых связано имя одного из крупнейших государственных деятелей Западной Европы, именно К. П. Крамаржа, известного чешского политика. Его жена, Надежда Николаевна, в первом браке была Абрикосова. Вот как рассказывает об этом браке Немирович-Данченко в своих воспоминаниях «Из прошлого»:

«Пришел к нам и Крамарж, представитель национального объединения чехов; даже нарочно приехал для этого из Вены… В антракте он ходил на сцену, к актерам, к Станиславскому, приветливый, улыбающийся…

Он был с женой. Я встретился с ним однажды давно в Москве, у нее же в салоне, когда она еще была Абрикосова. Она была урожденная Хлудова, из рода крупнейших миллионеров Хлудовых, замужем за фабрикантом Абрикосовым. Как она сама, так и ее муж, принадлежали к той категории московских купцов, которые тянулись к наукам, искусству и политике, отправлялись учиться заграницу, в Лондон, говорили по-французски и по-английски. От диких кутежей их отцов и дедов, с разбиванием зеркал в ресторанах, не осталось и следа.

Абрикосов, кондитерский фабрикант, участвовал в создании журнала философии и психологии, а у его красивой жены был свой салон. Здесь можно было встретить избранных писателей, артистов, ученых. В ее полуосвещенной гостиной раздавался смех Влад. Соловьева, тогдашнего кумира философских кружков, — смех замечательный какой-то особой стеклянностью, и который мне казался всегда искусственным; в углу дивана можно было видеть этого характерного красавца с длинными волосами и длинной бородой, — сколько русских актеров пользовались его фотографией, когда им надо было играть обаятельного ученого.

И вот однажды в этом салоне появился блестящий молодой политический деятель из Праги.

… В моей памяти никогда не удерживались подробности романтических историй, о которых шумели в Москве. Поэтому не могу удовлетворить любопытных читательниц рассказом о том, как брат-славянин увлек красивую хозяйку московского салона, как она вышла за него замуж и как променяла Москву на «Златую Прагу»…

Надежда Николаевна несомненно сыграла большую роль в «русофильстве» своего мужа. Чехи даже считали, что для него Россия стала второй родиной. Крамарж часто приезжал в Россию и обычно лето проводил в Крыму.

Семья Абрикосовых имеет еще одну особенность: это, насколько я знаю, чуть ли не единственная московская купеческая семья, некоторые представители которой ушли в католичество. Об этом даже в Москве было сравнительно мало известно, почему я и привожу одно из недавно появившихся сообщений из книги К. Н. Николаева «Восточный обряд»:

«В Москве организатором русского католичества являлась Анна Абрикосова, из известного богатого купеческого дома. После окончания гимназии в Москве она училась в Оксфордском университете и в Англии перешла в католичество. Замуж вышла она за своего дальнего родственника, Владимира Абрикосова, который затем тоже перешел в католичество. Анна Абрикосова была женщиной образованной, знала иностранные языки, имела интерес к богословским предметам, была женщиной властной и в то же время экзальтированной.

Богатый и открытый дом Абрикосовых стал местом католической пропаганды в сердце православной Москвы. Бывало много православного народа из кругов высшего московского общества, бывали и люди бедные, студенты, курсистки. Повидимому, многие даже толком не знали, какую пропаганду ведет Абрикосова.

Абрикосова часто ездила заграницу и дважды была принята Пием X, который, вероятно, с любопытством смотрел на эту представительницу богатой православной Московии, — третьего Рима. Заграницей она вступила в третий орден Св. Доминика, и Анна стала Екатериной, отдав себя под покровительство Екатерины Сиенской.

Жизнь Абрикосовой в Москве изменилась. Свой дом она обратила в подобие монастыря. Собралось несколько молодых русских девушек, — до десяти. Абрикосова и монахини принадлежали к латинскому обряду, к приходу католической церкви Петра и Павла. Так продолжалось до 1917 года.

После революции католический Митрополит Шептицкий положил начало правильной организации католиков восточного обряда и посвятил Владимира Абрикосова. Екатерина тоже перешла в восточный обряд. Екатерина отдала всю себя монашеской деятельности и пользовалась общим уважением.»

В 1922 году, Владимир Абрикосов был выслан заграницу. Католический монастырь в Москве существовал до 1923 года. Екатерина была арестована, сослана сначала в Тобольск, потом

переведена в Ярославскую тюрьму, где заболела раком. Она проявила большое смирение; в тюрьме и ссылке оказывала возможную помощь окружающим. Умерла она в Москве в 1936 году, пятидесяти лет от роду.

О. Владимир Абрикосов указывается, как свидетельствующий о переходе Владимира Соловьева в католичество. Этот вопрос, в свое время, очень интересовал всех, знавших Соловьева. Интересовался им и о. Владимир, собравший ряд данных, которые как бы разрешают эту загадку в положительном смысле.

Гучковы происходят из дворовых людей надворной советницы Белавиной, помещицы Калужской губернии, Малоярославецкого уезда. Родоначальником их был Федор Алексеевич Гучков, переселившийся в Москву в конце XVIII века и устроивший в Преображенском, под Москвой, шерстяную фабрику. Он был старообрядец и за это, в конце своей жизни, в сороковых годах, был сослан в Петрозаводск, а фабрика перешла к его двум сыновьям, Ефиму и Ивану Федоровичам, которые некоторое время продолжали дело вместе, но потом разделились, и фирма стала называться Ефим Федорович Гучков, по имени того, к кому перешла фабрика. Ефим Федорович скончался в 1859 году, и три его сына, Иван, Николай и Федор, продолжали дело под фирмою Ефима Гучкова Сыновья. В 1896 году Гучковы фабрику закрыли, но торговое дело продолжали. В 1911 оно совсем прекратилось.

Из всех представителей этой семьи самыми известными были несомненно Александр и Николай Ивановичи. О деятельности Александра Ивановича, и как члена и председателя Государственной Думы, и как председателя Военно-промышленного комитета, и как военного министра правительства кн. Львова, и о его роли в отречении Государя, слишком хорошо известно. Своим участием в русско-японской войне и особенно поездкой к бурам, воевавшим против англичан, он как бы вошел в легенду. Я здесь отмечу одно: несмотря на то, что он происходил из подлинного московского купечества, его не считали совсем своим человеком, а «политиком».

У него были подлинные торгово-промышленные цензы, например, он был директором правления страхового общества «Россия», но московское купечество он не представлял, хотя одно время был на выборах членом Государственного Совета. И основанная им, и им же руководимая партия октябристов тоже не считалась «торгово-промышленной».

Николай Иванович также не был чисто промышленным деятелем. Он оставался в торгово-промышленной жизни, участвуя в Боткинских предприятиях — чайном и сахарном, — состоял в

Северном страховом обществе и Частном Коммерческом банке, но его, можно сказать, основная, создавшая ему заслуженную известность деятельность была в городском управлении, где он долго был гласным и семь лет городским головою (1905–1912). Он очень много сделал для своего родного города; при нем городское хозяйство стало на тот широкий путь, который сделал Московское городское управление первым во всей России.

После выборов 1912 года в Московской думе, расколовшейся на две половины, было небольшое прогрессивное большинство, которое вело, в своей голове, князя Львова. Николай Иванович не был забаллотирован, но он получил меньше шаров, чем его соперник, и свою кандидатуру снял, и опять продолжал свою работу, как гласный.

Во время войны он был назначен председателем Хлопчатобумажного комитета.

Род **Крестовниковых** также является одним из самых старых. В писцовых книгах Костромской губернии еще во второй половине XVII века упоминается крестьянин под кличкой «Крестовник», каковая, видимо, произошла от того, что он постоянно принимал участие в «крестных ходах». Его сыновья сохранили это же прозвище, и только позднее появилась полная фамилия.

Впоследствии часть семьи переселилась в Москву и другие города. Так, по преданию семьи Крестовниковых, во время осады Оренбурга Пугачевым, в 1773–1774 годах, поставщиком на гарнизон был Гаврило Крестовников. От этого Гаврилы Крестовникова, в семейство Григория Александровича, председателя Московского Биржевого комитета, по наследству перешла икона, перед которой, по семейному преданию, прабабушка Григория Александровича молилась, когда Пугачев шел брать приступом Оренбург.

В Москве Крестовниковы появляются в начале XIX века. По материалам для истории Московского купечества, собранным П. А. Найденовым, они состоят в московском купечестве с 1826 года, и перечислились из города Переславля Залесского, Владимирской губернии. Но, видимо, они были в Москве и ранее, так как в библиотеке Московского Биржевого комитета сохранились письма одного из Крестовниковых, повествующего о своих приключениях в Москве, занятой французами, в 1812 году, и о том, как он оттуда с трудом выбрался. Сохранились также и балансы их предприятий (от 1817 года), где они участвовали с какими-то другими компаньонами. Но с конца 20-ых годов, они начинают действовать самостоятельно.

У Константина Косьмича Крестовникова, умершего совсем

молодым около 1830 года, было семь сыновей, из которых только у старшего, Александра Константиновича, и у Владимира Константиновича были дети. Остальные умерли бездетными. Все братья первоначально участвовали в общих торговых и промышленных делах, но главное руководство было в руках Александра Константиновича.

В 1847 году братья Крестовниковы построили в сельце Поляна, Московской губернии, при станции Лобная, Савельевской железной дороги, прядильную фабрику, перейдя, таким образом, из группы торгов-

цев в промышленники. В 1853 году они же построили в Казани стеариново-мыловаренный завод. Впоследствии этот завод сделался и глицериновым, и химическим. Этим заводом, до глубокой старости, управлял Иосиф Константинович, который обладал большими знаниями по химии и, проживая в Париже, был близок с такими химиками, как St. Cair Deville и Payen. Этот завод был в России первым по своей специальности и, после октябрьского переворота, стал государственным заводом по обработке жир-веществ № 1.

Для характеристики одного из Крестовниковых старшего поколения я приведу интервью по поводу таможенной войны с Германией, которое появилось в газете «Новое время», в 1893 г. Вот как смотрят на дела В. и К. Крестовниковы, представители фабрично-торгового товарищества Бр. Крестовниковых; фирма имеет некоторые отношения с Германией, отправляя туда глицерин и, хотя на теперешней войне не теряет пока, не выгадывает, но готова и на потери, лишь бы выйти с честью из нынешнего положения.

«Иначе нельзя, — говорил воодушевленно седой старик Крестовников, — без потерь невозможно. Потерпим, если нужно. Но чтобы из этого толк вышел, а не один только разговор. Надо характер выдержать. Достаточно раз мы подставляли наши затылки. Довольно. Пора и за свой ум взяться. Ведь вот вы небось читали, что не успели мы объявить наши повышенные тарифы, как в Познани, если не ошибаюсь, уже некоторые фабрики закрылись. Значит уже и кранкен. (больной) И существовали, значит, они исключительно на наш счет, как чужеядные грибки и полипы, следовательно, польза нам уже есть от этой войны. Есть польза и от одного сознания, что им без нас никак нельзя, а нам без них можно. Только мы попри держались, и уже плохо: фабрики прекратили свое действие.

Ведь это замечательный факт. И невольно вспомнится тут и Петр Великий, и его дубина. Задал бы он этому покупающему познанские чемоданы, — разве мы не можем обойтись без

познанских фабрик. Зачем же мы содержим за свой счет эту ораву. Нет, непременно, во что бы то ни стало, нужно выдержать характер, понести жертвы, но выйти, наконец, на свою дорогу. Что за опека. Да и зачем нам они. Мы и без ихних чемоданчиков и саквояжиков как-нибудь извернемся, а вот как они без нашего хлебушки будут обходиться, — вот это мы посмотрим. Хлеб ведь для близира покупается. Без хлеба обойтись трудновато. Некоторым образом можно с голоду умереть.»

В 1847 году Александр Константинович женился на Софии Юрьевне Милиотти и в 1885 году у нее родился сын Григорий. Будущий председатель московского Биржевого комитета окончил Московский университет по естественному отделению физико-математического факультета и, совместно с профессором В. В. Мордвиновым, опубликовал ряд работ по органической химии и в журнале Русского физико-химического общества, и в Берлинском Химическом обществе.

Проработав около года, после окончания университета, на Казанском заводе своей семьи, он поступил на службу в управление Московской-Купеческой, тогда еще частной, железной дороги. В начале 90-ых годов дорога была выкуплена казной, и Г. А., представляя интересы прежнего общества, вошел в соприкосновение с крупными петербургскими деятелями, как Н. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте, Поссьер и др.

В начале 90-х годов Г. А. вернулся в Т-во Братьев Крестовниковых, где занял место председателя правления. К этому времени братья его отца уже достигли старости и уходили на покой. Г. А. пришлось активнейшим образом взяться за руководство сложными и разносторонними делами их фирмы.

Ему приходилось каждый год ездить в Сибирь для организации там скупки бараньего сала. Эти поездки, по санному пути, на лошадях — Сибирской дороги тогда еще не было — дали ему возможность хорошо познакомиться с российской действительностью того времени и, в частности, с крестьянским хозяйством, и убедиться, насколько плохо обстояло дело с крестьянским скотоводством. Он стал противником общины и считал, что переход к хуторскому хозяйству может способствовать подъему благосостояния в деревне.

По инициативе Г. А. было создано Товарищество Московского механического завода, первого в России (по времени) по изготовлению ткацких станков. Это свое начинание Г. А. считал одним из самых важных из осуществленных им.

Примерно в это время начинается и его работа в Биржевом комитете, при Н. А. Найденове. В 1896 году, во время всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, он несет трудную

обязанность председателя комиссии экспертов; участвует активно в происходящем там торгово-промышленном съезде.

Г. А. Крестовников был, несомненно, одним из самых выдающихся общественно-промышленных деятелей, которых знала дореволюционная Россия, и это тем более примечательно, что его активная работа на командных постах продолжалась сравнительно недолго: около десяти лет; она сводилась (с 1906 по 1915 год) всего к двум моментам: председательству в Московском Биржевом комитете и участию в Государственном Совете по выборам от торговли и промышленности. Правда, раньше он недолго был членом Московской городской думы, участвовал в Биржевом комитете, при Н. А. Найденове, но его яркая, волевая и авторитетная фигура выявилась тогда, когда он занял пост председателя Биржевого комитета. Он не ставил, кстати сказать, свою кандидатуру, он выдвигал популярное в Москве имя С. И. Четверикова, но последний сам настаивал на необходимости выбрать Крестовникова, и биржа пошла за ним.

Для нового председателя задача была не легкая. Во-первых, у всех на памяти была деятельность его предшественника, двадцать пять с лишним лет сохранявшего свое звание; во-вторых, время было исключительно трудное, — Россия только что пережила первую революцию, и определить позицию торгово-промышленного класса, установить вехи, по которым ему надлежало двигаться, — было делом весьма и весьма нелегким.

Мне уже пришлось говорить, что в эту пору Москва как бы выпустила из своих рук «лидерство», не сумев, или не желая явиться центром всероссийских организаций промышленности и торговли, — то, что в скором будущем осуществил Совет Съездов. Здесь я только добавлю, что ударение нужно делать на слове «не желая», так как и Крестовников, и те, на кого он опирался, — а это было громадное большинство тех, кто был связан с биржей, — вовсе не стремились тогда подставлять, вместо московской организации, всероссийскую.

Г. А. Крестовников отлично разбирался в вопросах общегосударственного значения; доказательством тому служат его речи в Государственном Совете, где он был одним из ораторов, которых слушали, но в порядке организационном, он отстаивал самостоятельность — можно бы сказать «самостийность» — Биржевого комитета в Москве. Это ему Московская биржа обязана тем, что ее Комитет, до самых дней революции остался «сам по себе», — одной из самых влиятельных промышленных группировок в России.

Я не знаю, любил ли Г. А. Петербург, но для меня несомненно, что он, как и многие другие московские жители,

недолюбливал петербургское чиновничество и, в особенности, чиновников от промышленности. Это ярко сказывалось на его отношениях, а за ним 184

шел и весь Биржевой комитет, с Советом Съездов.

Конечно, официально Комитет входил в состав петербургских группировок; представители Москвы бывали на съездах, где их принимали с почетом, и всегда сажали на председательские места. Г. А. бывал и председателем съезда, или председательствующим на самых больших собраниях, а все-таки чувствовалось, что Крестовников не только «отражает» московские настроения, но и сам способствует этому противоположению одной столицы другой. И эта нарочито московская позиция Крестовникова весьма способствовала усилению и его авторитета, и его популярности. Редко кто начинал с ним спор в собрании биржевых выборных. Да надо и прибавить, что к своим председательским обязанностям Г. А. относился с необычайной добросовестностью и всегда полностью знал те вопросы, которые будут обсуждаться, и мог дать все справки.

В его манере нести торгово-промышленное представительство была еще одна особенность, которая тоже немало способствовала усилению его авторитета. Я не очень знаю, интересовался ли он политикой, как таковою, но в нем не было и признаков «партийности». Он не боялся окружать себя, даже брать себе ближайшими помощниками своих политических противников. С П. П. Рябушкиным, который смотрел на многие вещи совсем иначе, чем Г. А., они довольно долго вместе дружно работали, находя общий язык по вопросам профессиональным, или с точки зрения общих интересов промышленности.

В его фигуре было спокойствие, — я бы сказал величавость. Не помню, чтобы он когда-нибудь кричал, суетился, или «кипятился». Он не был оратор адвокатского склада, но когда он говорил, у него всегда было что сказать, и потому его внимательно слушали.

Примерно с 1900 года Г. А. состоял председателем совета Московского Купеческого банка. Банковской организации тогда в России еще не было, а когда она возникла, она была в Петербурге. Купеческий банк был самым крупным финансовым учреждением, и остальные банки группировались вокруг него, образовав, не формально, как бы банковский комитет. Это придавало должности председателя Совета как бы общественный характер и было впоследствии важным дополнением к роли Г. А., как председателя Биржевого комитета.

Г. А. был женат на дочери Тимофея Саввича Морозова, Юлии

Тимофеевне. Это усиливало его связь с московским хлопчатобумажным миром, который считал его своим.

Дети Григория Александровича и Сергея Владимировича продолжали жизнь семьи в ее старых традициях.

Семья **Коноваловых** была Костромского происхождения. Начало их промышленной карьеры описал Мельников-Печерский, о чем я уже говорил, напомнив, что именно писал автор «В лесах» и «На горах». Александр Иванович был четвертым поколением основателя дела. Отца его, Ивана Александровича я знал хорошо. Звали его «Петр Великий», и он, действительно, был внешне похож на великого преобразователя России. Но на этом сходство и кончалось. Иван Александрович, был известен своими легендарными кутежами и пристрастием к прекрасному полу. Не знаю, каким образом, но в начале столетия его как-то отстранили от дела, сослали в Харьков и дали соответствующую пенсию.

Коноваловским делом стал управлять Александр Иванович, — Коноваловская мануфактура Т-во Ивана Коновалова с сыном, работала бельевой и одежный товар. Фабрика считалась немного устаревшей и, по сравнению со своим прошлым, в некотором упадке. Но дело считалось и было богатым.

Александр Иванович был первым браком женат на Второвой, сестре известного Николая Александровича. Они скоро разошлись. Вторым браком Александр Иванович женился на француженке, которая, если не ошибаюсь, была гувернанткой у Кокоревых. От первого брака у него был сын, Сергей Александрович, ныне профессор одного из английских университетов.

Александр Иванович был отличный музыкант — виртуоз — в Париже даже давал концерты. Был он учеником одной из самых больших русских знаменитостей.

Вторая половина общественной деятельности Александра Ивановича прошла на моих глазах, и далее мне придется много о ней говорить. Но в Биржевом комитете я его уже не застал, а был он заместителем председателя.

Фамилия **Вишняковых** была купеческого происхождения, но я уже не помню никого из них купцами. Родом они из Кашинских купцов. Древнейший представитель этого рода встречается в архивных документах 1636 года. В Москву перешел (в 1762 году) Михаил Иванович Вишняков.

Внук его, Николай Петрович, составил историю своей семьи и издал — не для продажи — под заглавием «Сведения о купеческом роде Вишняковых собранные Н. Вишняковым». Участие их в торгово-промышленной жизни сохранялось лишь в совладении золото-канительной фабрикой В. Алексеев, П.

Вишняков и А. Шамшин.

Был ли этот П. Вишняков отцом Николая Петровича — не знаю, но не думаю, так как Товарищество это существовало с 1893 года, а Николая Петровича я помню перед войной, уже глубоким стариком. Он был долголетним членом городской думы и постоянно состоял председателем комиссии «О пользах и нуждах общественных».

Он был очень образованный человек и после революции, уже совсем в преклонных годах, жил тем, что преподавал испанский язык.

Самым известным представителем этой семьи был Алексей Семенович, много потрудившийся по делу распространения коммерческого образования. Он был председателем правления Московского Купеческого общества Взаимного кредита, каковое являлось одним из самых крупных банков в Москве. Был в большой дружбе с моим отцом и называл его «Афоня». Был в свое время долго гласным городской думы и в прежние времена был лидером левого крыла. Он организовал Общество распространения коммерческого образования, и это общество вполне оправдало и свою цель, и свое наименование.

Были созданы сначала бухгалтерские курсы, потом коммерческое училище для мальчиков и для девочек и, наконец, Коммерческий институт. Этот институт я окончил, и вспоминаю о нем с большим удовольствием.

При институте был ряд лабораторий и других вспомогательных учреждений. Все это было сооружено на собранные средства, в чем Алексей Семенович был весьма искусен; институтом он очень интересовался, был председателем попечительского Совета, бывал там каждый вечер и любил принимать студентов, но делал это с большим тактом, так как они хорошо уживались с директором института, профессором П. И. Новгородцевым. Все аудитории, классы и иные помещения были выстроены «имени такого-то», т. е. или самого жертвователя или в его честь. Очень много было помещений «имени А. С. Вишнякова». Кстати скажу, что четыре класса и аудитории были имени моего отца и нашего Товарищества.

К концу своих дней, Алексей Семенович заболел какой-то странной, неизличимой болезнью и отошел от дел. У него было два сына, Петр и Семен. Петр Алексеевич заменил отца во многих общественных обязанностях. Мне много пришлось с ним работать вместе, и по городу, и по союзу городов. Он был деятельный человек, но далеко не так блестящ, как его отец.

Семью **Рукавишниковых**, строго говоря, нельзя причислять к московским купеческим династиям. Они родом из Нижнего

Новгорода, где их фамилия пользовалась большим и заслуженным уважением. Но одна их ветвь была в Москве, и главнейший ее представитель, Константин Васильевич Рукавишников, был одним из самых крупных общественных деятелей конца прошлого века. В течение ряда лет он был Московским городским головою и немало поработал на пользу города. Он вступил в должность после убийства Н. А. Алексеева, когда опасались новых волнений и новых покушений. Товарищем городского головы при Рукавишникове был Н. П. Щепкин, будущий член Государственной Думы от города Москвы.

К. В. Рукавишников был крупным благотворителем. Им самим и его семьею был создан ряд учреждений, в частности — Рукавишниковский приют для малолетних и ремесленная школа.

Семья Рукавишниковых тоже описана в литературе: из ее среды вышел «декадентский» поэт и писатель Иван Рукавишников. И он в весьма мрачных красках рисует свою семейную хронику, главным образом Нижегородскую, озаглавив ее «Проклятый род». Надо, однако, сказать, что этого поэта не очень принимали всерьез и над стихами его немало потешались. У него было одно стихотворение, где он исповедывал свою литературную веру, и которое начиналось словами: «Я поэт летучей мыши». На эту «исповедь» известный пародист А. А. Измайлов написал подражание, имевшее больший успех, чем оригинал, и которое начиналось так: «Я поэт великой чуши».

Семья **Рябушинских** заняла значительное место в промышленной и финансовой жизни со второй половины прошлого столетия, а в общественной — значительно позднее, — с начала текущего. Фамилия их происходит от названия Рябушинской слободы Калужского наместничества, откуда они родом. В Московском купечестве они значатся с 1824 года. Состояние составил Павел Михайлович Рябушинский, занимавшийся финансовыми операциями и имевший хлопчатобумажную фабрику. Впоследствии появился банкирский дом

Бр. Рябушинских преобразованный в дальнейшем в Московский банк. Фабрика с 1887 года приобрела акционерную форму Т-ва П. М. Рябушинский с сыновьями; появился ряд новых предприятий в писчебумажной «лесной» промышленности. Незадолго до войны 1914 года Рябушинские приобрели Локаловскую льняную манифактуру и начали усиленно работать в области льняного дела.

П. М. Рябушинский был женат на Александре Степановне Овсянниковой, дочери петербургского миллионера, известного своим процессом, про который русские юристы говорили, что он

являлся необычайно ярким свидетельством неподкупности русского суда.

Павел Михайлович Рябушинский умер в декабре 1889 года. Во главе стал старший сын, Павел Павлович. Вначале он занимался только банковскими и промышленными делами своей семьи, но затем, — примерно с 1905 года, — принялся за общественную деятельность и сразу занял в ней выдающееся место. Впоследствии он был председателем Московского Биржевого комитета, членом Государственного Совета по выборам от промышленности, председателем Общества хлопчатобумажной промышленности, председателем Всероссийского союза промышленности и торговли, и видным старообрядческим деятелем. Им была создана газета «Утро России», считавшаяся органом прогрессивного Московского купечества, а сам он был сравнительно левых настроений и не боялся их высказывать.

Говорил он не плохо, но свои речи чрезвычайно тщательно подготовлял, — никогда не говорил экспромтом. Одной из его любимых тем было осознание купечеством своей роли в хозяйственной жизни и необходимость для купцов оставаться купцами, а не переходить в дворянство. Говорил он прямо то, что думал, иногда нарочито заострял вопрос и не старался приспособляться к настроениям своего собеседника. Когда, во время войны, по инициативе кн. Львова и Астрова, Земский и Городской союзы решили послать делегацию к Государю, в составе шести человек, — по три от каждого из союзов, — то Городской союз, наряду с М. В. Челноковым и Н. И. Астровым, выбрал П. П. Рябушинского и не выбрал А. И. Гучкова, который также был кандидатом; помню, как многие из участников Городского съезда, где происходили выборы, говорили: Рябушинский Царю правду скажет.

(Как известно, эта делегация не была принята Государем)

Не боялся он и ответственности и не хотел перекладывать ее на других. Помню, как однажды, в «Утре России», в руководстве которым я, с 1911 года, принимал немалое участие, возник вопрос о напечатании статьи фактического ее редактора против весьма непопулярного министра внутренних дел Н. А. Маклакова.

Маклаков, как известно, был назначен министром после убийства Столыпина, будучи Черниговским губернатором, с которым Царская семья, при поездке в Киев в сентябре 1911 года, познакомилась. Н. А. Маклаков был талантливый рассказчик и отлично подражал животным. Коронным его номером был «прыжок влюбленной пантеры»; под этим заглавием и должна была появиться статья в газете. Помню, что голоса разделились:

некоторые боялись, что газету закроют, а номинальный редактор очень пострадает. Павел Павлович, настаивавший на напечатании статьи, заявил, что ответственность берет на себя и готов подвергнуться возможным карам. Статья была напечатана, и газета подверглась суровой репрессии.

Моя общественная работа, и на бирже и, частью, в политике (Московская группа партии прогрессистов) прошла в близком соприкосновении с Павлом Павловичем, и в дальнейшем мне придется немало о нем говорить. Скажу сейчас только, что его общественная работа была омрачена его тяжелой болезнью — туберкулезом, который начался у него во время войны.

Жил он на Пречистенском Бульваре, в, доме, который раньше принадлежал Сергею Михайловичу Третьякову, бывшему городскому голове и одному из создателей галлереи. Дом был большой, не слишком парадный и со вкусом обставленный. Он памятен мне не но большим приемам, которые бывали сравнительно редко, а по бесконечному количеству заседаний, там происходивших. Особенно помню нашумевшие когда-то «экономические беседы» объединений науки и промышленности. Правда, науки были представлены не очень многочисленно, но «промышленности» было много, хотя приглашали с разбором, главным образом тех, кто мог принять участие в беседе. Председательствовал на этих собраниях, с большим блеском, профессор С. А. Котляровский.

Владимир Павлович был в правлении Московского банка и много занимался общественной деятельностью, участвуя в тех же учреждениях и сообществах, где был его старший брат. Но сверх того, он был гласным Московской городской думы, но городскими делами занимался сравнительно мало; очень интересовался «Утром России», где мы с ним довольно часто встречались. Вообще приходилось много иметь с ним дела. Меня всегда поражала в нем одна особенность, — пожалуй характерная черта всей семьи Рябушинских, — это внутренняя семейная дисциплина. Не только в делах банковских и торговых, но и в общественных, каждому было отведено свое место по установленному рангу, и на первом месте был старший брат, с которым другие, в частности Владимир Павлович, считались и, в известном смысле, подчинялись ему.

Степан Павлович заведывал торговой частью фирмы, но больше был известен, как собиратель икон. Он имел одну из лучших в России коллекций и был в этом деле большим авторитетом. Иконами вообще многие из братьев интересовались, что, в конце концов, выдвинулось уже в эмиграции, в создание общества «Икона», которым долгое время руководил инициатор

его, Владимир Павлович, увековечивший свое имя этим делом. О-во «Икона» весьма много сделало для популяризации зарубежом и русской иконы, и русской иконописи.

Михаил Павлович также принимал участие в руководстве Московским банком, но его знали в Москве по другому поводу: во-первых он купил (и жил в нем), дом на Спиридоновке, который раньше принадлежал Савве Тимофеевичу Морозову. Это был нелепо парадный дом. Во-вторых, М. П. был известен, как муж одной из самых признанных Московских красавиц.

Татьяна Фоминишна была дочерью капельдинера Большого театра, Примакова, окончила балетное училище и танцевала в кордебалете Большого театра. Потом вышла замуж за отставного полковника Комарова, с ним развелась и вышла за Рябушинского. Несмотря на не очень большое образование, она была одной из самых остроумных дам в Москве.

Николай Павлович был художник, эстет, издатель «Золотого руна», владелец нашумевшей в Москве дачи, находившейся в Петровском Парке и называвшейся «Черный Лебедь». Эта вилла славилась оригинальностью меблировки, а устраивавшиеся в ней приемы — своеобразной экзотикой. «Николашу», как его называли в Москве, всерьез не принимали, но он оказался хитрее своих братьев, так как все состояние прожил еще на Родине и от революции не пострадал. У него был вкус и знание, и он занимался одно время антикварным делом.

Дмитрий Павлович — известный ученый, профессор, член корреспондент Французской Академии Наук. Работал он в области аэродинамики. У него в имении, ст. Кучино Нижегородской дороги, была устроена первая по времени аэродинамическая лаборатория.

Семья **Красильщиковых** в Москве была известна сравнительно мало. Они держались особняком, мало где, в других домах купеческих династий, бывали и, за исключением Серафимы Давыдовны, не были родней старых московских фамилий. Мне эта семья была хорошо известна, так как мой отец сделал в их предприятии свою деловую карьеру. Им принадлежала большая фабрика в селе Родниках.

Работали они одежный товар, который славился своим черным цветом, не линявшем при стирке. Товар их нарасхват раскупался на рынке, и дела их процветали. (Их товар принадлежал к числу таких товаров, которые характеризовались прозвищем «Черный хлеб», т. е. всем нужными. Противоположностью были те товары, которые звались «чугунная шляпа», которые было «трудно спихнуть».)

Их годовой доход исчислялся в миллионах рублей; все три

семьи принадлежали к числу самых богатых в Москве. Фирма их называлась Товарищество Анны Красильщиковой с Сыновьями.

К началу текущего столетия Анны Михайловны уже не было в живых. Были три брата: Петр, Федор и Николай Михайловичи. В семье был еще четвертый брат, Иван, не знаю почему, но к делам фабрики он не имел отношения.

В Москве их звали «американцами». В те времена так характеризовали людей с правилами «светского» этикета и обхождения.

В историю русской жизни эта семья должна войти не только в виду той огромной роли, которую играла их фабрика в хлопчатобумажной промышленности: было и другое для того основание, о котором мало кто знает.

Один из братьев, Николай Михайлович, обладал прекрасным, исключительным по силе тенором. Мне удалось слышать более или менее все знаменитости итальянской оперы. Хорошо помню Мазини, Таманьо, Ансельми, позднее — Карузо.

С Фигнером и Собиновым был хорошо знаком лично. Может быть, мало кто мне поверит, но я утверждаю, что такого голоса, как у Красильщикова, ни по красоте, ни по силе, не было даже у Карузо. Николай Михайлович долго учился в Италии и постиг в совершенстве все требования итальянской школы. Когда он кончил свое музыкальное образование, — если не ошибаюсь, в конце девяностых годов, — то самые знаменитые импрессарио предлагали ему какие угодно контракты, для гастролей по всему миру.

Он никогда не соглашался. Причин было две: во-первых, как говорится, несметное богатство делало для него неинтересной материальную сторону этого дела, но было и нечто худшее: у него был «трак» и он не мог петь публично. Ряд попыток, им предпринятых, кончились для него неудачно.

Николай Михайлович был в приятельских отношениях с моим отцом. Он и его жена бывали у нас; бывали и мы у них, в доме на Моховой (бывшей Базановке), где они жили последнее время. Он часто пел, но никогда не в той комнате, где сидели слушатели: он уходил в соседнюю, часто темную, если дело было вечером, — и пел оттуда, и я скажу, что никогда после я не слышал ничего подобного; в особенности было хорошо, когда он пел из итальянской оперы. Он был убежденный «итальянец». У него был необычайный авторитет в московских оперных кругах. Многим, начиная с Неждановой и Собинова, он давал уроки и наставления, всегда, конечно, бесплатно. Собинов мне говорил, что никакие советы не были для него так ценны, так полезны, как именно советы Николая Михайловича.

Я помню один, поразивший меня, случай. Это было в Кисловодске, в 1917 году. Мы жили вместе в пансионе и однажды пошли вместе же в оперу. Шел Риголетто, и герцога пел Д. А. Смирнов, артист Московского Большого театра, — тоже один из его учеников. Мы сидели в первом ряду, рядом со сценой. Смирнов все время смотрел на своего учителя, который всячески ему помогал, жестом и иногда даже голосом. Смирнов пел, как никогда и имел огромный успех.

Мне иногда за рубежом приходилось вспоминать Н. М. Красильщикова. Я чувствовал, что не всегда доверяют моей памяти. Но раз я нашел свидетеля, — светлейшего князя П. П. Волконского, бывшего русского дипломата при Ватикане, который хорошо знал Николая Михайловича и даже ему аккомпанировал. У него о Николае Михайловиче приблизительно такие же, как у меня, воспоминания.

Семья **Ушковых** появилась в московском купечестве сравнительно недавно, всего с 1850 года. Происходят они из крестьян помещика Демидова. Ушковых было два брата: Петр и Константин Константиновичи. Им принадлежало крупное предприятие химического производства, с тремя заводами. Петр Константинович умер давно. Его дочь, Лидия Петровна, была замужем за Николаем Константиновичем Прохоровым.

Константин Константинович умер после революции. Первым браком он был женат на Кузнецовой, из фирмы Губкина-Кузнецова, — одного из самых крупных предприятий чайной торговли. Он был очень богат, интересовался театром и вообще искусством, и считался большим меценатом.

О меценатстве К. К. Ушкова говорит в своих воспоминаниях Немирович-Данченко:

«Среди директоров фирмы, — пишет он, — был богатый купец Ушков. В кабинете — подлинный Рембрандт, в зале пол обложен перламутровой инкрустацией… Сам Ушков являл из себя великолепное соединение простодушия, хитрости и тщеславия… У меня был с ним эпизод: на своей крошечной сцене я давно отказался от декораций и заменил их так называемыми сукнами. Сукна эти очень потрепались, я несколько раз обращался к администрации школы, но мне отказывали, за неимением средств. Однажды я поймал удобную психологическую минуту и говорю Ушкову:

«Ну что вам стоит пожертвовать какие-нибудь пятьсот рублей. Вот великая княгиня зачастила ходить к нам, а на сцене какое-то тряпье»… — «Хорошо, — говорит Ушков, — пятьсот, говоришь (в вескую минуту он любил с собеседником переходить на ты). — Я тебе эти пятьсот дам, но смотри, скажи обязательно

великой княгине, что это я пожертвовал… — Вот он-то и записался первым пайщиком в размере четырех тысяч рублей. Впоследствии он не раз просил подчеркивать, что он был первым…»

Дочь К. К. была женой знаменитого дирижера, С. А. Кусевицкого. Последний начал свою музыкальную карьеру в Москве, как виртуоз на контрабасе. Нужно сказать, что играл он на этом, мало подходящем» для сольных выступлений инструменте с необычайным искусством; лишь впоследствии он перешел к своему подлинному призванию — дирижерской палочке. Когда он устроил ряд концертов в помещении театра Незлобина, это явилось для Москвы откровением. Несомненно, брак с Ушковой помог ему преодолеть препятствия, обычные при начале всякой карьеры.

Семью **Второвых**, или точнее говоря, Николая Александровича Второва, нельзя причислить к Московскому купечеству. Но все-таки о нем следует сказать несколько слов, так как главная его деятельность прошла в Москве, и он приобщился к ее купечеству.

Второвы были сибирские купцы и оптом торговали мануфактурой почти по всей Сибири. «Начало» их было довольно «трудным», — Сибирь без железной дороги была так далеко от Москвы, — но, как говорит Рябушинский, их дело стало «известной, после потрясений сильно окрепшей, оптовой фирмой». Впоследствии их дело, акционированное в 1900 году, имело самый крупный основной капитал в этой области:

10 миллионов. Впрочем, Щукинское дело в то время имело форму торгового дома и его капитал опубликован не был.

Об Александре Федоровиче, отце Н. А., пишет в своих воспоминаниях П. И. Щукин, говоря, что он пользовался большой популярностью на Нижегородской ярмарке. А. Ф. умер в 1911 году. После смерти отца Николай Александрович развел в Москве чрезвычайно энергичную деятельность и, хотя принадлежавшее ему торговое дело продолжало существовать и успешно работать, он сам ушел в промышленность и банковское дело. Мне уже приходилось указывать, что он объединил, в отношении сбыта, три крупнейшие московские ситценабивочные фабрики, — Альберта Гюбнера, Даниловскую и Коншинскую.

Позднее он приобрел Московский Промышленный банк, бывшую банкирскую контору И. В. Юнкер и Ко. С помощью этого банка он стал приобретать ряд предприятий, в частности в цементной и химической промышленности. Его банк был также связан с шерстяной и суконной промышленностью и с изготовлением предметов военного снабжения. Он был одним из

первых по привлечению к сотрудничеству видных чиновников (А. Я. Чемберс) и людей науки (проф. В. Б. Ельяшевич).

Незадолго до революции он построил в Спасо-Песковском переулке весьма парадный дом, где потом находилось американское посольство. Этот дом был верно описан некоторыми американскими дипломатами.

Н. А. Второв был загадочно убит в мае 1918 года. Его похороны, с разрешения советской власти, были последним собранием буржуазии. Рабочие несли венок с надписью: «Великому организатору промышленности».

Н. А. Второв является одним из немногих, в сущности говоря, почти единственным, — о котором говорят, и не мало, советские авторы.

Большая Советская Энциклопедия говорит о нем, что это был один из видных представителей финансового капитализма в России. В годы, предшествовавшие первой мировой войне, — читаем мы далее, — стали образовываться, на основе сращивания с банками, многочисленные группы в московской текстильной промышленности. Заправилы этих групп, особенно в годы войны, ряд крупных предприятий других отраслей и выступили учредителями многих предприятий военной промышленности. В составе русской финансовой олигархии образовалась особая группа — московская — крупного монополистического финансового капитала.

После Рябушинских, Второв наиболее видная фигура среди национальной финансовой олигархии. До 1900 года А. Ф. и Н. А. Второвы (отец и сын) были только владельцами крупного предприятия (в Сибири, по торговле текстилем). В 1901–1914 они стали главными владельцами крупных московских текстильных предприятий. Создав свою самостоятельную финансовую базу, Второв развернул строительство военных заводов, во много раз умножив свои капиталы за счет сверх прибылей.

Особое внимание Второвым, отцу и сыну, уделяет составитель недавно вышедшей Истории народного хозяйства СССР, — П. И. Лященко. Но его изложение, несмотря на то, что он мог использовать «фамильные архивы предприятий» и специальные, исторические, иногда очень ценные и подробные монографии, не только чрезвычайно тенденциозно, но и совершенно неточно.

Второва советский историк рисует, как одного из главных деятелей дореволюционной промышленности, который осуществил, вместе с Рябушинским, перестройку русского народного хозяйства. Из эпохи «промышленного капитала» Россия перешла в следующую стадию, «эпоху финансового капитала», и

это было сделано руками Второва и Рябушинского (Какого? Их было восемь братьев).

Нет сомнения, что рост значения финансового, иначе говоря, банковского, капитала, в промышленности начал сказываться в России во время Первой мировой войны и особенно во время февральской революции. Но в Москве он проявился лишь в слабой степени и, во всяком случае, ни Н. А. Второв, ни братья Рябушинские не действовали в этом направлении. Действительность была противоположна тому, что пишет Лященко. Эпохой финансового капитала нужно назвать такое положение, когда промышленные предприятия захвачены банками, для которых они — я уже об этом говорил — интересны с точки зрения биржевой ценности их акций. Руководство деятельностью фабрик идет не под знаком производства, а под углом их финансовой мощи, укрепленной выпущенными ими процентными бумагами, — акциями и облигациями.

И по отношению к Второву, и к братьям Рябушинским дело обстояло совсем иначе. И та, и другая группа имела свои банковские предприятия — Промышленный банк (ранее Банкирская контора И. В. Юнкер и Ко) у Второва, и Московский банк у Рябушинских. Но это были финансовые учреждения, которые обслуживали принадлежавшие этим группам промышленные предприятия, — фабрики и заводы. В. П. Рябушинский писал об этом в своих воспоминаниях, и это самое глубокое и существенное, что им написано. И в этом было отличие Москвы от Петербурга, где действительно этот процесс утверждения финансового капитала начал в полной мере сказываться.

Такою же, впоследствии приписанной к московскому купечеству, была и семья **Тарасовых**. И на них сказалась тяга в Москву, то стремление, которое заставляло именитых купцов и Сибири, и Украины, и Волги, и Кавказа, достигнув имущественного благополучия, переселяться в первопрестольную столицу.

Тарасов был оптовым мануфактурным торговцем. В Армавире и в Екатеринодаре у них были склады, а в Армавире ватная фабрика. К началу текущего столетия они были уже богатыми людьми; их дело, Т-во Мануфактура братьев Тарасовых, было основано в 1899 году, с основным капиталом в 4 миллиона. Разбогатели они, повидимому, быстро. П. И. Щукин, на авторитет коего я не мало ссылался, очень характерно говорит об их материальных успехах:

«В начале братья Тарасовы, — пишет он, — жили весьма скромно; ездили по железной дороге в третьем классе, возили с

собой мешки с сухарями из черного хлеба, которым питались дорогой, носили зимой потертые бараньи шубы, но потом они разбогатели, и мы увидели их в собольих шубах с бобровыми воротниками»…

Из братьев Тарасовых, — так называлась их фирма, — в Москве проживали трое: Александр, Гавриил и Михаил Афанасьевичи. В Москве у них торгового склада не было, но, конечно, Москва была центром их закупок. Из следующего поколения был Гавриил Гавриилович, которому принадлежал дом, вновь выстроенный по старым рисункам в стиле итальянского Возрождения и представлявший копию какого-то дворца в Италии. Дом этот сразу стал одной из московских достопримечательностей. Проживал там также и Аслан Александрович, который, насколько я помню, был представителем в Москве торгового их дела. Мне приходилось с ним немало встречаться: он входил в состав Совета возглавляемых мною Обществ оптовых товариществ мануфактуры и о нашей совместной работе я сохранил самые добрые воспоминания. Жена его, Лидия Васильевна, урожденная Абессаломова, была одной из городских дам-патронесс.

Одной из самых интересных фигур этой незаурядной, семьи был рано ушедший из жизни Николай Лазаревич Тарасов. Он очень любил искусство, театр, был близок художникам. Хорошую характеристику дает ему Немирович-Данченко:

«Трудно встретить более законченный тип изящного, привлекательного, в меру скромного и в меру дерзкого дэнди. Вовсе не подделывается под героев Оскара Уайльда, но заставляет вспомнить о них. Вообще, не подделывается ни под какой «тип»: прост, искренен, мягок, даже нежен, но смел; ко всему, на каждом шагу подходит со вкусом, точно пуще всего боится вульгарности».

Далее Немирович рассказывает, как Тарасов, через Балиева, помог Художественному театру благополучно закончить поездку, внеся тридцать тысяч рублей, с какой деликатностью это было сделано, и заканчивает:

«Около тридцати лет прошло со времени этого свиданья… Тарасов давно расстался со своей жизнью блуждающих огней… Художественный Театр перешел через все стадии революции, уже кует новый репертуар и новую жизнь, и для него теперь эти два фланирующих богатых москвича — классовые враги, и все-таки вспоминается то чувство бодрости и жизнерадостности»…

Примерно также вспоминает о нем и Станиславский, говоря о знаменитых «капустниках» в Художественном театре:

«Большую роль в выступлениях Н. Ф. Балиева играл

скрывавшийся за кулисами Н. Л. Тарасов, автор многих чрезвычайно талантливых шуток и номеров, один из пайщиков, позднее член дирекции театра, незаменимый наш друг, выручивший нас крупной суммой в трудную минуту наших гастролей в Германии… Среди шуток и забав артистов на капустнике выделялись некоторые номера, которые намекали на совсем новые для России шутки, каррикатуры, сатиры, гротески. За это дело взялись Н. Ф. Балиев и талантливый Н. Л. Тарасов. Сначала они основали в доме Перцова, у Храма Спасителя, нечто вроде клуба Художественного театра… Впоследствии образовался театр «Летучая Мышь»…

Я не случайно привожу эти авторитетные свидетельства об этом рано ушедшем из жизни человеке. Мне хочется подчеркнуть, что в Тарасовской семье были люди, которые по-настоящему знали и любили театр.

Эта семья тоже описана в литературе, на этот раз во французской. Один из ее отпрысков, французский писатель Анри Труайя, написал длинный роман, даже целую трилогию, где много говорит о своей семье. Первая часть описывает жизнь семьи «Дановых», в конце прошлого века и в начале текущего. Я не достаточно хорошо знаю прошлое Тарасовской семьи, и не мне судить, сколь фотографически точно обрисованы отдельные этапы этого прошлого, могу только пожалеть, что при больших ее заслугах и перед русской торговлей и промышленностью, и перед русским театром, она преподнесена в таком мало привлекательном виде. Казалось бы, она заслуживала лучшего.

Но в этом романе есть одна деталь очень существенная, которую нельзя обойти молчанием: французский писатель Труайя описывает с большими подробностями оргию, которая была устроена одним из главных героев его повествования. На этой оргии имело место то, что на старом, образном, русском языке называлось «свальный грех». Мужскую половину действующих лиц представляет герой романа и его приятели, а женскую — некие «легкие актрисы». Позволительно спросить автора, о каких актрисах идет речь? Императорской сцены? Художественного театра? Большой оперы или балета? Частной оперы Зимина?

Откуда он взял, что в Московском театральном мире было что-либо, похожее на подобные нравы. Как справедливо говорит Рябушинский, театр — это московская специальность. Все москвичи более или менее театралы. Жизнь театра тесно переплетается с общемосковской жизнью, и дворянской, и купеческой, и интеллигентской. Мало было семейств, у кого кто-нибудь бы да не был на сцене. И ни о каких «легких актрисах» никто никогда не слышал. Можно только с горечью пожалеть, что

лауреат Гонкуровской премии, внося элемент «нездоровой клубнички» в свое повествование, взял на себя смелость бросить тень на московский театр.

К длинному списку московских купеческих династий нужно прибавить два имени прошедших через московское купечество и оставивших в нем яркий след. Хотя купеческой семьи они и не создали, но их собственная деятельность, продолжавшаяся довольно долго, дает им право быть включенными в славную московскую плеяду.

Это два замечательных русских самородка, вышедших из самой гущи народной, которые не только для самих себя достигли большого материального благополучия, и высоких мест в чиновной и сословной иерархии, но, несомненно, оказали и великие услуги всему русскому народному хозяйству, идя при этом, не старыми проторенными путями, а изыскивая новые, часто даже в буквальном смысле слова: когда шла речь о железнодорожном строительстве. Нет почти ни одной отрасли хозяйственной жизни, где бы не сказались их творчество и энергия. Эти два самородка — Кокорев и Губонин.

Василий Александрович **Кокорев** был сын Солигалического купца средней руки, торговавшего солью. Мать его была женщина редких качеств, и всю свою жизнь Кокорев внимательно слушал ее советы. Семья была старообрядческая, принадлежала к беспоповскому поморскому согласию, и Василий Александрович до конца дней своих остался верен верованию отцов. Получил он весьма малое образование, нигде не учился, кроме как у старообрядческих начетчиков, никакой школы не кончил. Рано начал он заниматься торговой деятельностью и на ней приобрел необходимую в жизни опытность. Отсутствие книжных знаний пополнил чтением и вошел в ряд людей глубокой культуры; был хорошим оратором, красочно и остроумно — со словечками — выражал свои мысли; обладал литературным талантом и оставил ряд трудов, из которых самый значительный носит название «Русская Правда».

Материальное благополучие Кокорева началось тогда, когда он стал заниматься откупами. В 1893 году он сделался поверенным одного из откупщиков и начал свою карьеру на этом пути с представления «записки» о необходимых реформах в откупном деле. В этом проекте Кокорев желал «придать торговле вином увлекательное направление в рассуждении цивилизации» и выдвигал мысль об откупном коммиссионерстве. Питейный доход в то время составлял, примерно, 45 % государственного бюджета, почему всякая мысль упорядочения откупного дела приветствовалась финансовой администрацией.

Кокорев стал сам действовать как откупщик-коммиссионер; дела у него пошли весьма успешно, он быстро составил огромное состояние и занял одно из первых мест среди откупщиков. С. И. Мамонтов в своих воспоминаниях называет его «откупщицким царем».

Ставши богатым человеком, Кокорев дал полный простор и своей энергии, и своей творческой инициативе. Он был одним из пионеров русской нефтяной промышленности, создав еще в 1857 году, в Сураха-нах, завод для извлечения из нефти осветительного масла, и Закавказское торговое товарищество, а впоследствии — Бакинское нефтяное общество. Он организует Волжско-Камский банк, сразу занявший видное место в русском финансовом мире; утверждает Северное страховое общество; строит в Москве знаменитое Кокоревское подворье, где имеется и гостиница, и торговые склады, — сооружение, которое стоило 21 миллиона, — цифра рекордная по тому времени; наконец, участвует в создании русского Общества пароходства и торговли.

Помимо своей деятельности в области народного хозяйства, Кокорев немало работал и в области общественной. Высшей точкой его общественной карьеры был год после Крымской войны. По совету Кокорева, во время Крымской войны откупа были сданы на новое четырехлетие без торгов, и это было временем наибольшего его значения. По окончании войны он обратил на себя внимание торжественной встречей организованной черноморским морякам приехавшим в Москву. Представители московского купечества в ноги кланялись защитникам Севастополя, а откуп разрешил героям три дня пить безданно и беспошлинно.

Кокорев вообще славился устройством банкетов и разного рода чествований. Это он стал во главе лиц, оказавших в Москве гомерическое по размеру гостеприимство американскому посольству Фокса.

Общее оживление и пробуждение общественного мнения после Крымской войны встретили в нем горячего сторонника. Над его либерализмом подсмеивались и в шутку называли его «русским Лафитом».

Поэт Н. Ф. Щербина находил, что на Кокорева нет и рифмы на русском языке, чтобы достойно воспеть его деяния. Но когда в первые годы царствования Александра II началось движение в пользу освобождения крестьян, — как это ни странно теперь, эту реформу нужно было пропагандировать, — он занял в ряду защитников отмены крепостного права одно из первых мест. На обеде в Английском клубе (1857) он произнес речь, напугавшую московского генерал-губернатора. Кроме того, издал ряд брошюр,

в частности «Миллиард в тумане». Эта кличка так и осталась за ним в Москве.

Кокорев был также собирателем картин и начал покупать произведения и русских, и иностранных художников еще в начале 50-ых годов. В 1861 году открытая им галлерея в особо для нее выстроенном здании заключала в себе свыше 500 картин, из коих половина русской школы. Одного Брюллова было 42 картины; Айвазовского — 23. Были и произведения старинных русских живописцев: Левицкого, Боровиковского, Угрюмова, Матвеева, Кипренского и других.

Галлерея Кокорева просуществовала, однако, недолго: менее десяти лет. После его банкротства, она была распродана в розницу. Часть купил П. М. Третьяков для своей галлереи, часть купил Александр III, тогда еще наследник престола. Лучшие иностранные картины были приобретены Дмитрием Петровичем Боткиным.

Главное литературное произведение Кокорева носит название «Русские провалы». Оно было напечатано незадолго до смерти автора и представляет своеобразное сочетание воспоминаний и ожесточенной критики разных правительственных мероприятий. Вот как автор характеризует свою задачу:

«Пора государственной мысли перестать блуждать вне своей земли, пора прекратить поиски экономических основ за пределами отечества и засорять насильными пересадками на родную почву; пора, давно пора возвратиться домой и познать в своих людях свою силу».

Кокорев преисполнен самого глубокого пессимизма и видит будущее в черных красках:

«Печалование о расстройстве русских финансов, — пишет он, — объемлет в настоящее время все сословия; все чувствуют, как в наших карманах тают денежные средства и как неуклонно мы приближаемся к самому мрачному времени нужд и лишений».

Как известно, его мрачные предсказания не оправдались и ничего особо страшного не произошло. Русские финансы, после реформы, связанной с эпохой С. Ю. Витте, стали на новый, более здоровый путь и успешно выдержали ряд таких испытаний, как русско-японская война. Вообще, все рассуждения Кокорева в области экономики носят характер славянофильствующей полемики и лишены серьезного и глубокого анализа действительности. Теперь не может не вызвать улыбки его попытка считать «провалами» привоз хлопка в Россию, или привоз чая морским путем, или, наконец, взаимоотношение между серебром и ассигнациями. К моменту опубликования своих писаний Кокорев уже не был в расцвете славы. Его мемуары не

помогли ему вернуть былое влияние.

Как многие другие русские самородки, Кокорев не сумел удержаться на том высоком уровне, куда сумел себя вознести. Все его благополучие было связано теснейшим образом с откупами. Когда откупное дело стало сходить на нет, его дела пошатнулись и он увидел их запутанными.

Он расплатился с казной, отдав за полцены свое Московское подворье; продал свою коллекцию картин, свой дом. Совсем он не разорился, но прежних возможностей у него уже не было. Он войдет в историю как человек «большого калибра» и «игры ума». Его в шутку всегда называли кандидатом в министры финансов. В те времена ему это не было возможно, но и без этого не только в истории Московского купечества, но и в русской истории вообще он останется яркой фигурой человека, который хорошо знал нужды России и ее народный характер, угадывал ее потребности и подчас находил нужное решение.

К московскому промышленному, скорее финансовому миру принадлежал и **Губонин**, известный железнодорожный строитель, построивший ряд новых линий, выполнивший много частных подрядов и сделавший себе огромное состояние, исчислявшееся, в период его расцвета, в десятках миллионов рублей.

Петр Ионович Губонин родился в крепостной крестьянской семье, в деревне Борисовой, Коломенского уезда Московской губернии, в 1828 году. Деревня эта принадлежала помещику Бибикову. Отец Губонина был каменщик, и у него самого, с молодых лет, было около Подольска небольшое заводское предприятие для тески камней. С молодых же лет он стал заниматься и подрядами по каменным работам. В дальнейшем, вместе с инженером Садовским, он получил подряд на постройку каменных мостов Московско-Курской жел. дороги. Подряд был удачно выполнен и, когда началась в России железнодорожная горячка в половине 60-ых годов, он — временами один, временами в компании — построил немало новых дорог. Так им были выстроены: Орловско-Витебская дорога, Грязе-Царицынская, Лозово-Севастопольская, Уральская, Горнозаводская, Балтийская и другие.

Ставши богатым человеком, он принял участие в создании многих новых предприятий и банковских (Волжско-Камский банк), и страховых (Северное страховое общество), и общества «Нефть», и других. Купил он также в Крыму известное имение Гурзуф, завел там обширное виноделие и стремился сделать из него европейский курорт.

Губонин был тесно связан деловыми отношениями с Кокоревым, иногда даже они вместе получали концессии. Во

многих кокоревских начинаниях, например, в Волжско-Камском банке, Губонин участвовал. Кокорева и Губонина связывает еще и в известном смысле общая судьба: оба нажили большие деньги и оба их потеряли. Губонин не прошел через банкротство, как Кокорев, но от былых миллионов не осталось и следа.

Губонин принимал также участие в постройке и создании культурных очагов. Так, в значительной степени на его средства было выстроено Коммиссаровское Техническое училище в Москве, которое долгое время готовило техников, очень ценившихся в московской промышленности.

Принимал Губонин ближайшее участие и в постройке в Москве Храма Христа Спасителя. Выйдя из крепостных крестьян, он прошел через купечество и вышел в дворянство. Он имел чин тайного советника и получил потомственное дворянство особым Высочайшим указом. Дворянство было ему дано «в воздаяние пожертвований с 1870–1872 года, на устройство и обеспечение бывшей в сем году политехнической выставки в Москве и во внимание к стремлению его своими трудами и достоянием содействовать общественной пользе».

Позднее дворянское достоинство было распространено и на детей его.

Но Губонин не захотел быть «мещанином во дворянстве», в чине тайного советника он ходил в картузе и сапогах бутылками и надевал звезду на долгополый сюртук.

У него было два сына: Сергей и Николай Петровичи. У них уже не было связи с московским купечеством. Один из его внуков был убит во время русско-японской войны на «Варяге».

Теперь мне хотелось бы дать несколько пояснений к административному устройству Москвы в XVII и XVIII веке.

Вот как обстояло это дело.

Та часть населения Москвы, из которой, в XVIII веке, образовались сословия купеческое, мещанское и ремесленное, в XVII веке представляла одно сословие — посадских людей, делившихся на Сотни (целые сотни, полусотни и слободы). Лица, принадлежавшие к сотням гостиным и суконным, пользовались преимуществами.

Эти сотни пополнялись лучшими людьми из других сотен и слобод, и из других городов. Принадлежавших к Гостиной сотне, за особые отличия, жаловали в звание гостей. Получая особые права, каждая сотня и слобода имела особое управление, со старостой и сотским во главе. В XVIII веке московское тягловое население делилось на четыре сотни (Гостиная, Новгородская, Дмитровская и Сретенская), три полусотни (Устьинская, Кожевницкая и Мясницкая) и двадцать шесть слобод:

Кадашевская, Крымские Лужники, Казенно-Огородная, Напрудная, Большие Лужники, Котельная, Девичьи Лужники, Алексеевская, Конюшенная, Садовая Набережная, Панкратьевская, Голувенная, Семеновская, Басманная, Барашская, Мещанская, Гончарная, Кузнецкая, Красносельская, Большая Садовая, Тачанная, Сыромятная, Екатерининская, Хамовниковская и Бронная.

В начале XIX века уже остается только одна Сотня — Гостиная, но и она с 1815 года превращается в слободу. Первоначально принадлежность к слободе обозначала и местожительство, но с течением времени это утратилось, и такая принадлежность имела только административное значение.

Из перечисленных названий видно, что почти все они сохранились в наименованиях улиц.

Другое замечание касается генеалогии: дворянские семьи, род коих был известен до 1600 года, заносились в шестую, самую почетную книгу дворянства той или иной губернии. Многие купеческие «династии» ведут свое начало с 1646 года, видимо в тот год была перепись, так как он не раз повторяется. Следовательно, до «шестой книги» нехватает менее полувека. Но нужно иметь в виду, что купеческие семьи занимались «торговлей и промыслом», а дворянские — землевладением. При неблагоприятных условиях легче было сохранить убыточную землю, чем убыточную торговлю. Поэтому многие старые семьи сошли со сцены или совсем утратили свое былое значение. А это придает купеческому родословию менее устойчивый и менее традиционный характер.

Из московского купечества вышел ряд лиц, получивших известность и прославившихся на самых разнообразных поприщах.

Михаил Наумович **Плавильщиков**, записанный в Московское купечество уже в 1725 году, был прадедом известного актера и литератора, Петра Алексеевича Плавильщикова (1760–1812) и его брата, Василия Алексеевича, книгопродавца и библиографа.

Прибывший в 1780 году в Московское купечество, нежинский грек Гавриил Юрьевич Венецианов был отцом родоначальника русской бытовой живописи Алексея Гаврииловича (1780–1847).

В 1810 году прибыл в Москву Алексей Иванович Кони, «из иностранцев прусской нации»; это был отец водевилиста Федора Алексеевича и дед знаменитого юриста и государственного деятеля Анатолия Федоровича.

В 1824 году переписались в Москву из курского купечества известные литературные деятели братья Николай и Ксенофонт Полевые.

В 1834 году записались в Московское купечество житомирские купеческие сыновья Абрам и Григорий Романовичи Рубинштейны. Последний был отцом знаменитых музыкальных деятелей Николая и Антона Григорьевичей.

В 1840 году прибыл в Московское купечество мещанин Иван Михайлович Лукьянов, отец сенатора Сергея Ивановича, бывшего товарища министра народного просвещения и члена Государственного Совета.

В 1848 году из Калужского купечества перечислился в Москву Иван Софронович Кирпичников, отец профессора русской словесности Александра Ивановича.

Во время переписи 1857 года в Московском купечестве числилась Екатерина Степановна Плевако, прибывшая в 1855 году из мещан города Троицка, Оренбургской губернии, с сыновьями Дормедонтом и Федором Никифоровичем. Последний был знаменитым московским адвокатом и членом Государственной Думы.

К этой группе лиц, прославившихся не на «коммерческом поприще», относится и поэт В. Я. Брюсов. Вот что пишет о его происхождении Вл. Ф. Ходасевич, в статье «Брюсов» («Современные записки»):

«Дед Брюсовых, по имени Кузьма, родом из крепостных, хорошо расторговался в Москве.

Был он владелец довольно крупной торговли. Товар был заморский: пробки. От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам Авиво-вым… Уж не знаю почему, дело Кузьмы Брюсова перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич в чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошадник, фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я знавал его уже вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой, в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс… Валерий Яковлевич подписывал порою статьи псевдонимом В. Бакулин.

Не завещав Якову Кузьмичу торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания, которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цветном бульваре против цирка Соломонского. Дом этот перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию и Александру Яковлевичам. Там и жила вся семья Брюсовых, вплоть до осени 1914 года».

Брюсов, несомненно, является живым опровержением марксистской теории о том, что «буржуазное происхождение

накладывает свой отпечаток на жизнь, и творчество не выходит из купечества». Несомненно, Валерий Яковлевич был подлинным купеческим сыном. В доме у них — об этом свидетельствует и Ходасевич — был своего рода «купеческий уклад» жизни, но в самом Брюсове (пишу это и по собственным воспоминаниям) ничего «купеческого» не осталось, и то невероятное самомнение, которым отличался автор «Огненного Ангела», нельзя относить за счет купеческого самодурства. Тогда и всю его экзотическую лирику пришлось бы считать проявлением купеческого мракобесия.

Наоборот, и Брюсов, и Ремизов наглядно свидетельствуют — и своей жизнью, и своим творчеством, — какую малую печать накладывала на своих детищ купеческая среда. Достаточно вспомнить стихи Брюсова:

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа, и дьявола
Равно прославлю я.

Как далеки они от той среды, откуда вышел их автор!

Есть в русской литературе недавнего времени одно имя, которое многие «выходцы» из купеческой среды произносят с гордостью, памятуя, что этот писатель также сын московской купеческой семьи. Имя это — И. С. Шмелев.

Автор «Человека из ресторана» и «Няни из Москвы» происходит из среднего московского купечества. Это не та среда, о которой мне приходилось говорить на предшествующих страницах. Она не строила клиник, не создавала Научного института или Народного университета, не была связана с созданием Художественного театра или Третьяковской Галлереи, но она, в ее деловой рабочей массе, обеспечивала хозяйственную жизнь Москвы, заведывала распределением всего потребного для нужд первопрестольной столицы.

И. С. Шмелев в своих автобиографических воспоминаниях дал яркую и живую картину этой, характерной для Москвы, среды и в этом большая его перед Москвой заслуга.

Скажу теперь о своей собственной семье, главным образом, о своем отце, который, несомненно, был подлинным русским самородком. Начав свою жизненную карьеру, в буквальном смысле, «без ничего», он своим упорным трудом и дарованием создал огромное дело и достиг большого материального благополучия. Учившись, как говорили в старину, «на медные деньги», он впоследствии, путем чтения и самообразования, стал действительно культурным человеком, хорошо знал Гегеля и Шопенгауэра и занял почетное положение и в московской

торгово-промышленной среде, и в московской общественности.

Всюду, где ему приходилось действовать, его ценили и уважали. Когда он скончался, сравнительно молодым — ему было 59 лет, — и мне удалось занять, и в делах, и в общественной работе, его место, — мне очень помогало то, что я был «сын Афанасия Васильевича».

Отец мой родился в бедной крестьянской семье крепостных господ Базилевских, в селе Павлинове, Дорогобужского уезда Смоленской губернии, 15 января 1853 года, — сто лет тому назад. У него был брат и две сестры, но все они умерли в раннем возрасте, умер вскоре и отец его, Василий Ерофеич. Мать его, Наталья Дмитриевна, вышла вскоре вторично замуж, за Прокопия Яковлевича Суровцева, который в том же селе, у помещиков, служил садовником. Отца моего, когда ему было 10–11 лет, его двоюродный брат Иван Афанасьевич Розанов в буквальном смысле слова привел в Москву и отдал в Мещанское училище. Шли они за обозом, направлявшимся в Москву, и отец, у которого воспоминания об этом путешествии остались на всю жизнь, потом рассказывал мне, что, идя за обозом, на ходу можно спать.

О Мещанском училище я уже говорил. Оно готовило торговых служащих. Таковая карьера и была предназначена моему отцу. Он учился очень хорошо, окончил училище первым и без труда поступил на место: сначала служил в деле Ушковых, но примерно через год перешел в фирму Красильщиковых (о них я говорил ранее) и стал доверенным по торговой части. Прослужил он в этом деле около двенадцати лет и дослужился до должности главного доверенного, после чего от Красильщиковых ушел и открыл в Москве свое собственное дело. Это было в 1882 году.

Служа у Красильщиковых, он часто вынужден был ездить в Харьков, на украинские ярмарки. Там у Красильщиковых был покупатель, Федор Иванович Ширяев. Отец мой был с ним хорошо знаком, бывал у него в доме и в том же 1882 году женился на его дочери Ольге Федоровне. По тогдашним обычаям, «приданого» почти не было, и свое дело отец основал на свои собственные сбережения.

Дед мой — и крестный отец — умер восьмидесяти с лишним лет от роду, в 1893 году, когда мне было шесть лет, но я очень хорошо помню его. Каждый год мы ездили в Харьков к нему «гостить». Я ясно помню, что он очень любил вспоминать прошлое. Помню один из его рассказов, как он, еще мальчиком, в своем родном селе Курской губернии, Щигровского уезда, ходил смотреть, как из Таганрога везли гроб Александра I, и что в толпе упорно говорили, что гроб везут пустой, и что Император не умер.

На своего деда я очень похож лицом и манерами. Оставил он мне в наследство и свою привычку курить сигары, а мой отец никогда ничего не курил.

После смерти Федора Ивановича его единственной наследницей была моя мать, но последние годы дед мой уже почти не занимался делами, и торговля его, как говорили, «дышала на ладан». В дальнейшем, однако, в твердых руках моего отца харьковское дело не только выправилось, но и пришло в цветущее состояние и впоследствии, когда было организовано паевое товарищество, стало главным его составным элементом.

Московское дело также развивалось успешно и заняло солидное место на московском рынке, уступая, конечно, первенство фирмам Щукиных и Грибовых, а позднее — Понизовских.

Но дело считалось солидным и пользовалось неограниченным кредитом, причем наша фирма не выдавала векселей. Московским отделением руководил сам отец, входя во все мелочи и зная дело во всех деталях. В Харьков же постоянно наезжал, главным образом во время украинских ярмарок. Харьковским отделением руководил Иван Спи-ридонович Коломиец, еще помощник моего деда. Впоследствии были открыты отделения в Нижегородской ярмарке, в Полтаве, в Нижнем Новгороде и в Воронеже. В 1904 году было создано Товарищество мануфактурным товаром А. В. Бурышкин (моя мать не пожелала включать своего имени, как бы следовало), где всё было объединено. Общий оборот был 15–18 миллионов.

Как я говорил, свадьба моих родителей имела место в 1862 году. 13-го апреля;, 1883 года родилась моя старшая сестра, Александра Афанасьевна. Отец мой счел благоприятным указанием, что первый его ребенок родился именно 13-го числа. Он был по-своему весьма суеверен и начинал все свои дела, в частности торговые, 13-го числа.

В июне 1885 года родилась вторая моя сестра, Надежда Афанасьевна и, наконец, 9-го февраля 1887 года появился я на свет Божий. Жили мы сначала на Остоженке, во 2-ом Ильинском переулке, в доме, где был огромный сад, но сам дом был сравнительно небольшой. В 1896 году, 13-го декабря, мы переехали в большой, довольно парадный дом в Антипьевском переулке, на Волхонке, против музея Александра III, во время нашего переезда еще не существовавшего. В этом доме прошло наше счастливое детство и молодость. Из него уходили мы, обзаведясь семьями. В этом доме, в 1912 году, скончался мой отец.

С 1892 года лето мы проводили в нашем подмосковном

имении Поварове, по Николаевской железной дороге, в 46-ти верстах от Москвы. Оно ни по постройкам (дом строил мой отец), ни по природным условиям, не представляло ничего замечательного, но все мы очень любили деревенскую жизнь и жили там подолгу: летом пять месяцев, зимой, на Рождество, на месяц уезжали туда на «зимний спорт». Что же касается моего отца, то он очень много времени проводил в имении. Он был страстный охотник и хороший стрелок, и постоянно был в Поварове, охотясь на зайцев и лисицу, или ездил на «тягу» или на «ток». Впоследствии он меньше ездил к нам в имение, но очень часто бывал на охотах, устраиваемых Охотничьим обществом Александра II.

В имении было небольшое хозяйство, которое, в сущности говоря, обслуживало нашу семью. Но всего было вдоволь. Особое внимание обращалось на молочные продукты, и была у нас замечательная фруктовая оранжерея, где был ряд деревьев, купленных в соседнем имении Трубецких, Лыткине, когда они распродавались после краха. Я редко когда после ел такие персики или большие белые сливы. Они были в Москве известны, и не раз магазин Елисеева просил нас «продать» корзину слив или дюжину персиков для какого-нибудь особого торжества.

Всем домом, всем хозяйством заведывала моя мать, Ольга Федоровна. Когда я говорю о своем «счастливом детстве», я знаю, что именно ей мы обязаны тем, что детство и юность наши были счастливыми. Сколько я себя помню, всегда она жила своим домом и своей семьей. Она очень редко выезжала, — разве только в театр, в итальянскую оперу, но дома она, не покладая рук, работала, руководя всеми мелочами повседневной жизни. В особенности вспоминаю ее заботы во время чьей-нибудь болезни. Она сама всегда за всеми ухаживала — и всех выхаживала, — так как одна из моих сестер в детстве была очень болезненной.

Свои заботы о детях она сохраняла до конца дней своих: когда уже все мы жили своими семьями, она почти каждый день бывала у нас и помогала устанавливать порядок. Она пережила моего отца только на три года, и ее светлая память живет во всех нас… Не знаю, где теперь ее портрет, написанный Н. К. Бодаревским.

Совсем иного уклада человеком был мой отец, память коего также чту благоговейно. Это был небольшого роста, коренастый, крепкий человек, необычайной внутренней силы, на первый взгляд суровый и даже необщительный. Я редко и после видел кого-либо, кто мог, как он, одним своим появлением вселять такой сильный страх и в подчиненных, и в родственников.

Его многие боялись, хотя он никогда не бранился и редко

возвышал голос, но и крепко за него держались, так как знали, что он «не выдаст», поможет в беде, — и советом и в особенности всяким иным способом, и что его не нужно просить, а он и сам позаботится. Я не. помню, чтобы кто-нибудь пришел к нему за помощью и ушел бы, не получив ничего.

Отец мой умер от опухоли мозга, после операции, которую делал знаменитый берлинский профессор Краузе. В то время головная хирургия была еще в зачатке, и его спасти не удалось. Опухоль у него получилась от того, что он упал навзничь в Киссингене, где лечился. Он сидел за столом в ресторане. Мимо проходила дама и уронила платок. Он вскочил его поднять, поскользнулся и упал. Это оказалось роковым.

По своему завещанию, мой отец назначил денежные выдачи всем своим служащим, включая в это число и всех тех, кто служил в нашем торговом деле. «Включая сюда и всех служащих в учрежденном мною Товариществе А. В. Бурышкин», — было сказано в завещании. Выдачи исчислялись согласно числу лет службы, и отдельные выплаты были довольно высоки.

Все же вместе эти выплаты выразились в очень больших цифрах и для того, чтобы не трогать деньги из дела, хотя бы путем займа, нам пришлось продать некоторые из наших имений.

Завещание моего отца не было «единственным в своем роде», но такие примеры бывали, по правде сказать, редко, и потому об этом деле довольно много говорили. Надо сказать, что провести всю эту операцию было совсем не легко.

Все трое детей, мы сначала учились дома. У нас была русская учительница, Наталья Васильевна Федорова, долгое время верный член нашей семьи. Мы были отлично подготовлены и потом всегда хорошо учились, — сестры в известной в Москве Арсеньевской гимназии, я — в Катковском лицее. Перед поступлением в лицей я недолго был в Московской 10-ой гимназии, на Якиманке.

О своих лицейских годах я уже говорил. По окончании лицея я поступил на юридический факультет университета, затем в Коммерческий институт и, наконец, в археологический. Всюду учение шло успешно и я всерьез подумывал о научной карьере. Возможно, что это и осуществилось бы, если бы не началась война 1914 года, и я не ушел бы, с головой, в красно-крестную работу в городском управлении и в Союзе городов.

У моего отца была весьма своеобразная манера меня воспитывать: я пользовался абсолютной свободой с очень молодого возраста и всегда имел много «карманных» денег. Все это делалось под молчаливым условием, что я буду хорошо учиться, не попаду в какую-нибудь «неподходящую историю» с

полицейским участком, что мое времяпрепровождение не скажется на моем здоровье и что я всегда буду во-время там, где быть должен. В студенческие времена я иногда очень поздно возвращался домой, но если вовремя шел в университет, откуда, во второй половине дня, отправлялся в амбар, то был волен поступать, как мне нравилось. Больше всего этой свободой я пользовался, чтобы бывать в театре или в концертах, куда меня сначала «возили», а потом позволили ездить самому.

Помню, как, будучи студентом, я раз чуть не попал «за городом» в неприятную историю, о которой в Москве стало известно. Дело обошлось благополучно, но я все-таки ждал, что мне «намылят голову». Отец лишь посмотрел на меня, покачал головой и сказал: «Неужели тебе это интересно?» — Это было хуже «разноса».

Я еще скажу два слова об общем укладе нашей жизни, чтобы дать представление о том, как жили «средней руки» купеческие семьи в Москве, так сказать, последние пережитки «темного царства». Уклад нашей жизни был очень простой, лишенный каких бы то ни было внешних проявлений богатства. В доме не было мужской прислуги, ели не на золоте и не на серебре. Был самый обыкновенный сервиз от Кузнецова, но дом наш был «край, где всё обильем дышит». Мне до сих пор кажется, что нигде я не ел с таким удовольствием, как у нас дома, а главное летом и особенно весною — в Поварове.

Все были очень заняты. Вставали рано, но не в одно и то же время, и уходили по своим делам, вернее — по своим школам. Мои обе сестры были «курсистки»: Шура — педагогичка, Надя — сначала естественница, а затем медичка, на курсах Герье.

Вся семья собиралась за обеденным столом часов около семи вечера. Эти встречи носили своего рода ритуальный характер, так как обычно все были на месте и не любили, чтобы кто-либо отсутствовал. За обедом всегда был кто-нибудь из близких нашей семье, чаще всего подруги сестер и некоторые из родственников, вернее — родственниц. Всегда ждали отца, который приезжал из «амбара», но этим соприкосновение с «темным царством» и оканчивалось.

Обед был обильный, но вина почти не подавали, а о крепких напитках и помину не было. За обедом говорили большей частью о театре. Все были, как часто было в Москве, страстные театралы. Говорили о музыке (сестры учились у Д. С. Шора), о литературе. О политике — сравнительно меньше: настроения были все-таки немного разные: одна из сестер была с сильно народническим уклоном и предпочитала не спорить. После обеда расходились. Кто-нибудь, большей частью я, — отправлялся в театр. Раньше,

когда были детьми, собирались еще за вечерним чаем. Отец тогда любил читать вслух книги исторического содержания, вроде «Старой Москвы». Потом это бывало лишь летом, в имении.

Первые две трети своей жизни отец мой занимался лишь своим делом и почти не принимал участия в общественной жизни. После пятидесяти лет он начал ею усердно заниматься и хотел вообще от дел отойти, передав их мне, что в сущности, он и сделал, как только я окончил университет. Он стал подолгу летом жить заграницей. Почти совсем не зная иностранных языков, он отлично умел устраиваться, — жил сначала на курортах, Киссингене или Виши, потом ездил на какой-нибудь музыкальный фестиваль, особенно любил ездить в Байройт. Раньше, когда я еще не был женат, я обычно сопровождал его, как он говорил, — в качестве переводчика. Благодаря этому, я ознакомился почти со всей Европой, от скандинавских стран до Италии. Путешествовать он умел очень хорошо.

Мой отец не был, в тесном смысле слова, коллекционером, но картины «покупал», и в большом доме, в Антипьевском, были неплохие вещи русских художников. После его смерти картины разделились нами троими. Дань коллекционерству отдал и я, но не успел начатого дела довести до конца. Я говорил о нашем доме, как о довольно парадном, добавлю, что он не был удобен для жилья: парадные комнаты были хороши, а жилые значительно хуже. По преданию, в нашем доме (он принадлежал какой-то ветви князей Оболенских) бывал Грибоедов.

В доме была большая лестница. Ею, будто бы, вдохновился Грибоедов для четвертого акта «Горя от ума». Как бы то ни было, но когда Художественный театр начал постановку «Горе от ума», к нам в дом не раз приезжала из театра большая комиссия, сняла ряд фотографий и сделала зарисовки. Эта лестница и была воспроизведена на сцене, но нужно сказать, что наш дом был не единственный, о котором сохранилась такая легенда, и отовсюду Художественный театр что-то позаимствовал.

Дом в Антипьевском, как я уже говорил, не был удобен для жизни, вернее говоря, не соответствовал требованиям современной техники. Его нужно было либо перестраивать, либо определить на какую-нибудь иную надобность. Так отец и решил, завещав его городу Москве, для устройства в нем либо музея, либо библиотеки его имени, а в пожизненное пользование — моей матери. Нужно сказать, что мать моя в этом доме одна прожила недолго и переехала в мой дом, в смежную со мною квартиру. Вскоре началась война, и в нашем доме был устроен лазарет, где старшим врачом стала моя сестра.

Возвращаясь к дому, должен сказать, что у меня в отношении

его был определенный план. Моя дань коллекционерству заключалась в том, что я собирал с ранего времени «Россику» и, в особенности, все, что касалось Москвы. С течением времени коллекция стала очень большой. Мне помогал — и в деле покупки, и в приведении ее в порядок — И. Э. Грабарь. Были необычайно ценные вещи, которые я приобрел с известным собранием Аргутинского-Долгорукого. Свою коллекцию я и собирался передать городу, для организации музея имени моего отца.

Ныне эта коллекция, как я знаю, составляет основу Музея старой Москвы.

Как не было нами создано «музея», так и не было благотворительных учреждений, носивших наше имя. Были, как я говорил, аудитории и лаборатории в Коммерческом институте. Это отнюдь не значит, что благотворительность была чужда нашей семье. В конторе нашей фирмы был особый «стол», этими делами только и занимавшийся.

Но делалось все это без всякого шума, даже я, при жизни моего отца, многого не знал. Как человек, сам вышедший из народа, благодаря учению, отец мой, главным образом, имел большое количество стипендиантов, причем таковыми бывали люди, впоследствии достигавшие известности. Помогал он и престарелым и в особенности откликался на всякого рода несчастья, — «на погорелое место». Во время моих скитаний по России, после революции, мне постоянно приходилось сталкиваться с людьми, сохранившими по отношению к нему благодарную память.

Приведу один пример, довольно характерный для того времени: при нашем имении Поварово отец выстроил и школу, приют для престарелых и фельдшерский пункт. Когда моя сестра кончала медицинские курсы, он предложил ей выстроить в деревне Поварове больницу, которой она должна была бы заняться. Сестра моя, кстати, была очень рада такой мысли и начала подготовку. Но отец, как и все мы, считал, что больницу надо строить или в самой деревне или поблизости, и предложил крестьянам — а деревня была одной из самых богатых в нашем Звенигородском уезде — отвести небольшой клочок земли. Собрался сход и отказал. «Афанасий Васильевич хочет больницу устроить «для спасения своей души», — пусть и землю жертвует».

Небезинтересно сопоставить этот приговор с тем, как характеризуют «заботу о душе» современные советские историки. Вот что, на пример, пишет Лященко в «Истории народного хозяйства СССР»:

«Богатство растрачивалось на самые дикие некультурные

выходки. Откупщик Кокорев купил у разорившегося князя дом и поставил около него на улице серебряные фонари, а дворецким сделал обедневшего севастопольского генерала. Один из владельцев фабрики Малютин прокутил в Париже за один год свыше миллиона рублей и довел фабрику до разорения.

«Заботы о душе» заставляли именитое купечество, при жизни, или после смерти, передавать миллионные состояния на благотворительность: на построение церквей, больниц, богаделен. Едва ли найдется другой город с таким числом «благотворительных» учреждений купечества: Хлудовская, Бахрушинская, Морозовская, Солдатенковская больницы. Тарасовская, Медведевская, Ер-маковская богадельни. Елисеевский ночлежный дом, дешевые квартиры Солодовниковых и другие»…

Вскоре отец умер. Мы продолжали его деятельность в этом направлении, но началась война и, вместо больницы, мы создали госпиталь.

Теперь несколько слов о семьях второго поколения, то есть о моих сестрах и о моей собственной. Я женился рано, еще будучи студентом университета. Жена моя, Анна Николаевна, урожденная Орчанова, из судейской семьи Орчановых. Правда, ее мать, Варвара Павловна, была из семьи шерстяных фабрикантов Кавериных, и в первом браке была Чижова. Мой тесть, Николай Александрович, был одним из примеров русского суда, неподкупного и неподдающегося влиянию. Он всю жизнь провел в Москве, как следователь, и, после почти сорокалетней службы был сразу назначен в Московскую Судебную палату.

Когда бывший московский градоначальник Рейнбот был отдан под суд, следствие должен был производить член Палаты. Естественно, предложили это моему тестю, причем приехавший из Петербурга эмиссар сказал, что ему своевременно укажут, какие должны быть выводы. «Выводы будут те, которые укажет следователь», — ответил мой тесть. Конечно, дело было поручено другому, и тестя «обошли звездой».

Жена моя, Анна Николаевна, была очень красивая и одаренная женщина. Хорошо читала стихи и танцевала; всегда устраивала благотворительные концерты; хорошо одевалась, — первая привезла в Москву изделия Пуаре и надевала их к некоторому смущению тех, к кому мы ездили в гости.

Есть ее портрет, написанный художником Н. П. Ульяновым. Грабарь взял его в Третьяковскую Галлерею, но в нынешнем каталоге его нет. Что с ним сделалось и где он находится — не знаю. Жена моя скончалась в 1940 году.

У нас двое детей, проживающих теперь в Париже. Сын мой

был участником французского подполья в годы немецкой оккупации Франции.

Старшая моя сестра, Александра Афанасьевна, была замужем за инженером Сергеем Александровичем Лузиным.

Другая моя сестра, Надежда Афанасьевна, женщина-врач, очень хороший хирург, была известна с несколько иной точки зрения. Еще гимназисткой, она бывала в теософском кружке Христофоровой, которая была близка к Е. П. Блаватской, даже, кажется, состояла с ней в родстве. Потом, вместе с рядом других лиц, в частности с Андреем Белым, она перешла к Рудольфу Штейнеру и стала антропософкой. Она вышла замуж за моего университетского товарища Бориса Павловича Григорьева, который тоже был штейнерианцем. Они постоянно ездили к Штейнеру, в особенности, когда он читал свои циклы лекций.

Григорьев был назначен главным «гарантом» русской антропософской группы. В квартире моей сестры происходили их собрания, где читались лекции и бывали собеседования. Все это, в некоторой степени, описано Андреем Белым. Первая версия Гетсенума, еще в Мюнхене, была выстроена за счет моей сестры, точнее говоря, за счет нашей фирмы. Мы, другие члены семьи, иногда приглашались на торжественные собрания, где порою встречались с такими людьми, как о. Сергий Булгаков, тогда еще не бывший священником, о. Павел Флоренский.

В заключение приведу анекдот про моего отца, который сравнительно недавно мне довелось слышать. Вот в какой версии его мне рассказывали: приходят однажды к моему отцу из комитета помощи бедным студентам и предлагают билеты на спектакль в пользу комитета. Предлагают самый дорогой билет — в сто рублей. Отец будто бы отказался, сказав, что дорого. Ему предложили за двадцать пять, за десять рублей, — отец все говорил, что дорого, и взял за два рубля, и при этом прибавил: «О студентах вы не беспокойтесь, я утром им чек на двадцать пять тысяч послал, а в театре я и постоять могу».

Первоначально мне показалось, что это сплошная выдумка, так это не было похоже на моего отца. По тону рассказа, герой представляется персонажем в долгополом сюртуке, сапогах бутылками и посещающим театры вроде одного из героев рассказов И. Ф. Горбунова. На самом деле отец мой одевался либо заграницей, либо у Деллоса, который был совсем неплохой портной в Москве. В театре всегда, в особенности когда бывал один, сидел в первом ряду.

Но отыскивая возможный источник этой «легенды», я вспомнил один эпизод, который, как я думаю, и был подлинной подкладкой выше приведенного рассказа. Дело происходило так:

в 1907-08 году, в семье моего зятя, в Лузинской семье, — появился молодой художник, очень талантливый, которому предсказывали большое будущее.

К сожалению, у него было плохое здоровье — начинался туберкулез. Сказали, что ему нужно ехать в Крым, и решили: так как у него самого денег не было, собрать ему необходимую сумму. Остановились на мысли устроить лотерею, разыграть одну из его картин. Выпустили 30 билетов по 25 рублей, — сумма, для того времени немалая, — и распределили их между знакомыми. Один билет был назначен и моему отцу. Организацию розыгрыша взяла на себя С. М. Б… на, недавно ушедшая от своего мужа и жившая в гражданском браке с доктором Леонидом Лузиным.

Времена были тогда другие, нравы строгие, и в доме ее бывали не все, даже не все родственники. Розыгрыш лотереи был хорошим предлогом для устройства «вечера». Вечер был устроен на славу, принимать она умела и, казалось, что все будет очень удачно. Розыгрыш должен был состояться за ужином, но вдруг оказалось, что один билет не взят и не оплочен — билет моего отца. Тогда одна из приятельниц хозяйки, Е. И. В… на, дама очень красивая и интересная, с большой иронией обратилась к моему отцу и сказала: «Что же, Афанасий Васильевич, четвертного жалко». — «Четвертного мне не жалко, — спокойно отвечал мой отец, — получите, пожалуйста.

Жалко, пожалуй, что для того, чтобы собрать небольшую сумму, устраивается такой дорогой вечер, лучше бы деньги художнику дали. А впрочем, о нем не беспокойтесь: сегодня он был у меня в конторе. Валентин Анатольевич нашел, что ему, действительно, пожить в Крыму нужно. Послезавтра он поедет. Пока отправляем его на год, а там дальше

посмотрим. А то, что вы собрали, тоже годится: семья у них очень бедная».

Художник прожил в Крыму около полутора лет, совсем поправился и умер сравнительно недавно, в эмиграции, где он составил себе крупное имя в специальной области. До конца дней своих, он с волнением вспоминал Афанасия Васильевича.

ГЛАВА III

В течение прошлого столетия была Москва «Войны и мира», Москва грибоедовская, Москва славянофилов, и наконец, в третьей четверти века, с легкой руки Боборыкина и позднее «Нового времени», — появляется Москва купеческая. Это Москва, где купеческое засилье, где купец повсюду, — и в амбаре, и в городской думе, и в университете, и в театре, где без купца нельзя ничего сделать, своего рода «диктатура прилавка».

(Этим картинным термином монархический журнал эмиграции характеризовал торгово-промышленный Съезд, в Париже, в 1921 году.)

Что купец был в «амбаре», в этом нет ничего удивительного, — где же ему, собственно, быть? Можно даже сказать, что в это время он не один был в амбаре: там начинают появляться и новые элементы, уже не говоря про то, что ряд более молодых представителей «темного царства», — сами люди с высшим образованием. В составе правлений паевых товариществ начинают появляться чистой воды интеллигенты, инженеры и юристы, присяжные поверенные. Таковые быстро занимают заметное место, иногда появляются и в представителях. Этим слегка меняется его характер, но оно становится иногда более способным к защите своих интересов.

О роли «купца» в искусстве, в науке, в благотворительности и в делах просвещения мне немало пришлось говорить при характеристике «купеческих династий». Все подобного рода действия носили личный характер. Многие действовали одинаковым порядком, но каждый выступал за свой страх и за свою совесть. «Для спасения своей собственной души», — сказали бы советские историки.

И так как такая активность была правилом, а не исключением, то результат сказывался на всех. Как я уже говорил, история русского купечества есть один из истоков русской культуры.

Купец был не только в городской думе, он был во всей городской общественности, что объяснялось цензовой системой выборов. Городское домовладение в Москве преимущественно находилось в купеческих руках. Естественно, что по всякого рода выборам в городах представители купечества избирались в первую очередь. Иначе было в уездах. Правда, среди купцов было очень много землевладельцев, иногда даже помещиков, но своеобразная система выборов, стремившаяся построить земское представительство на дворянах землевладельцах и отчасти на

крестьянах, фактически совершенно устраняла из земских собраний торговцев и промышленников. Даже в самых промышленных уездах дело обстояло именно таким образом.

Я не помню сколько-нибудь заметного проявления купеческой активности в земской работе. Лично я никогда в ней не участвовал, хотя мог бы быть избранным в состав губернского земства, как представитель городской думы.

Небезынтересно провести параллель между общественной деятельностью в России прошлого времени и Западной Европой, в частности с Францией. На Западе — это устройство своих собственных дел, личной своей карьеры; в России, — это, прежде всего, служение. Причин было две, на первый взгляд резко противоположных друг другу: общественная, частью интеллигентская традиция и цензовая система. Общественная деятельность в России появилась очень поздно, в связи с великими реформами. Нельзя считать таковою выборы старосты в гостиной сотне или в сретенской слободе.

Подлинная общественная работа началась с мировых посредников и земских гласных. Конечно, с давних пор в Москве были городские головы и шестигласные думы, но настоящая работа общественного порядка началась с введения Городового положения. Вошедшая в жизнь, в связи с эпохой великих реформ, общественность была пропитана духом этого знаменательного времени.

С другой стороны, цензовая система — а ценз был довольно высокий — сводила на нет возможные выгоды от избрания в гласные городской думы. Почета это также давало мало. Гласные большей частью были купцы — толстосумы, и к ним так и относились: доминировало их купеческое качество, а не участие в управлении городскими делами. Позднее, когда в состав думы, по разным цензам, стали проникать небогатые элементы населения, тогда еще можно было говорить о стремлении попасть в члены управления, но последние вовсе не обязаны были быть гласными, и в Москве членов управления обычно выбирали «со стороны». За время моего участия в двух составах Московской думы я не припомню, чем и как звание гласного принесло кому-нибудь денежную пользу. Поэтому вовсе не было такого наплыва желающих баллотироваться, и шли преимущественно те, которые хотели взаправду служить своему городу, так же, как земцы хотели служить своей деревне.

Во всяком случае, со стороны московского купечества никогда не проявлялось тенденций, — ни путем постановлений его правительственных органов, ни в порядке отдельных мнений, — целиком захватить думу. А в принципе думали, что

это возможно. Наоборот, было определенное желание провести в состав гласных представителей интеллигенции, из числа лиц, не имевших ценза. Это было возможно, благодаря тому, что в числе избирателей были разные научные и благотворительные общества, обладавшие не движимым имуществом.

По закону они могли выдать доверенность кому угодно, а не непременно кому-либо из своего состава. Этим путем и были введены некоторые лица, игравшие в думе заметную роль. Когда началось деление на правых и левых, оказалось, что почти все общества «прогрессисты», и это дало возможность немало пополнить левые кадры.

Этот же процесс инфильтрации интеллигенции начался и в чисто профессиональных промышленных группировках, но там это дело шло, конечно, значительно медленнее.

Московское Биржевое общество, или, как обычно его называли — по имени его руководящего органа — Московский Биржевой комитет, было самой значительной, самой влиятельной представительской организацией торговли и промышленности в Москве, а ранее, и в течение долгого времени, и во всей России.

Его всероссийское значение сильно умалилось после возникновения общероссийского объединения. Его внутренняя мощь оставалась прежней, и к голосу его постоянно прислушивались правительственные и даже общественные круги, — конечно те, которые вообще считались с «буржуазной» общественностью. Это свое значение Биржевой комитет сохранил, и после февральской революции опять стал гегемоном среди промышленных группировок. Именно из его среды руководители последнего состава временного правительства хотели почерпнуть те силы, которые помогли бы выправить положение.

Московская биржа была организована в 1831 году. Она была четвертой по старшинству создания, уступая С. Петербургской, учрежденной одновременно с построением северной столицы в 1703 году, Одесской (1790) и Варшавской (1818). После Москвы был создан целый ряд бирж во всех, более или менее значительных центрах и к началу Первой мировой войны их насчитывалось более ста. Биржевые комитеты существовали, но это не значит, что существовала подлинная биржевая деятельность.

Окончательная форма организации Биржевого общества сложилась не сразу. Если не ошибаюсь, первый председатель был выбран в 1853 году. Структура была такая: общее собрание, Биржевой комитет и председатель. Москва, а кажется и Петербург, представляли некоторое исключение: у них существовала посредствующая инстанция: выборные биржевого

общества.

Для участия в Московском Биржевом обществе был установлен ценз, повидимому, очень высокий, потому что число членов было сравнительно невелико — менее 500. При том престиже, которым пользовалась биржа в московских торгово-промышленных кругах, вряд ли можно думать, что тот, кто имел право участия, добровольно бы от него отказался.

Эти члены Биржевого общества составляли общее собрание, единственной функцией коего в Москве, кроме уплаты причитающихся взносов, было избрание выборных Биржевого общества. В других биржевых обществах общее собрание несло те функции, которые в Москве выполняли выборные.

Выборы этих последних происходили раз в три года, обычно в мае месяце. Кандидатов заявляло предвыборное собрание, собиравшееся незадолго до выборов, — обычно очень малочисленное. Каждый был волен и сам поставить свой собственный ящик.

Раньше выборных было сто. Кандидатов двадцать. В самые последние годы первых было сто двадцать, вторых — сорок. Из этого следует, что практически избирательной борьбы не было. Биржевой комитет негласно составлял свой список, который и проходил, без большого труда. Мест было много, много и желающих, но мест хватало. От каждой фирмы был один представитель в числе выборных, а среди членов их могло быть и несколько. Редко бывали случаи, когда кого-либо, по тем или иным основаниям, считали неподходящим и старались забаллотировать. Обычно, и это удавалось, так как делалось это не зря: в семье не без урода. Конечно, лица, принадлежавшие к фирмам-неплательщикам — в выборах не участвовали. Словом, все было гладко и мирно.

Совсем иная картина была в 1915 году.

Первым актом собрания выборных было избрание председателя, комитета, в составе шести членов, и больших комиссий. Выборы председателя обычно не давали места состязанию. Так было с выборами Н. А. Найденова (9 раз), Крестовникова (3 раза)… Опять-таки совсем иначе было в 1915 году, когда шла ожесточенная борьба между А. И. Коноваловым и П. П. Рябушинским. Но это было военное время.

При выборе комитета бывали разногласия, но почти исключительно персонального характера, да и то лишь в последнее время. При председательстве Крестовникова всегда в составе комитета были немцы. Понятно, почему он их привлекал: это был культурный и общественный элемент, но Крестовникова упрекали в том, что он способствует усилению немецкого

засилья.

Выборы комиссий споров не вызывали.

Моя карьера в Биржевом обществе складывается из трех этапов. Я постепенно продвигался вверх. Началось с того, что еще при жизни моего отца, еще не будучи выборным, я был введен в состав юридического совещания. Произошло это таким образом: как я уже говорил, я всегда бывал на петербургских общественных съездах. Все москвичи обычно стояли в «Европейской гостинице» и часто вместе обедали.

Хотя я и не был еще «делегатом», но меня все знали и приглашали в общую компанию. Однажды, — кажется, в 1909 году, — после одного из моих выступлений по промысловому налогу, от которого Крестовников меня отговаривал, но который прошел удачно, вечером, тот же Крестовников пригласил меня, «как юриста», в юридическое совещание. Это совещание не имело вполне законченного состава; вернее сказать, его участники делились на две категории: тех, кого звали всегда, в их число я и попал, — и тех, кого звали по данному случаю. Таковыми были виднейшие представители московской адвокатуры, специалисты по гражданским делам. Правда, лиц с ярко левым уклоном, будущих социалистов, не звали, но левые были обычно защитниками по уголовным делам. Цивилисты же очень любили приходить, так как это сближало их с возможным клиентом.

Обычно просили заключения по какому-нибудь вопросу в связи с тем или иным законопроектом. Нужно сказать, что суждения бывали чрезвычайно содержательны и интересны. Впоследствии, когда Рябушин-ский бывал на фронте, председательствовать в совещаниях доводилось постоянно мне.

Когда «освоились» с моим присутствием в юридическом совещании, меня стали приглашать и в другие комиссии.

Выборным я сделался в 1912 году. Это было мое первое избрание на общественную должность. 29-го февраля того же года мне исполнилось 25 лет, то есть я достиг гражданского совершеннолетия, необходимого для занятия выборных должностей. 19-го апреля того же года скончался, после сравнительно долгой болезни, мой отец.

Выборы на бирже должны были иметь место 5-го мая. Конечно, отец мой, несмотря на болезнь, значился и избирателем, и кандидатом к переизбранию выборных, каковым состоял немало лет. Когда он скончался, я не счел уместным сразу же сделать какие-то шаги, чтобы «подставить» себя на освободившуюся вакансию.

К моему удивлению, я получил из комитета извещение, что я поставлен в число кандидатов, и что избирательный билет

изменен на мое имя. Выборы состоялись и, к неожиданности для многих, я прошел очень хорошо. «Вот, что значит быть сыном достойного отца», — говорили мне.

Я не знаю, был ли я, в мои двадцать пять лет, самым младшим. Одновременно со мною был избран Никифор Михайлович Бардыгин, который, в Катковском лицее, был моложе меня одним классом. Дату его рождения не помню, но ему должно было быть тоже 25 лет.

Выборы прошли безо всякой борьбы, — авторитет председателя Г. А. Крестовникова стоял чрезвычайно высоко. Не могло быть и тени сомнения в его переизбрании; не было сомнений также, что на все должности выберут тех, кого он рекомендует. И в самом деле, в первом же собрании, которое вскоре было созвано, при выборе председателя оказалось всего два черных шара из примерно ста десяти. И то все удивлялись, кому это захотелось испортить единогласие.

Комитет оказался несколько омоложенным: вошли Г. Н. Третьяков, А. И. Кузнецов; из немецкой группы остались Л. Л. Рабенек и К. К. Арно. Но Рабенек пользовался единодушным уважением, а Арно знали, как «ближайшего сотрудника» председателя.

После, на следующем собрании, были выборы в так называемую постоянную комиссию.

Эта комиссия считалась — и по праву — самой важной. Она состояла из двадцати пяти членов и была как бы сконцентрированным, более интимным собранием выборных. Там иногда предварительно, иногда окончательно рассматривались самые важные вопросы. Участие в ней считалось весьма почетным и желающих его принимать было немало. Биржевым комитетом предварительно были разосланы бюллетени с предложением заявить 25 кандидатов. На собрании Крестовников предложил баллотировку не производить и считать избранными 25 первых по большинству голосов из числа предложенных, но прибавил, что если хоть один из присутствующих потребует голосования, будет баллотировка шарами. Авторитет его и здесь сыграл решающую роль, — никто баллотировки не потребовал.

Опять скажу: к удивлению некоторых, я оказался включенным в число избранных. Друзья моего отца, А. С. Вишняков и Д. Д. Хуторев, поздравляя меня, сказали: «Смотри, на будущее трехлетье в комитет попадешь». Они оказались правы.

В Биржевой комитет я был выбран в 1915 году, на второй год войны. О выборах 1915 года я буду говорить подробно в главе, посвященной военному времени. Я уже говорил о существовании борьбы за пост председателя, но состав комитета был предрешен,

и для меня особого сюрприза не было.

Было неожиданностью то, что я прошел очень хорошо, одним из первых после А. Н. Найденова. Некоторые из моих новоизбранных сотоварищей были не очень довольны, так как я становился первым в очереди заместительства председателя и после заместителя по должности. Но этот вопрос был «благополучно» разрешен выбором двух заместителей: Найденова и Третьякова.

Пребывание мое, хотя и недолгое, в составе Биржевого комитета дало мне возможность ознакомиться с психикой и особенностями работы этой крупнейшей московской промышленной организации.

Московская биржа помещалась на Ильинке, на Карунинской площади, в самом центре Китай-Города. Это было большое здание, греческого стиля, с широкой, но не длинной лестницей. Главный вход был всегда закрыт, в биржевой зал проникали боковым входом, где стоял монументальный служитель и проверял входные билеты. Впрочем, он почти всех знал в лицо и никогда не ошибался.

Биржевой зал был довольно большой, не такой, конечно, как на бирже в Париже, и занимал почти весь нижний этаж здания. Была еще только длинная и узкая зала собраний выборных. Всё остальное составляло помещение, где собирались посетители биржи.

Их было две категории: хлопчатобумажники и вообще текстильщики, и «фондовые». Собственно говоря, только последние и ходили на биржу, чтобы заключать сделки. Текстильщики же там бывали по привычке, — повидать знакомых и узнать новости. После биржевого собрания шли завтракать.

У каждой группы и у каждой текстильной отрасли были свои места, где собирались всегда одни и те же лица. Надо сказать, что далеко не все посещали биржу: с точки зрения дела, ходить туда было незачем. Помню, нам всем казалось, что «фондовые» шумят и кричат без удержу. Но если сравнить московскую биржу с парижской, уже не говоря про Америку, (Я был в Нью-Йорке в последний раз в 1925 году.) то пришлось бы придти к выводу, что биржевое собрание проходит спокойно и тихо, — степенно. Да и число посетителей было совсем не так велико, и объем сделок не так велик, как в Петербурге, а количество котируемых бумаг не могло сравниться с западно-европейскими биржами. Но, конечно, нужно сказать, что в Москве, вероятно, большая часть — в процентном отношении — деловой жизни проходила вне биржи.

Канцелярия, секретариат и самый Биржевой комитет помещались во втором этаже. Собственно говоря, у Биржевого

комитета никакого помещения небыло, — был кабинет председателя, где и происходили заседания комитета. Отдельные члены, приходившие работать по отдельным отраслям деятельности комитета, что, главным образом, выражалось в подписи, работали в том же самом помещении.

Канцелярия была не велика; расположена в небольших, но очень высоких комнатах. Во главе находился «правитель дел» Н. М. Ремизов, брат писателя, найденовский племянник, о котором я уже говорил. Должность свою он занимал с «найденовских времен»; впрочем не он один, почти весь состав был с того же времени, да и самое здание было выстроено при том же председателе. Н. М. Ремизов был очень тихий человек, но очень требовательный. Он до мельчайших подробностей знал делопроизводство, обладал отличной памятью и был ценным сотрудником. На него всегда можно было полностью положиться и быть уверенным, что он сделает так, как нужно.

Затем шли три секретаря: В. И. Мосальский, А. Г. Михайловский и С. А. Иверонов. Собственно говоря, это были не секретари, а чиновники особых поручений. Они занимались разработкой поручаемых им особо крупных вопросов, составляли проект доклада, устанавливали окончательную редакцию и подбирали материалы, которые отправляли в министерство. Если вопрос проходил через особую комиссию, или совещание, то в таковых они секретарствовали.

В. И. Мосальский был серьезный и талантливый экономист, ученик А. И. Чупрова, и мог претендовать на гораздо более видную карьеру, чем секретарство в Биржевом комитете, но какие-то семейные условия и свойство русской души помешали ему в жизни. Правда, Коновалов, при Временном Правительстве, пригласил его в Петроград, на какой-то высокий пост по министерству торговли, но это было уже совсем не то. Все главные доклады проходили через него. Думаю, что за редкими исключениями они бывали удачны.

Главной его специальностью было писать тексты речей, которым надлежало быть произнесенными разными лицами от имени Московской биржи. Некоторые не хотели себя утруждать, другие знали, что с этим делом не справятся. Мне он также два раза приготовил текст моих выступлений и оба раза прекрасно.

Один раз это было по случаю приезда, во время войны, итальянской делегации, во главе с маркизом де ла Торретта. Представительство свалилось на меня. Третьяков «дипломатически заболел», я не знал, что сказать, а времени не было. (Я учился (и не выучился) итальянскому языку у помощника итальянского Консула в Москве, Сесса. Переводил

Пушкина на итальянский язык.)

Мосальский написал короткую, но красивую речь. Ее отлично перевел известный русский знаток Италии и Данте, который тогда работал «волонтером» в одном из отделов Союза городов, — почему я и смог к нему обратиться. Я успел вызубрить речь, и она имела немалый успех.

Другой раз это была речь, которую я, как глава делегации Биржевого комитета, должен был сказать в особом совещании министерства финансов, под председательством Барка, по вопросу о введении налога на пряжу. Вопрос в комитете рассматривался в комиссии, под моим председательством и при секретаре Мосальском. Естественно, что он подготовил — и сделал это «по первому классу» — мое выступление.

А. Г. Михайловский был братом известного, а потом, кажется, знаменитого, В. Г. Михайловского, — статистика, служившего в Московской городской управе. Братья были очень похожи друг на друга, но, в силу какой-то семейной истории, между собой не разговаривали, что, конечно, не мешало ни тому, ни другому быть прекрасными статистиками. Все вопросы, куда входила статистика, шли через Михайловского.

Наконец, — С. А. Иверонов. Он был крупным чиновником в отставке. Не припомню его специальности. Знаю, что он занимался пересмотром артельного законодательства. Он не был яркой фигурой на биржевом фоне.

Был еще Н. А. Куров, заведующий железнодорожным отделом, отец музыкального критика Н. Н. Курова, о котором так трогательно вспоминает К. А. Коровин. Куров был сослуживцем Г. А. Крестовникова по Курской железной дороге, когда будущий председатель Комитета служил в ее правлении. Куров занимался железнодорожными вопросами. Их было, разумеется, немало, в частности — в области тарифной политики. Но его работа происходила как-то обособленно. Он был необычайно важен, признавал авторитет только одного председателя, совсем не считался ни с Ремизовым, ни даже с Комитетом. Третьяков все собирался его «подтянуть», но дело это не вышло. Я слышал его раз в Петербурге, в Союзе Съездов, и должен сказать, что к его выступлениям специалисты весьма прислушивались.

Была еще библиотека, очень значительная, сособранная Н. А. Найденовым. Там были ценнейшие вещи из группы «Россика» и Найденовские издания. К моему стыду и сожалению, я это книгохранилище знаю плохо. Время было неподходящее, — война. Ремизов знал его очень хорошо, не раз укоряя меня за нерадение в этой области, говоря, что для библиотеки нужны реформы и кредит. Собирался этим заняться, но не успел.

Биржевой комитет, в отличие от современных организаций, весьма мало что печатал, поэтому никакого особого отдела «публикаций» не было. Некоторые доклады и записки, конечно, изготовлялись в печатном виде; в таких случаях подготовка и выполнение ложились на правителя дел.

Всю деятельность Биржевого комитета можно разделить на три различных категории: во-первых, биржевая, в полном смысле слова, деятельность — котировка и сделки через посредство биржевых маклеров; во-вторых, выполнение обязанностей, законом возложенных на биржевые комитеты — надзор за биржевыми артелями и дела о несостоятельностях; и, наконец, в-третьих, — общие вопросы хозяйственной жизни и представительство.

Первая область деятельности, специфически биржевая, выполнялась, можно сказать, автоматически. Во главе отдела котировок стоял гоф-маклер Эраст Яковлевич Цоппи, обрусевший итальянец, хорошо знавший свое дело. Не припомню, чтобы Комитет во что-либо вмешивался. Наоборот, по уставу, гоф-маклер сидел в Комитете на правах его члена. Цоппи никогда не приглашали. Он очень обижался и, при каждой перемене состава, настаивал на своих правах, но все оставалось по-старому.

Биржевые сделки через маклеров тоже не требовали каждодневного надзора. Биржевой комитет выбирал маклеров, заверял маклерские книги и имел надзор за тем, что в них записывалось, но проверки были редки: знали людей и считали, что это не нужно.

Маклеров было очень много, — также двух категорий: фондовые и по учету, и текстильные. Последних больше всего по хлопку и по пряже. Маклер — фигура вне времени и пространства. Везде и всегда тип маклера, более или менее, один: приятный собеседник, балагур, хороший застольный компаньон и вообще человек, общение с коим доставляет удовольствие.

Были в Москве фигуры легендарные, как, например, Николай Никифорович Дунаев, Иона Дмитриевич Ершов, Алексей Николаевич Постников, Иван Алексеевич Моргунов, — и сколько их было… Существовали и полуоффициальные, которых звали «зайцами».

Биржевые артели представляли своего рода особенность русской торгово-промышленной жизни. Это были группировки лиц, связанных между собой круговой порукой, с ответственностью за возможные убытки при отправлении их профессиональной деятельности. Все кассиры, исполнители денежных поручений, хранители товарных складов и т. п. — были, обычно, артельщики и за их действия артель отвечала

материально. В амбарах кассу и товары артель брала «на страх» и отвечала за целость. Она могла отвечать за убытки, потому что обладала артельным капиталом, часто весьма значительным, составлявшимся из вклада артельщиков, вносивших артельные паи.

Все артельное делопроизводство находилось под надзором комитета, и артельные договоры, как и другие документы, скреплялись подписью комитета. Это требовало огромного количества подписей и постоянного присутствия, особенно в конце года, когда происходило возобновление договоров.

Дела о несостоятельности сводились, по преимуществу, к вопросу о допущении «администрацией» для той или иной крупной фирмы. По старым русским законам, фирма, испытавшая затруднения в платежах, собирала своих кредиторов, как говорили, «на чашку чая»; они и решали, нужно ли, сделав со своих претензий скидку, назначить «администрацию», т. е. выбрать из своей среды группу лиц, коим и поручить управление предприятием, либо сразу обратить в конкурс, т. е. назначить ликвидационную комиссию.

Однако, решение кредиторов не было окончательным и подлежало утверждению Биржевого комитета. С конкурсом осложнений не было, и предоставление администрации требовал ход процедуры. Биржевой комитет должен был подвергнуть дело своему рассмотрению и, если он находил возможным допустить администрацию, то по закону он обязан был собрать, под председательством старшин комитета, особое совещание, как гласил закон, из шести торгующих при бирже купцов, для окончательного решения этого дела.

Канцелярская подготовка находилась в руках Ремизова и делопроизводство было на большой высоте. Оно было и в моем ведении, как члена комитета, и должен сказать, что эта область работы была одной из самых интересных. Последней администрацией, которую мне пришлось проводить, была по делу мельничной строительной фирмы Эргонгер.

Не нужно думать однако, что все сводилось к задаче ставить своего рода штемпель на рутинное производство. Незадолго перед войной, когда в хлопчатобумажной отрасли обнаружился глубокий кризис в деле продажи, начались крупные неплатежи и, на почве их и злоупотреблений, стали «выворачивать шубу» не только те, кто не мог платить, но и те, кто хотел нажиться на скидках.

Против этого началась борьба, во главе которой встал известный фабрикант Н. Д. Морозов. Когда обсуждалось допущение администрации по делу одного из крупных

московских «скупщиков», П. В. Ф….ва, и все, казалось, протекало для фирмы благополучно, в совещании Морозов, с необычайной резкостью, обрушился на попытки использовать кризис в деле наживы и, в результате предприятие было обращено в конкурс. Это решение очень сильно способствовало оздоровлению рынка.

Что касается третьей группы — общего хозяйственного вопроса и представительства — это выполнялось самим Биржевым комитетом, при том или ином соучастии собрания выборных. Здесь картина была совсем иная: не было никакой планомерности, не было заранее установленной программы, и вся деятельность носила случайный характер. Редко бывали проявления собственной инициативы, но по большей части — «отзывы», «замечания», «поправки», но реже — «переработки» представленного проекта.

В прежнее время, до начала японской войны, — никто и не по- мышлял об обсуждении вопросов, так или иначе связанных с политикой. Правда, непосредственного надзора за деятельностью биржевых организаций не было, но тот, кто нес на себе всю тяжесть работы, ни на какую конспирацию не шел и не пошел бы. И не потому что все были так уж законопослушны — и в промышленности, и в торговле всегда был какой-то элемент фронды, — но не хотели рисковать и боялись за целость организации. Да, по правде говоря, мало кто был готов к разработке вопросов самого общего порядка. Поэтому говорили о торговых палатах, о тарифной политике, о регулировании сахарной промышленности, о пересмотре положения о промысловом налоге, но не ставили вопросов о том, что нужно для развития производительных сил страны и роста русского народного хозяйства. Не ставили отчасти и потому, что ответ знали заранее: нужно изменить общие условия русской жизни — и политической, и социальной.

Может, конечно, явиться мысль, что общие вопросы не ставились потому, что состав был «правый» и слишком «благомыслящий». Это не совсем так. Разумеется, Найденов левым не был, но никогда в нем не было и зачатка черносотенства. Он был лидером и на бирже, и в купеческом обществе, и в городском управлении. В городе известный элемент фронды появился еще со времен Б. И. Чичерина и его вынужденной отставки, как городского головы, т. е. с самого начала царствования Александра III. На бирже и в Купеческой управе фронда начинается с выступления на общественную арену Саввы Тимофеевича Морозова, то есть с начала девяностых годов. Все это имело место задолго до революции 1905 года. А Найденов досидел во всяком случае, на бирже, до самого конца русски

японской войны.

Условия жизни того времени создавали своего рода порочный круг: политическая обстановка не давала возможности ставить вопросы, обсуждение коих способствовало бы развитию группировок и классового сознания, а отсутствие такового позволяло мириться с условиями тогдашней жизни. Как бы то ни было, вся масса московского купечества не была ни классом с осознанной психологией, ни даже профессиональной группой единомыслящей и сплоченной.

Чтобы закончить это короткое описание Московской биржи, мне остается сказать еще несколько слов о действовавших там лицах, — конечно, о персонажах главных, влиявших на ход ее жизни. О многих, самых замечательных, я уже говорил: о Н. А. Найденове, о Г. А. Крестовникове, о П. П. Рябушинском, но о других еще ничего не сказано, а их нельзя не вспомнить. Из таковых, на первом месте, и далеко впереди всех, — С. Н. Третьяков.

Он происходил из одной из почетнейших московских «династий», одной из самых старых и наиболее известных. С. Н. приходился, по прямой линии, внуком Сергею Михайловичу Третьякову, бывшему Московскому городскому голове. Их семье принадлежала одна из крупнейших льняных мануфактур — Новая Костромская, и большие земельные владения в городе Москве. Ими были созданы многочисленные благотворительные учреждения, носившие их имя. Этим именем была названа одна из московских улиц.,

Отец С. Н., Николай Сергеевич, — единственный сын Сергея Михайловича. Мать его была урожденная Дункер, из семьи московских немцев. Отец его умер рано. С матерью отношения не были очень близкими. Атмосфера в доме была нелегкая, и он не любил вспоминать и говорить о своем детстве. У него был брат и три сестры. Кроме одной из сестер, все были больные и неуравновешенные люди.

С. Н. был женат на Наталии Саввовне Мамонтовой, вышедшей из одной из известнейших московских династий. Женился он рано. Семейная жизнь его сложилась неудачно, что сильно на нем сказалось. Он часто жаловался на свою судьбу и на домашнюю жизнь, но тянул лямку, так как очень любил своих детей — двух дочерей и сына. Всегда говорил о них с волнением и чувством отцовской гордости. Они отвечали ему тем же, но все знали, что в семье два лагеря.

С очень молодого возраста Сергей Николаевич оказался во главе своего дела. Отец его умер, а в семье его другого деда, Павла Михайловича, не было мужского потомства, способного

участвовать в руководстве фабрикой. Сын Павла Михайловича был больной. Семья же Коншиных отстала от активного руководства. Да и сам С. Н. не был хозяином своей мануфактуры: большинство паев принадлежало его матери. Но руководить делом и выступать от имени фирмы он мог, и делал это с большим авторитетом. Дело свое он знал, любил и очень им гордился.

В общественной жизни Москвы он принимал участие тоже с самых молодых лет. На Московской бирже он быстро занял одно из первых мест. Был одно время гласным думы, членом попечительного совета Третьяковской Галлереи. Отовсюду ушел сам и не ставил, впоследствии, своей кандидатуры. Он был основателем и бессменным председателем Всероссийского общества льнопромышленников и, несомненно, одним из главных авторитетов в России по льняному делу, участвуя во всех общероссийских торгово-промышленных организациях, в частности в Совете Съездов представителей промышленности и торговли. Он всегда был в самом первом ряду в деле представительства" Московского промышленного района, что особенно показательно, принимая во внимание, что он был «льнянщик», а не «хлопчатобумажник».

Был он неврастеником, человеком неуравновешенным, с большим надрывом. Ему были свойственны и высокий полет и глубокое падение. На него трудно было положиться; иногда, в отдельные моменты общественной работы, он вдруг оказывался «не в форме», а подчас и просто объявлял себя больным.

Несмотря на его полунемецкое происхождение, в нем совершенно отсутствовала внутренняя дисциплина. В дни юности он, несомненно, был «ищущим», отдав дань «толстовству» и «опрощенству». Потом все это прошло и его характерными чертами стали болезненное честолюбие и невероятное самолюбие.

Не знаю почему, он не имел высшего образования. В университете он был, но его не окончил. Об этом он также не любил говорить. Но он много работал сам и с лихвой возместил отсутствие университетского диплома.

У него была очень красивая внешность, своеобразная «порода» старой московской семьи. Держался он самоуверенно, гордо, хорошо одевался и на сравнительно сером фоне московской биржи представлял заметную фигуру. Он прекрасно говорил — опять-таки с надрывом, — умело владел голосом и обладал отличной дикцией. Но он редко сам составлял свои речи, и на его выступлениях часто не было ни души. Он умел быть увлекательным в частной беседе, умел действовать на

собеседника, но у него был неприятный смех, и это расхолаживало.

Было у него еще одно свойство, которое, по обычному в Москве толкованию, служило признаком того, что он человек недобрый и неблагорасположенный: он очень неприятно играл в карты. Вообще его избегали брать в компанию и, как человека не компанейского, не очень любили в светской жизни купеческой Москвы.

Со своими сотрудниками и даже с сослуживцами, он держался гордо, порою надменно. Он им импонировал, но и в этой среде его недолюбливали, зная его самопреклонение и уверенность в том, что он не такой, как все, что ему судьба должна покровительствовать и что ему надлежит занимать «под солнцем» такое место, где он будет ярко освещен его лучами.

Александр Иванович Коновалов займет, конечно, видное место в истории русской общественности, по своей роли и во Временном Правительстве, и в Государственной Думе, и в Центральном военно-промышленном комитете, но его общественная подготовка пригодилась на Московской бирже. А. И. не имел высшего образования, учился в Катковском лицее, которого не окончил. Диплом среднего образования, во всяком случае, у него был, так как шла речь о его выборе в Государственный Совет, а это было необходимым цензом.

В дальнейшем, однако, А. И. настолько восполнил свои познания, что стал одним из наилучших знатоков и экономики, и русского народного хозяйства в частности. Кроме того, он был отличный музыкант, — ученик, если не ошибаюсь, А. И. Зилоти.

Его успеху в области экономики немало помогла его работа в Биржевом комитете. Начал он ее еще при Найденове, но при Крестовникове занял одно из первых мест и некоторое время был заместителем председателя. Ему принадлежит разработка одного из самых основных организационных вопросов в области промышленности и торговли «Желательная организация Торгово-промышленных палат», явившаяся результатом длительной разработки этой проблемы в особой комиссии, где он был председателем, а В. И. Мосальский секретарем. Вопрос остался неразрешенным, и труды пропали даром, но в подготовке будущего законопроекта Коноваловский материал занимал руководящее место.

Мне лично пришлось очень немного работать с А. И. по Биржевому комитету: в мое время его уже не было; мы больше встречались в Коммерческом институте, где он был ближайшим помощником А. С. Вишнякова. У него был некоторый перерыв в общественной работе, как раз, когда моя работа начиналась. Было

что то неладное у него со здоровьем, говорили — чуть ли не туберкулез, но потом все обошлось. Все-таки произошел перерыв, года в два. А когда он вернулся к общественной жизни, то был выбран в Государственную Думу, и начался петербургский период его деятельности. Правда, он всегда оставался выборным биржевого общества.

Александр Николаевич Найденов был, в известной мере, противоположностью своему знаменитому отцу:

в нем не было ни блеска, ни яркости, ни «огненности», о которой говорит В. П. Рябушинский. Зато это был человек работы систематической, может быть, рутинной, незаметной для внешнего глаза и неблагодарной, но той работы, на которой держится жизнь каждого учреждения.

Все свое время он делил между Торговым банком, где был председателем правления, и Биржевым комитетом, куда приходил после банка и где выполнял всю текущую, скучную, никого не соблазнявшую работу. Мы были с ним в очень добрых отношениях (я был членом Совета Торгового банка), и он просил меня замещать его в будничной работе Комитета, что я охотно делал.

Во время моего участия в Комитете А. Н. был старшим заместителем председателя, и на его обязанности было, в отсутствии Рябушинского, председательствовать.

Николай Давыдович Морозов был подлинно душой всей деятельности Биржевого комитета за последние 10–15 лет. Это был довольно своеобразный человек, являвший сочетание старой старообрядческой косности и углубленной, западной, вернее английской культуры. В Англии он долго жил, учился фабричному искусству, сохранил с этой страной тесную связь, любил все английское и считался англичанином. Редко когда он занимал какое-либо крупное общественное место, но это не мешало ему, будучи рядовым выборным, решающим образом влиять на ход дел. Я упоминал уже о его борьбе против «неплательщиков».

Он был моим соседом по имению. В 1911 году он купил Льялово, имение Белосельских-Белозерских, где были истоки реки Клязьмы. Он выстроил там весьма парадный дом в английском стиле, напоминавший резиденцию какого-нибудь крупного английского помещика. Его владение стало губернской достопримечательностью.

После революции он жил в Америке, где и скончался.

Московское купеческое общество было гораздо старше биржевого, как организация. В 1913 году оно справляло столетие своего существования, то есть возникло оно сейчас же после

Отечественной войны. За свое вековое существование оно сильно утратило свое значение, можно сказать, сошло почти на нет. Весь его былой авторитет перешел на биржу. Но помимо управления огромными благотворительными учреждениями, бывшими в его ведении, оно продолжало ведать основными делами купечества.

Строение было довольно похоже на биржу. Все записанные в гильдии — первую и вторую — избирали выборных купеческого сословия; последние собирались в собрания выборных и выбирали старшину купеческого сословия, его заместителя, кандидатов на пост двух членов купеческой управы и заседателя.

Все это составляло Купеческую управу в широком смысле слова, которая и ведала делами московского купечества, как сословия. Фактически все находилось в руках правителя дел.

Старшиной купеческого сословия в течение долгого ряда лет до революции был Сергей Александрович Булочкин, профессионал этого дела. Он только им и занимался. Он был купец, происходил из старинного купечества, но не торговал, и я не знаю, принадлежал ли он к какой-либо фирме и был ли он где-либо председателем правления. Булочкиных было несколько братьев, обладавших небольшими, но достаточными для жизни средствами. С. А. был с университетским образованием но очень бесцветный, малозаметный человек, не обладавший ни даром слова, ни другими, какими-либо качествами, кроме большой работоспособности и добросовестности.

Не помню, получал ли он содержание, но за должность свою очень держался. Им были недовольны, часто говорили, что нужно выбрать нового старшину, в свое время большая группа просила моего отца поставить свой ящик, но в конце концов С. А. не трогали, и он оставался бессменным старшиной. Не могу сказать, насколько можно было вообще поправить дело Купеческой управы.

В состав Управы не входил ни один крупный деятель биржи. Кое-кто был в собрании выборных, но и только. Сравнительно мало было промышленников, — больше торговцев. Был кожевенник И. М. Желоб-кин; меховой торговец Рогаткин-Ежиков, которого хорошо знали, потому что у него была жена очень красивая, прекрасно одевавшаяся и посещавшая все «первые представления» в театрах; был торговец галантереей К. М. Лобов. Был шерстяной фабрикант А. П. Каверин, дядя моей жены; был Н. А. Колчанов, которому принадлежали в Охотном Ряду лучшие рыбные лавки, очень ценившиеся московскими гурманами.

Мой отец долго был членом Управы, — еще в конце 90-ых годов. Потом был кандидатом в старшины сословия, но этот пост его не интересовал и, в отличие от других, он говорил, что

Булочкин не так уж плох.

Главным действующим лицом в Купеческой управе был Алексей Михайлович Полянский. Бывший чиновник губернского правления, уже очень немолодой, но живой, энергичный и приветливый человек, он был, с давних пор гласным думы, знал всех и вся, и те, кто имел какую-либо надобность до Купеческой управы, обращались к нему. Делопроизводство у него было в полном порядке и рутинная работа в управе шла без затруднений.

По инициативе Полянского Купеческая управа, входившая, как и Биржевой комитет, в состав Совета Съездов в Петербурге, имела там своего постоянного представителя в лице С. С. Новоселова. Последний входил в число членов Совета и комиссии съездов, и был иногда очень полезен тем, кто имел дело в Петербурге, в связи с Советом Съездов. У Биржевого комитета, который старался держаться дальше, такого представителя не было, и Новоселов обслуживал не только управу, но всех, кого направлял к нему Полянский. Это было очень кстати, но поднимало престиж не столько Управы, сколько Полянского.

Принадлежность к купечеству не переходила по наследству. Я был «купеческий сын», что юридически не имело никакого значения, так как мы были «потомственные почетные граждане». Чтобы сохранить связь нашей семьи с купечеством, я должен был, после смерти отца, «записаться» как бы вновь в купеческое сословие. Это отнюдь не было для меня обязательным, с точки зрения нашего дела: наша фирма была паевым товариществом, и ни мой отец, после создания товарищества, ни я после него, не «торговали». Некоторое время я колебался, в семье кое-кто меня отговаривал, но, в конце концов, я все-таки решил вопрос в положительную сторону и стал «Московским второй гильдии купцом». Одним из главных оснований моего решения были «Найденовские материалы» по истории московского купечества и история старой Москвы, с ее купечеством, весьма меня интересовала; я начинал кое-какие работы в этом направлении, но война, к сожалению, помешала.

В 1913 году были выбраны выборные купеческого общества, и я сразу оказался в их числе. Нужно сказать, что я очень скоро почувствовал разницу между «Комитетом» и управой.

Насколько в первом жизнь била ключом, настолько в управе была мертвечина. Собрания бывали очень редко, довольно плохо посещались, Булочкин нудно председательствовал, мало кто из выступавших обладал даром слова, а главное — обсуждавшиеся вопросы не представляли общего интереса; помимо нескольких «сословных» дел, занимались вопросами, связанными с управлением крупными благотворительными организациями,

выборами и ассигновкой на ремонт. Такое чувство было не у одного меня, но мнения делились: одни думали, что купеческое общество вообще себя изжило и нужно его ликвидировать, другие полагали, что можно его сохранить, сделав какие-то преобразования. Война сняла все эти вопросы с очереди.

Совершенно иной характер носило Общество заводчиков и фабрикантов Московского района. Эта организация появилась после событий 1905 года и носила резко подчеркнутый профессиональный характер. Целью ее была защита интересов промышленности и торговли, с одной стороны — против Правительства, с другой — против рабочих. Во главе общества стояли Юлий Петрович Гужон, очень образованный француз, крупный металлургический заводчик, человек европейской складки, сильно обрусевший, энергичный.

Он был прежде всего и только промышленник, и общественной деятельностью занимался постольку, поскольку, при новых, складывающихся обстоятельствах, деятельность по защите профессиональных интересов становилась как бы одним из элементов производства.

Гужон оставался председателем все время существования общества и был его представителем в Совете Съездов промышленности и торговли в Петербурге.

Если Гужон был председателем, то был еще и вице-председатель, который значил не меньше, если не больше председателя, так как он свою эту роль сочетал, в сущности говоря, с управлением делами. Это был Юлиан Игнатьевич Поплавский, чрезвычайно оригинальная и колоритная фигура даже для Москвы того времени.

Поплавский был музыкант. Он окончил (и очень хорошо) Московскую Консерваторию, по классу фортепьяно, был одним из любимых учеников П. И. Чайковского, — во всяком случае, весьма ему близких, что видно по его воспоминаниям.

Почему он переменил музыкальную карьеру на торгово-промышленное представительство, сейчас не помню. Для этого были какие-то основания, вероятно, и материальная сторона играла немалую роль. Лично я музыкантом его не помню, много потом лишь слышал его играющим на рояле, но по обществу заводчиков и фабрикантов сталкивался с ним с первых же дней.

Поплавский был человек чрезвычайно одаренный, редко можно было встретить такую, как у него, легкость слова и легкость пера. Говорить он мог на любые темы, и самый серьезный сюжет трактовал иногда в легком тоне. Его манера говорить, а она соответствовала его манере одеваться, — очень раздражала многих, особенно людей старой складки, как

например, Г. А. Крестовникова, и Поплавского недолюбливали. Как говорили, его даже «не пускали на биржу»; фактически это было, видимо,

верно: его не приглашали, и это создавало своего рода конфликт между Обществом заводчиков и фабрикантов и Биржевым комитетом. Он выступал и в Петербуге, в Совете Съездов, куда он постоянно ездил, наравне с Гужоном, от своей организации.

Когда нужно было набросать какой-нибудь письменный документ, проект обращения, или резюме беседы, он был незаменим, делал это с величайшей легкостью и изяществом. Постепенно к его манерам привыкли, стали приглашать его на совещания при Биржевом комитете, в особенности, когда дело касалось рабочего вопроса, поскольку архаическая организация Биржевого Комитета стала отставать от времени, главным образом в отношении собирания материалов по текущей статистике и по всякого рода документам по рабочему вопросу. У Поплавского, на Мясницкой, где помещалась его канцелярия, дело было поставлено на широкую ногу, и Обществу удалось весьма быстро (оно существовало всего 12–13 лет) накопить ценный материал.

Наша фирма была чисто торговой, и в эту организацию мы не входили, но по другим делам я немало сталкивался с Поплавским, и его организацией, в частности по воинскому присутствию и по комитету по отсрочке военно- обязанным. Тут я убедился, что делопроизводство у них, действительно, хорошо поставлено, и всякого рода «ведомости» надлежаще составлены и хорошо документированы; когда же они посылали своего представителя О. Б. Гаркова, то он всегда оказывался ценным сотрудником.

Во время войны Общество заводчиков и фабрикантов прославилось в Москве защитой интересов Электрического общества 1886 года, с которым сражался город, желая «муниципализировать» это крупнейшее предприятие.

Я уже указывал на то, что немцы, после войны «с головой» выдали своих защитников, которые старались представить своих немецких хозяев швейцарцами.

Отмечу сейчас, что это дело упорно вел сам Поплавский, правда прикрывшись авторитетом Гужона. Это, несомненно, парадоксальное, положение еще больше изолировало Общество заводчиков и фабрикантов, и многие из его участников поддерживали с ним отношения только на узко профессиональной почве. Это, в свою очередь, явилось причиной того, что эта профессиональная группировка, которая могла бы

способствовать выявлению «буржуазного» самосознания в то время, когда этого было естественно ожидать, также не сыграла роли в этом направлении.

Нижегородский ярмарочный биржевой комитет не был, в собственном смысле слова, московской организацией, но московское влияние было там очень сильно, и неоднократно именно московский человек возглавлял «всероссийское торжище». Так было, когда председателем комитета пребывал Савва Тимофеевич Морозов, К. А. Ясюнинский и даже — скромный часовщик, П. М. Калашников.

Не буду подробно останавливаться здесь на том, что к началу века Макарьевская, как ее называли, ярмарка, уже утратила былое свое значение во всем русском народном хозяйстве и перестала быть всероссийской. Когда-то в ней происходил важный процесс, процесс экономический, всего народного хозяйства России, — переход товаров, потребляемых на огромной русской территории, как и на европейской и азиатской, от производителей или из первых рук, во вторые коммерческие руки, и в третьи, имеющие дело непосредственно с потребителем. На ней грандиозные пространства России, Европейской и Азиатской, запасались большей частью предметов своего потребления и оттуда они распределялись по всем местам торговым и промышленным. Поэтому в период своего наибольшего расцвета — шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия — Макарьевский торг являлся главным ежегодным регулятором между спросом и предложением, между производством и потреблением, всех, без изъятия, товаров.

Но если, стечением времени, вследствие развития путей сообщения, всероссийская роль ярмарки несколько убавилась, она все-таки сохраняла, благодаря окско-волжской водной системе, свое краевое значение для севера и юго-востока России и для Сибири. Руководящее же значение во внутреннем торговом обороте перешло к Москве. Выезд на ярмарку перестал быть обязательным, не осуществлялся более под руководством самих хозяев, в особенности в предприятиях промышленных, — и дело ярмарочного представительства стало приобретать иную внешность: московское влияние в нем ослабло, председатель перестал быть москвичом и состав выборных стал более серым.

В административном отношении ярмарочная территория представляла обособленную единицу, находившуюся в ведении Нижегородского губернатора, но не входившую в состав городской черты Нижнего Новгорода. Поэтому Комитету приходилось ведать не только вопросами руководства, ходом ярмарочной торговли, или торгово-промышленным

представительством, а в миниатюре быть как бы городским самоуправлением, со всеми, свойственными таковому функциями. Это требовало создания постоянного органа, ведающего ярмаркой, и ярмарочный комитет Нижегородский, в отличие от других ярмарок, был организацией, которая действовала круглый год. Собрания комитета происходили периодически, разница между ними и «ярмарочными» была в том, что они имели место в Купеческой управе, в Москве, а не в главном доме на ярмарке.

Отмечу еще, что, как это часто бывает с соседями, «ярмарка» постоянно воевала с городом. В последнее время это усиливалось личной неприязнью, существовавшей между председателем комитета А. С. Салазкиным и городским головой Д. В. Сироткиным.

В состав комитета мне пришлось вступить в том же 1912 году, когда исполнилось мое гражданское совершеннолетие. В октябре 1911 года умер Андрей Александрович Титов, мануфактурный торговец в Ростове-Ярославском, знаток русской старины и коллекционер. Он был «старшиной» ярмарочного комитета и, следовательно, с его смертью, открылась вакансия. Выборы имели место во время ярмарки 1912 года. Выбирали «уполномоченные» — представители отдельных торговых рядов. Уполномоченным я не был, но это и не требовалось. Достаточно было иметь ценз. Председатель, член Государственной Думы, А. С. Салазкин, с которым я был едва-едва знаком, предложил мне баллотироваться. Предполагалось, что на место «старшины» продвинут кого-либо из младших членов комитета, а я войду в состав комитета, как его член, но не старшина. На самом деле, оказалось, что меня сразу избрали старшиной, а тот нижегородец, который метил на это место, избран не был.

Во время войны наступил товарный голод, и ярмарка сразу сошла на нет. Замерла и деятельность комитета. В силу этого, мое участие в его работе было недолговременным. Состав был немногочисленный. Из участников, кроме председателя, который был очень толковый, культурный и знавший свое дело человек, помню его заместителя, крупного торговца металлическими изделиями, Сергея Дмитриевича Кон-дратова. Это была очень характерная, подлинно русская фигура, — человек с образованием, но оставшийся — и сознательно — членом той среды, из коей вышел. Был также К. П. Бахрушин, большой мой приятель, неизменно звавший к себе играть в «преферанс» после каждого заседания.

В деятельности комитета в то время главное место занимала подготовка столетнего юбилея, который должен был

праздноваться в 1917 году, а в деле подготовки центром являлось юбилейное издание, коим руководил А. А. Кизеветтер. Дело было задумано широко и обещало явиться ценным вкладом в историю русской экономики. Война многому помешала. В сущности, от него остался только ряд статей П. Остроумова, напечатанных уже за рубежом.

Отраслевые организации появились в Москве сравнительно очень поздно, только после событий 1905 года, когда вопрос о вертикальной и горизонтальной организации промышленности стал на очередь. Отраслевые группировки в металлургии, в угольном деле и в машиностроении существовали уже давно, когда впервые зашла речь об организации хлопчатобумажников.

Объясняется это тем, что Московский Биржевой комитет, в сущности говоря, и был организацией хлопчатобумажников. За хлопчатобумажниками последовали льнянщики и суконщики. Потом пришли остальные. Но особое значение имели лен и грубая шерсть. Обе эти организации — Третьяковы и Каштановы — быстро заняли заметное место. Есть мнение, что в своих отраслях эти группировки играли большую роль, чем хлопчатобумажный союз, среди тех, кого он объединял. Я думаю, что это так и было.

Общество хлопчатобумажных фабрикантов Московского района возникло примерно в 1906 году. Оно обединяло все ветви хлопчатобумажной промышленности, — и прядильщиков, и ткачей, и ситцевых фабрикантов, и работавших одежный товар. Все почти без исключения мало-мальски значительные фирмы входили в общий состав. Общество имело профессиональный, но не синдикальный характер, и вопросы цен, например, разрешались частными соглашениями, а не постановлениями совета общества.

Первоначально организационная связь была довольно слабой, но впоследствии, во время войны и, особенно, в эпоху февральской революции, — общество начало становиться подлинной отраслевой профессиональной группировкой.

Во главе Общества стоял Н. П. Рябушинский, как председатель, но фактически руководил совет, куда входили А. М. Неведомский, Л. Л. Рабенек, А. А. Ценкер, Ф. Г. Карнов и др. Управление делами было сначала у А. К. Витт, политехника-экономиста, служившего сначала в Куваевской мануфактуре, а после у В. Ф. Гефдинга. Последний являлся одним из выдающихся экономистов, хорошо знавших хлопчатобумажное дело.

К этим же отраслевым организациям принадлежало и Общество оптовых торговцев мануфактурой, которое мне, правда с некоторым трудом, удалось создать в 1915 году. Не знаю

почему, между московскими «скупщиками» никакой общности не было, разве что были друг с другом знакомы, да и то более домашним порядком, а не по деловым отношениям.

Совершенно не было в обычае обмениваться справками о кредитоспособности покупателя или иными деловыми сведениями. Считалось неуместным заходить в чужой амбар, даже к знакомым. Очевидно боялись, что таким путем можно было выведать какие-либо коммерческие тайны и создать «недобросовестную конкуренцию». Повидимому, это существовало издавна: об этом можно судить по воспоминаниям П. И. Щукина, который, много говоря о своих покупателях, совсем не упоминает о конкурентных фирмах, хотя многие из них, как например Грибовы, не только уже существовали, в описываемое им время, но и пользовались заслуженной известностью.

Так было не только в Москве, но и на Нижегородской ярмарке, и в провинции, например, в Харькове.

Положение несколько изменилось в начале войны 1914 года. Хотя никто не думал, что война будет продолжаться более четырех лет (ждали, что она окончится к Рождеству), но ряд принятых сразу мероприятий по стеснению торгового оборота произвел сильное впечатление, и появилась мысль, что прежняя разобщенность не соответствует моменту, и нужно периодически собираться, дабы обмениваться мнениями и сведениями о текущем положении. Это начинание встретило живой отклик среди заинтересованных лиц, и в «Славянском Базаре», в отдельном помещении стали устраивать регулярно, раз в неделю, завтраки. С. И. Щукин отнесся к этим завтракам с большим сочувствием и стал сам бывать на них, что предрешило их успех, настолько авторитет его был велик. Собиралась почти вся московская группа: Щукин, Решетниковы, Оконниковы, Болдырев, Дунаев, Пермяков, Талановы, Серебрянников, Ижболдин, Удалов-Вавилов и др. Грибовы заявили о своем «сочувствии», но бывать не бывали. Нашу фирму представлял я.

С течением времени стало ясно, что эти завтраки можно использовать, как базу для создания профессиональной организации: отраслевые группировки, правда, больше в промышленности, — росли, как грибы, и можно было попробовать пробить еще существовавшую деловую косность и создать одно из первых торговых объединений. Посетители «завтраков» решили легализироваться и поручили все хлопоты мне, как юристу «общественнику». Опять скажу, что большую роль сыграл С. И. Щукин, не только одобривший эту мысль, но обещавший свое полное содействие, которое потом и понадобилось. Устав составить было нетрудно, — по трафарету.

По его изготовлении я собрал у себя учредителей, и дело двинулось. Устав должен был быть утвержден министерством торговли и промышленности, куда мы и направили соответствующее ходатайство. Вскоре обнаружилось, что дело затягивается.

Это происходило весной 1915 года, в то время, когда были перевыборы в Биржевом обществе. После выборов я вступил в состав Биржевого комитета. Каково же было мое изумление, когда, в первые же дни, я обнаружил, что наше ходатайство об утверждении устава было прислано на заключение Биржевого Комитета (это было естественно) и что Комитет готовился дать отрицательный отзыв (это было ненормально, так как учредителей даже не запросили). Конечно, это был эпизод исконного противопоставления фабрикантов торговцам и удивляться не приходится. Разумеется, без особых затруднений, в новом составе Комитета, я добился благоприятного заключения, за каковым сейчас же последовало и министерское утверждение.

Общество было организовано. В нем удалось объединить многие крупнейшие фирмы по всей России. Кроме Московской группы, вошли: Второвы (Сибирь), Тарасовы (Северный Кавказ), Соколовы-Жмудские (Харьков), Котляревский (Одесса), Бажанов-Чувалдин (Петербург), Щетинкины (Казань), Шварцман (Киев), Понизовский (Москва-Харьков) и многие другие. Группа получилась очень внушительная. Я был избран председателем. Управляющим делами я пригласил, на первое время, А. К. Витта, который тогда управлял делами и у хлопчатобумажников. К сожалению, дело не удалось развернуть как бы следовало: наступил товарный голод, и торговые дела стали сходить на нет. Торговали мы за деньги и никакого особого вопроса не возникало.

К началу февральской революции уже существовал целый ряд отраслевых группировок, и почти все главнейшие отрасли промышленности и торговли Московского района были организованы. Помимо упоминавшегося мною Общества фабрикантов хлопчатобумажной промышленности, объединявшего все ветви этой отрасли производства, было еще Общество суконных фабрикантов, во главе с Каштановым; льнопромышленное, с председателем Третьяковым; шелковщики группировались около Щенковых; были кожевенные заводчики с их председателем Новоселовым; аппретурщики во главе с Чернышевым, и наша, «скупная» организация. В последнее время появилось еще объединение цементных заводчиков и некоторые более мелкие торговые группировки, например, Союз торговцев обувью и др. Были, конечно, и отделения всероссийского

синдикаты — Продамета, Продуголя, Кровли и др. Но эти отделения носили, так сказать, «деловой» характер, а не представительный, который осуществлялся их руководящими органами.

Добавлю еще, что объединение московских банков стало регулярно собираться только после февральской революции.

Для некоторой характеристики настроений в этого рода промышленных группировках приведу довольно яркий анекдотический эпизод того времени: в одной из организаций должны были произойти выборы одного ответственного представителя.

Было два кандидата, и хотели сговориться, а не решать большинством голосов. Один из кандидатов был промышленник, занятый исключительно своим делом, хорошо знавший свою отрасль, но человек не яркий и не обладавший даром слова. Другой был полной ему противоположностью: он больше занимался общественной деятельностью, складно говорил и был в больших чинах: имел «действительного статского» и любил, когда его называли «генералом», на что, конечно, имел право. Ему не очень симпатизировали, и большая группа участников собрания хотела его провалить. Один из этой группы попросил слова, — против его кандидатуры. «Я напомню вам, — начал он, — один исторический эпизод.

Сначала он покажется вам к делу не идущим, но потом вы увидите, в чем суть. Когда Петр Великий проезжал по дороге в Крым, через Донецкий бассейн, то ему показали угольный пласт, выходящий наружу. В то время каменный уголь еще не эксплоатировался, и мало кто понимал его значение и пользу. Тем не менее, великий преобразователь России произнес, увидев угольный пласт, следующие пророческие слова: «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет». А я скажу, — продолжал оратор, — что сей генерал, ни нам, ни потомкам нашим, и вообще никому и ни на что полезен не будет».

Вопрос был разрешен без дальнейших прений…

К этой теме купеческого «инобесия» я постоянно возвращаюсь, потому что считаю ее чрезвычайно важной для выяснения общих настроений, царивших среди московского купечества. Для меня несомненно, что тяга в дворянство в сильной степени мешала «классовому» осознанию торгово-промышленной массы. «Облагороженный» элемент купечества был элементом непрочным и, пользуясь терминами Кокорева, можно сказать, что генеральские дети не хотели оставаться у прилавка.

Из не-московских, а общероссийских промышленных объединений представители первопрестольной столицы входили в организацию Всероссийских Съездов представителей промышленности и торговли. Я говорил уже немало и об этой крупнейшей русской группировке и об истории ее образования, в частности о том, что, когда, после 1905 года, стал на очередь вопрос о необходимости объединить торговлю и промышленность в обще имперском масштабе, то Москва этой задачи не выполнила. Не важно, хотела она или не хотела, сумела, или не сумела, — важно, что этот вопрос был разрешен в Петербурге и Петербургом, и

к тому же при весьма скромном участии представителей московских группировок.

Правда, впоследствии москвичи были и на съездах, и в составе руководящих органов, но по существу положение оставалось прежним: Москва, если официально не была вне общероссийского объединения, то, по существу, почти никакого участия в его жизни не принимала и, даже более того, почти не интересовалась его существованием. Все это относится, конечно, прежде всего к Биржевому комитету.

Трудно сказать, является эта рознь между петербургскими и московскими группировками лишь проявлением обычного спора между северной и первопрестольной столицами, или, наоборот, были какие-либо особые внутренние причины, которые вызывали несогласие между двумя промышленными центрами, между двумя методами общественной и промышленной работы. Вероятно, было и то, и другое, но, как бы то ни было, их отношения нельзя назвать хорошими. И нужно быть справедливым: со стороны московских деятелей, враждебность чувствовалась сильнее.

Нельзя сказать, что в Петербурге были лишь «чиновники», а в Москве «хозяева»: в Совете Съездов, среди главных руководителей, был ряд «хозяев», в подлинном, московском смысле этого слова. Таковыми были: П. О. Гукасов и гр. А. А. Бобринский и даже, в известном смысле, С. Г. Лианозов. Но на них всех был другой отпечаток, — откровенно говоря, отпечаток этот был в сильной степени «европейский».

Постоянно бывая на съездах, я довольно быстро ознакомился с обстановкой и завязал много личных «добрых отношений». Видимо, в Петербурге пригляделись и ко мне, и не удивлялись моей усидчивости, а другие, — те, кому нужно было бывать «по должности», бывали не всегда: не очень-то любили москвичи ездить в Петербург.

Нельзя сказать, чтобы эта рознь между Москвой и

Петербургом не вызывала у некоторых стремления найти какое-то согласование, найти общий язык и устранить вредные трения. И опять-таки приходится сказать, что это течение шло с севера, а не из Москвы;

в Первопрестольной оно встречало мало откликов. В Петербурге был ряд лиц, стремившихся создать какое-то единство, справедливо осуждая эту мало обоснованную московскую подозрительность и даже враждебность. В борьбе с этим явлением они всегда старались использовать и привести в свою веру тех отдельных москвичей, которые появлялись на съездах. В числе этих лиц одно из самых первых мест занимал С. Г. Лианозов.

Уже в то время он имел крупную позицию в русской нефтяной промышленности: он был председателем русско-английской нефтяной корпорации и единственным, чьи акции котировались на парижской бирже. Лианозовское нефтяное предприятие было одно из самых старых в России.

На первый взгляд С. Г. был мало заметен: невысокого роста, может быть, несколько даже застенчивый, говоривший просто, без «ораторского красноречия». Но за этим скрывалось знание дела, большая ясность ума и необычайное умение подойти к собеседнику. Источником этого умения была благожелательность, с которой он вообще относился к людям и которая располагала к нему тех, с кем ему приходилось общаться.

Я говорил уже, что С. Г. считал себя, в известной степени, москвичом и имел, конечно, к тому основание. Во всяком случае, ему «сам Бог велел» явиться одним из связующих звеньев между воюющими сторонами, и эта роль ему удавалась. Мы быстро с ним сблизились;

он всегда очень ценил отсутствие предвзятой враждебности.

Тех же примерно настроений был и Павел Андреевич Тикстон, один из выдающихся деятелей и в Совете Съездов, и вообще в русской организованной промышленности. П. А. играл заметную роль: в то время он был руководителем синдиката «Продамета» (продажа металлов с южных заводов).

По происхождению он был англичанин, и это очень на нем сказывалось. В своем некрологе Н. А. Тэффи назвала его «первый русский джентльмен». Не знаю, был ли он первым, но джентльменом, несомненно, был. И это его какое-то внутреннее благородство весьма на всех действовало. Он никак не мог признать целесообразности войны «на пустом месте». Обладая большой силой убеждения, именно своей непредвзятостью, он обычно говорил: «Может быть, вы и правы, тогда убедите меня в этом. Но если вы этого не сумеете, то не мешайте мне вас

убедить», — и часто последнее ему удавалось. Во всех попытках сближения противников П. А. всегда был одним из первых.

Таким же был и граф Андрей Александрович Бобринский — одна из замечательнейших фигур на фоне Совета Съездов. Конечно, А. А. был человеком другого мира, другого прошлого, других традиций, но в Совете Съездов, где он занимал место товарища председателя, он был своим человеком, как давний председатель Всероссийского общества сахарозаводчиков. Это был человек тонкой и глубокой культуры и редкой внутренней чистоты и светлости, — подлинный старый русский барин, в лучшем смысле этого слова. Мало кто пользовался таким единодушным уважением. Разумеется, и он был на стороне тех, кто «воевать» с Москвой не собирался.

К этой группе надо еще причислить инженера Дмитрия Петровича Кандаурова, — отца русского консула в Париже. Это был человек старой складки, вне всяких споров и разногласий, державшийся со всеми доброжелательно, в особенности как старший к младшим. Мне он очень помог быстрее освоиться с петербургским климатом.

Не буду останавливаться на тех, кто хотел походом идти против Москвы и всего московского. Во-первых, это был П. О. Гукасов, человек очень важный, загадочный и мало доброжелательный; во-вторых, инженер Н. И. Изнар, который не выносил Москву за ее «политику».

Говоря о деятелях Совета Съездов, не могу обойти молчанием еще одну выдающуюся фигуру — В. В. Жуковского. Вряд ли помнят его в современной Польше, но было бы слишком несправедливым, если бы его имя оказалось совсем забытым.

Владислав Владиславович Жуковский был инженер, участник целого ряда правлений русских и польских металлургических обществ, в частности — крупнейшего общества Брянских заводов в Екатериносла-ве. Кроме того, он был членом Государственной Думы, где председательствовал в группе «Польское Коло». Это был прирожденный общественный деятель, всесторонне образованный, с европейским кругозором. Он хорошо говорил, безукоризненно председательствовал, отлично владел пером и мог, с большим искусством, организовать коллективную работу. Известное издание Съездов, — «Промышленность и торговля в законодательных учреждениях», многим ему обязано. Не было вопроса, проходившего через Совет Съездов, где бы не чувствовалось, что он по этому поводу думает, и он сразу находил ту линию, по которой дело должно было следовать далее.

В личном обращении это был образец (как и подобает сыну Речи Посполитой) европейской вежливости. Для его

характеристики приведу один эпизод, вызвавший, в свое время не мало смеха, касающийся также отношений Москвы и Петербурга.

Был один съезд, на котором предстояло председательствовать Г. А. Крестовникову. По крайней мере, так решили в Петербурге и направили в Москву соответствующие приглашения. Все было сделано, как подобает, но отклик Москвы (не в первый раз) оказался отрицательным.

В чем было дело, не помню. Вероятно и не знал, так как в то время еще не был посвящен „в „секреты богов“. Как бы то ни было, Крестовников отказался, сославшись на болезнь жены, — ссылка не- убедительная, так как Юлия Тимофеевна Крестовникова вообще была женщина болезненная. Но Г. А. не только не поехал сам: на этом Съезде Москва была вообще представлена очень слабо, и не звездами первой величины.

Я был на этом съезде (совещательным членом). Нельзя было не заметить, что петербуржцы затаили обиду, но к тем немногим москвичам, которые явились, — любезность была изысканная. На съезде председательствовал председатель Совета горных инженеров, член Государственного Совета Н. С. Авдаков, один из возглавителей южных горнопромышленников. Все шло надлежащим порядком и съезд благополучно приблизился к концу.

Обычно, в последний день съезда, устраивался банкет. Было так и на этот раз. Народу было много, — все больше петербуржцы. Из москвичей, помню, был еще Савва Ник. Мамонтов так же, как и я, «совещательный». Это обстоятельство не помешало посадить нас на очень почетные места. За банкетом, как полагается, были тосты; один из них — за приглашенного, но не приехавшего Г. А. Крестовникова. Тост этот надлежало произнести В. В. Жуковскому. Он начал в довольно минорном тоне, говоря о том, как грустно узнать, что имеются больные в семье одного из видных участников организации; предложил выразить сочувствие и послать телеграмму. Потом, сразу изменив тон, сказал: «А все-таки, как хорошо, когда есть свой председатель: и сам-то он здоров, и жена у него здорова, и все у него здоровы, и сам он тут и, когда нужно, сидит и председательствует».

Речь имела шумный успех, а рядом со мной сидевший С. Г. Лианозов сказал мне: «Павел Афанасьевич, вы много меня моложе, но вряд ли когда услышите такую изящную и такую злую речь». С. Г. был прав: не довелось услышать.

Теперь я скажу несколько слов о том, как съезды были организованы. Я уже говорил, что члены делились на две категории: полноправное (т. е. организация) и совещательное

предприятия. На ежегодных съездах выбирался Совет Съездов, очень многочисленный, с тем, чтобы все районы и все отрасли промышленности были бы представлены. В Совете были представители и Московского Биржевого комитета, и Купеческой управы. Когда я стал старшиной Биржевого комитета, я также стал членом Совета Съездов. Совет избирал комитет, где, кроме выборных членов, были члены делегаты от крупнейших организаций. В комитете был также кто-то от Москвы, но никогда в выборах не участвовал. Наконец, был президиум из председателя Н. С. Авдакова, заместителя — Э. Л. Нобеля, П. С. Гукасова, А. А. Бобринского, И. И. Ясюковича; возможно, были и другие, но не припоминаю. Канцелярия съездов, которые назывались, по телеграфному адресу, «ассоциация», помещалась сначала «Невский, 100», а потом «Литейный, 46». Там же происходили и съезды.

Теперь мне осталось сказать об участии представителей промышленной и торговой Москвы в других общественных группировках. В сущности говоря, это сводится к работе купечества в Московской городской думе.

Я не буду касаться старого времени, дореформенного городового положения, когда деятельность в городском управлении сводилась только к хозяйственным вопросам и не имела общественного характера.

Конечно, в эту эпоху «купцы» доминировали в думе, уже тогда большинство домовладельцев были люди купеческого сословия, они же составляли огромное большинство гласных, а в городские головы, или в их товарищи, избирались большей частью представители «династий»: Третьяковы, Мазурины, Хлудовы, Алексеевы, Гучковы, Рукавишниковы, Куманины. Бывали, правда, исключения, но редко. Можно назвать только имена князя Черкасского и известного государствоведа и философа, Б. Н. Чичерина.

Согласно городовому положению 1892 года, Московская городская дума состояла из 160-ти гласных, к которым нужно было прибавить членов Управы, могущих в гласных и не состоять, но участвовавших в собраниях думы на правах гласных, всего, таким образом, бывало около 170-ти человек.

Гласных избирали преимущественно из числа домовладельцев. Имелось небольшое число арендаторов, которые должны были быть внесены в соответствующие списки. Избирательных участков было шесть.

Каждый имел свою определенную физиономию. Первый — Китай-Город и самый благоустроенный квартал — Тверская; второй — Замоскворечье; третий — Арбат и Пречистенка;

четвертый и пятый — среднее купечестве, и шестой — окраины и арендаторы, — самый «серый» участок. В каждом участке были свои избирательные кандидаты, руководившие выборами более или менее самостоятельно. Общий же надзор за всей выборной процедурой был сосредоточен в городской управе, в руках городского головы.

Я очень хорошо помню выборы 1904, 1908, 1912 и 1916 годов. В первые два срока был выбран мой отец, затем последовала моя очередь. Уже в 1904 году было деление на правых и на левых, или, как они официально назывались, на «умеренных» и «прогрессивных». Формально это не были политические группировки, но фактически первые были тесно связаны с октябристами, вторые с партией Народной свободы. Каждая группа составляла свой список, но кандидаты голосовались отдельно, и обычно избранными бывали кандидаты и того, и другого списка, причем число и умеренных, и прогрессивных было обычно почти одинаково, — ранее с небольшим уклоном вправо, а при выборах 1912 года образовалось незначительное левое большинство. Выборы 1916 года, конечно, стоят особняком: уже чувствовалось приближение февральских событий. Обычно, физиономия вновь выбранной думы обнаруживалась в первом же собрании, когда происходили выборы городского головы.

Представители купечества значились — и часто доминировали — и в том, и в другом списках. Иначе говоря, они ставили свою кандидатуру не под флагом принадлежности к своему сословию или классу, а под знаком своих политических симпатий и в тех, правда, сравнительно редких случаях, когда в думе борьба шла по политической линии, одна часть купечества противостояла другой на тех же основаниях, как и представители интеллигенции. Никогда вообще не было даже попытки — ни во время выборов, ни в порядке думской работы — сорганизовать какую-нибудь особую «торгово-промышленную» группу, которая должна была бы действовать в думе, руководствуясь своим «классовым самосознанием» и попыталась бы использовать свое несомненное численное превосходство для проведения тех или иных решений, выгодных лишь купеческому сословию и обременительных для прочих слоев населения.

Более того: те представители купечества, которые играли роль в городской думе и влияли на ход дел городского управления, обычно принадлежали к тем купеческим семьям, часто династиям, — которые уже отошли от торгово-промышленной жизни и обратились либо в общественность, либо в либеральные профессии. Последним из могикан в этом отношении был Н. А. Найденов, но, надо сказать, он настолько

был тесно связан с представителями интеллигенции, что и его трудно считать представителем «темного царства». Все же последние городские головы, начиная с С. М. Третьякова, — и Н. А. Алексеев, и К. В. Рукавишников, и П. И. Гучков — принадлежали к семьям, известным своим уклоном в общественность.

Думские лидеры начала столетия, как из купечества — А. С. Вишняков и А. И. Гучков, так и представители интеллигенции, — С. А. Муромцев, Н. И. Щепкин и братья Астровы, — тесно переплетались друг с другом и составляли единую цельную группу. Указанное явление с особенной яркостью обнаружилось в составе думы 1913–1916 годов, когда мне довелось впервые вступить в число гласных. И в этой думе было весьма значительное большинство гласных из торгово-промышленной среды, но, как это ни покажете странным, они не играли решающей роли. Эта дума была «прогрессивная», с большинством в четыре-пять голосов; потом это большинство увеличилось, когда при выборах членов управы проходили кандидаты прогрессивной группы. В этой группе купечество составляло также главную массу, но лидерство было в руках интеллигентских. Делами группы руководил Комитет прогрессивной группы гласных, который, в сущности говоря, стоял вообще во главе всей московской-городской либеральной общественности, а он почти сплошь состоял из лиц либеральных профессий. Председательствовал Н. А. Астров, городской деятель, ранее, в течение долгого ряда лет, — городской секретарь, впоследствии имевший почти синекуру, как член правления городского кредитного общества.

Членами комитета были: доктор — хозяин водолечебницы — Н. М. Кишкин, присяжный поверенный Н. В. Тесленко, учитель гимназии А. Д. Алферов, два приват-доцента университета, правда, оба купеческого происхождения, С. В. Бахрушин и А. А. Титов, директор городского взаимно-страхового общества П. А. Вишняков. Из активных торгово-промышленников были лишь Л. Л. Катуар, да пишущий эти строки, но, по правде говоря, и мы оба были более интеллигентами, чем представителями класса «эксплоататоров».

Собрания комитета происходили раза два в месяц. Изредка они имели место у Астрова, но большей частью у меня, в моей столовой. Моя секретарша, Е. Н. Лишкина, была и секретаршей комитета. Собрания всегда очень хорошо посещались, так как компания была дружная, и я совсем не припомню «бурных заседаний».

Кроме заседаний комитета, бывали и пленарные собрания

всей группы гласных. Обычно это имело место в конторе Н. П. Шустова.

Уже по выборам городского головы можно судить о том, сколь мало эта группа выявляла свою классово-промышленную позицию. Городским головой был избран князь Г. Е. Львов, будущий глава Временного Правительства.

Ни к купечеству, ни к городскому управлению князь не имел никакого касательства. Он был земским деятелем и известен, как глава общеземельной организации, успешно справившийся со своей задачей во время русско-японской войны. Нельзя сказать, впрочем, чтобы его кандидатура была естественной для «купеческой» Москвы и для купеческой думы. Только сильное интеллигентское влияние, можно бы сказать, засилье либеральных профессий, — могло его выдвинуть на пост руководителя городским хозяйством Москвы.

Как известно, князь Львов утвержден, точнее, назначен, — не был. Вторым кандидатом думы выбрали профессора С. А. Чаплыгина. Он также не имел успеха. Новым кандидатом был Л. Л. Катуар, торгово-промышленник, но не характерный для купеческой Москвы. И только четвертый, и назначенный, кандидат, — М. В. Челноков, как бы сделал возврат к старым традициям. Челноковы была старая купеческая семья, кирпичные заводчики. Последнее время они от дел отошли.

В связи с выбором Челнокова, разыгрался один эпизод, который едва не привел к конфликту внутри прогрессивной группы, между промышленниками и интеллигентами. Большинство промышленников были «беспартийные», или «прогрессисты». Почти все интеллигенты — кадеты.

Когда и челноковские выборы встретили какое-то затруднение в министерстве внутренних дел, новоизбранный, но еще не назначенный голова написал письмо министру, которое сильно не понравилось его сотоварищам по партии. В Московском, городском, кадетском комитете Челноков вообще не был популярен, и возник вопрос об его отставке, что ему совсем не было желательно. Тем временем назначение состоялось, но вопрос об отставке продолжал стоять на очереди. Городской кадетский комитет хотел, через своих членов, принудить и комитет прогрессивной группы заставить Челнокова отказаться. Но тогда не-кадетские члены прогрессивной группы запротестовали, угрожая выйти из числа членов группы, чем обрекли бы ее на «меньшинство». Кадетский комитет понял реальность угрозы и, скрепя сердце, не настаивал. Челноков вступил в должность городского головы.

Деятельность Всероссийского Союза городов целиком

относится к военному времени. Не касаясь его работы, а говоря только про его организацию, можно сказать, что картина была точно такая же, с той, может быть, поправкой, что в Союзе интеллигентский элемент был еще многочисленнее. Сплошь и рядом провинциальные думы, почти исключительно состоявшие из местных торгово-промышленников, выбирали для представительства на съездах, а следовательно, для участия в Главном комитете, не городских голов, которые зачастую были из купечества, а специальных делегатов, — инженеров, врачей, или присяжных поверенных. Возглавление же в Союзе было, в сущности, тем же, что и в городской думе, благодаря возглавлению, в обоих случаях, М. В. Челноковым. Но в Союзе городов все рабочее руководство лежало на докторе Н. М. Кишкине.

Заканчивая главу об общественной деятельности купеческой Москвы, я вновь вернусь к вопросу о том, насколько ее можно считать классовой или даже профессиональной. Существовала одна область, где эта деятельность таковой и являлась: это область рабочего законодательства. И тут, нужно сказать, представители Москвы, действуя в униссон с Петербургом, как и с провинцией, не проявили ни понимания современной им обстановки, ни предвидения будущего. Нельзя, конечно, рисовать прошлое русской фабрики в таких мрачных красках, как ныне это зачастую делается, особенно по ту сторону железного занавеса.

Весьма много было сделано, главное, так сказать, в индивидуальном порядке, на отдельных фабриках и заводах. Кренгольмская мануфактура, о которой свидетельствует газета «Таймс», не была исключением, ни даже исключением редким. Но в организованных выступлениях, в особенности при обсуждении вопроса об ограничении рабочего дня, позиция промышленников не шла вровень с развитием народного хозяйства. Конечно, нельзя и эту проблему рассматривать изолированно, вне сравнения с общим укладом русской жизни того времени и, в частности, с бытом деревни, но все-таки факты остаются фактами и, если техника в русской промышленности, по меньшей мере, не отставала от запада, то экономика и социальные условия работы оставались позади. Повторяю, что много было внесено частных поправок, улучшавших общее положение, но это не было результатом общих групповых или профессиональных обсуждений, результатом продуманной и разработанной народнохозяйственной политики, которая могла бы явиться своего рода «кредо» для торговли и промышленности, как общественные и социальные группы.

Легко было бы здесь все свалить на условия прошлой,

несвободной русской жизни, на невозможность легальной широкой общественной работы, на те или иные препятствия полицейского характера. В известном смысле, может быть, это и так, но эта причина не единственная и, пожалуй, даже не первенствующая. По аналогии можно себе представить, что наряду с разработкой вопросов чисто политического порядка, могла бы производиться подготовка мероприятий и чисто экономического характера.

Для крайних левых вопрос был решен в марксистской или народнической идеологии, но для русского либерализма экономической программы не было, и не было потому, что ею просто не занимались. Мне кажется, что здесь повинно то невнимание, то отсутствие интереса к вопросам торговли и, главным образом, промышленности, на которые я указывал, и которые были так характерны для русского общества. И как это ни парадоксально, эти настроения сказывались и в самой торгово-промышленной среде.

Это было оборотной стороной медали, той медали, которую русское купечество могло бы получить за свои заслуги в деле культуры и благотворения. Купеческая среда слишком переплеталась, в особенности в последнее время, с интеллигенцией. Во многих проявлениях своей жизни — ив домашнем укладе, и в городской общественной деятельности, — среда эта шла часто «интеллигентским» путем. Развитие культуры и искусства от этого выигрывало, — создавались Третьяковская и Щукинская Галлереи и Художественный театр, но не выковывалось не только классовое, но и групповое сознание, не создавались группы, по-настоящему могущие понять не столько свои права, сколько обязанности, в связи со своей ролью в народном хозяйстве. Поэтому, когда случилась «буржуазная» революция, буржуазии в сущности не было, во всяком случае, не было группы, которая имела бы свою идеологию и знала бы и свои права, и прежде всего свои обязанности.

О том, как в правительственных сферах относились к настроениям московской торгово-промышленной среды, можно судить по воспоминаниям графа В. Н. Коковцева, который описывает прием на бирже и обед у Г. А. Крестовникова; имевший место в связи с назначением гр. Коковцева председателем Совета Министров.

В отличие от других авторов, воспоминания Коковцева подчеркивают, что инициатива появления его в Москве исходила от председателя Московского Биржевого комитета, который и руководил особым собранием на бирже, и устроил обед в честь петербургского гостя.

На этом обеде произошел инцидент с речью. П. П. Рябушинский, который говорил в оппозиционном тоне, упомянул о «преследовании старообрядцев», о «заигрывании с западом в ущерб нашей самобытности», о «воинственных замыслах, не справляющихся с истинными народными заветами» и об «уступчивости иностранцам в ущерб национальным интересам». Закончил Рябушинский тостом, «не за правительство, а за русский народ, многострадальный, терпеливый и ожидающий своего истинного освобождения».

Коковцев свидетельствует, что он был в большом затруднении, как ему отвечать; по его впечатлению, огромное большинство присутствующих — а их было около ста человек — явно не сочувствовали Рябушинскому. Хозяин дома, Г. А. Крестовников, просил петербургского гостя не отвечать «на этот лепет».

В согласии с этим, Коковцев решил принять шутливый тон и не говорить по существу речи Рябушинского. Он сказал, что не может ответить за все ошибки русского Правительства, начиная с времен Рюрика, за все прародительские грехи, и что он присоединяется к тосту о русском народе, приглашая всех трудиться на общей ниве. Словом, все обошлось как нельзя лучше, и Рябушинский, благодаря оратора, произнес за него тост, как за «слугу народа».

Обед у Г. А. Крестовникова состоялся за две недели до смерти моего отца и за месяц до выборов в Биржевое Общество. Ввиду болезни отца, я мало с кем виделся, но все же помню, что речь Рябушинского рассматривалась многими, как «знамение времени», и что на каждом собрании «оппозиция» должна была что-то сказать. Помню также, что Рябушинского упрекали в том, что он не выступил на собрании в Бирже, где речь его была бы вполне уместна и не ставила бы хозяина дома в трудное положение.

Эту характеристику встречи с московской оппозицией, данную Коковцевым в 1912 году, не безынтересно сравнить с его же воспоминаниями о появлении в Москве в 1909 году. Тогда, по его словам, дело обстояло совершенно иначе. Правда, он и тут подчеркивает, что инициатива московских свиданий исходила из Москвы: «Я не был еще в Москве с самого моего назначения на должность министра финансов, и об этом не раз говорили мне с известной горечью прежний председатель Биржевого комитета Найденов и его преемник Крестовников (это, очевидно, ответ на существующее в исторической литературе мнение, что вновь назначенные министры финансов ездили на «смотрины» в Москву). Но это не помешало тому, что встречи с Москвой

прошли чрезвычайно гладко и обмен любезностями был «самый сердечный». Мы разошлись в самых дружеских настроениях». (Гр. В. Н. Коковцев «Из моего прошлого». — II тома, будут даны на странице — www.LDN-Knigi.narod.ru, в 2001)

Нельзя однако сказать, что не делалось попыток объединить политические настроения московской торгово-промышленной среды. Одно время была мысль о создании особой «торгово-промышленной партии», где объединилось бы все купечество, но эта затея сразу была обречена на неуспех: единодушия не было, были и правые, и левые, и посадить всех за один стол оказалось невозможным.

Попытка создать «торгово-промышленную партию» родилась в начале 1905 года, одновременно с первым шагом в деле организации общероссийских промышленных объединений. Как известно, первая попытка в этом направлении, имевшая место в Москве, успехом не увенчалась; инициатива перешла в Петербург, где и были созданы съезды представителей промышленности и торговли.

С созданием партии дело обстояло внешне как будто лучше: она была сорганизована; по существу же дело было так же, плохо. Торгово-промышленная партия в значительной степени существовала лишь на бумаге. Созданная для выборов в Думу, она в выборной кампании роли не сыграла, и в Первую Думу провели лишь одного кандидата — А. В. Демидова.

Параллельно с «торгово-промышленной партией», создается и «торгово-промышленный союз». Инициаторами его явились виднейшие представители Московской биржи: и Крестовников, и Рябушинский, и Морозовы, и Кнопы. Задачей его было объединение, на всем пространстве Империи, деятелей промышленности и торговли в одну организацию, «для достижения основанных на новом правопорядке классовых нужд и потребностей». Новый правопорядок, это — манифест 17-го октября и возвещение им свободы.

Но за октябрем 1905 года был декабрь, иначе говоря московское вооруженное восстание. Следствием его был раскол, и во всем русском обществе, и в его торгово-промышленном секторе. Одни ушли дальше направо, другие продвинулись влево. Трудно стало говорить об «единой торгово-промышленной, политической группировке», даже об едином фронте. Даже попытка объединить купеческих депутатов в Государственной Думе в какую-то надпартийную группировку успеха не имела. А этих депутатов было так немного…

Неуспех создания собственной партии в Москве опять передвинул инициативу в Петербург, где образовалась

«прогрессивная экономическая партия», — детище Петербургского Общества заводчиков и фабрикантов. Здесь дело пошло как будто несколько дальше, во всяком случае программа была разработана довольно обстоятельно. Нельзя сказать, чтобы содержание ее вполне соответствовало ее наименованию. Партия не столько стремилась к «прогрессу», не столько хотела идти вперед, сколько заботилась о том, чтобы удержаться на каком-то, весьма скромном, уровне достижений 1905 года, т. е. в сущности была весьма близка к союзу 17-го октября. Эта близость выражалась в согласовании деятельности, в частности в совместном издании газеты «Новый путь».

Все эти петербургские начинания находили мало отклика в России, особенно в Москве.

«Правые» и «левые» настроения в купечестве и, очевидно, невозможность установить единый политический торгово-промышленный фронт заставили отдельных купцов и промышленников идти в существующие политические партии и, в частности, примыкать к Союзу 17-го октября и к партии Народной свободы.

В этих партиях они растворялись в массе и мало влияли на общую позицию, партиями занятую.

Может быть, наиболее «торгово-промышленной» была «группа прогрессистов» Четвертой Государственной Думы; это объясняется, конечно, той первенствующей ролью, которую в ней играл ее член А. И. Коновалов. За пределами Думы партии прогрессистов почти не было. Во всяком случае, та роль, которую эта группа сыграла в Государственной Думе, в частности в деле создания «прогрессивного блока», объяснялась прежде всего авторитетом ее лидеров.

Тем не менее, нужно сказать, что в Москве была попытка подвести базу под думскую фракцию. Комитет прогрессивной группы установил контакт со своими петербургскими единомышленниками. В Москве в этом комитете участвовали: В. П. Рябушинский, С. С. Ермолов-Зверев, — крупный оптовик мануфактурой из Тулы, присяжный поверенный Я. И. Лисицин и автор этой книги.

В Петербурге были: А. А. Барышников, Шубин. Позднее и А. И. Брянчанинов. У последнего иногда бывали большие собрания сочувствующих, обыкновенно за ужином. Но все это делалось «кустарным» образом, и прогрессивной группе не удалось так же, как и при других попытках, осуществить политического объединения торгово-промышленников, даже левого фланга.

Существует мнение, что органом московского купечества была газета «Утро России», принадлежавшая Рябушинским,

главным образом, старшему их брату— П. П. Рябушинскому. Это было не совсем верно. «Утро России» отражало настроения левого крыла крупного купечества, примерно так же, как «Голос Москвы», будучи октябристской газетой, был органом умеренно-правых. Разница в том, что газета Рябушинского была более боевым органом «буржуазии», чем его октябристский собрат. Лейт-мотивом большинства выступлений П. П. было уяснение той роли, которую купечество должно было играть в России, вырабатывание программы его действий и определение тактики. Естественно, что эти взгляды проводили и в контролируемом им печатном органе. У октябристов же лидером был А. И. Гучков, вышедший из московской промышленной среды, но совсем от нее отошедший, а его помощники, остававшиеся в промышленности, как, например, Н. В. Щенков или М. В. Живаго, не были яркими общественно-политическими фигурами.

Сам по себе факт, что паи той или иной газеты находились в купеческих руках, еще не имел решающего значения. Во многих московских газетах издательство было под купеческим контролем, но от этого одного газеты не становились еще печатным органом буржуазии. Самая распространенная в Москве газета «Русское слово» принадлежала паевому товариществу, где крупнейшим пайщиком и фактическим хозяином был И. Д. Сытин. Этот русский самородок не только формально принадлежал к купеческой среде, но и на самом деле, был прекрасным, талантливым коммерсантом.

Сытинское книгоиздательство и книжная торговля были и хорошо организованы, и сыграли немалую роль в развитии русского просвещения, способствуя проникновению книги в деревню. Но и коммерческий талант И. Д. Сытина, и его торговые заслуги отнюдь не делали Сытинскую газету органом московского купечества. Редактором газеты был зять Сытина, Ф. И. Благов, а негласным руководителем известный фельетонист В. М. Дорошевич.

И. Д. Сытина я очень хорошо знал. Он был нашим соседом по имению и летом мы постоянно ездили вместе «в город». Он был большим приятелем моего отца, который, вскоре стал пайщиком Сытинского товарищества. Не раз Сытин рассказывал в моем присутствии моему отцу о своих новых предположениях, и по многим вопросам с ним советовался. Часто говорил он и о газете, которую, естественно, очень любил.

Никогда не было речи о том, чтобы она должна была стать органом буржуазии, даже либеральной, или даже радикальной. Стремлением Сытина было создать из «Русского слова» внепартийную, внеклассовую, хорошо осведомленную газету, с

большим тиражем и большим влиянием. В сильной степени это и удавалось и Сытину, и его ближайшим сотрудникам. Коммерческий талант Сытина помогал ему в организационных вопросах, связанных с газетой, но коммерческого характера она от этого не получила.

В самой солидной, самой серьезной, не только московской, но и русской газете «Русские ведомости», возможность влияния лиц торгово-промышленной среды была не менее значительной. Жену главного руководителя газеты профессора В. М. Соболевского В. А. Морозову называли, как одну из главных пайщиц. В свою очередь, вся деятельность Варвары Алексеевны была окрашена близостью к одному из самых значительных культурных московских центров, каковым и были «Русские ведомости».

Газета не была партийно-кадетской, как, например, петербургская «Речь», но все-таки кадетское влияние в ней было сильным, тогда как в торгово-промышленной среде оно таковым не было. Те из кадетов, которые имели значение в партии, — были иногда купеческого происхождения (будущий Московский городской голова М. В. Челноков) или же не имели влияния в купеческой среде (А. И. Шамшин, С. А. Попов, С. А. Смирнов).

Полную противоположность «Русским ведомостям» представляла небольшая, не читавшаяся интеллигенцией газетка «Московский листок» (редактировал его Н. И. Пастухов). О ней вообще можно было бы и не упоминать, ввиду ничтожности ее влияния, но она имела прочно установившуюся репутацию газеты купеческой: главной массой ее подписчиков и читателей было среднее и мелкое купечество и торговые служащие, — класс приказчиков, пополнявших ряды купечества.

И по своему содержанию пастуховская газета была купеческой. Мне уже приходилось упоминать, что одним из главных ее сотрудников был доверенный К. Т. Солдатенкова, И. И. Барышев, писавший под псевдонимом Мясницкий. Он был, несомненно, не без таланта и живо изображал в своих писаниях средней руки московскую купеческую жизнь. В те времена это являлось почти единственным отражением этого своеобразного быта. Вышедший из той же среды писатель И. С. Шмелев лишь много позднее дал в литературе картину этой, близкой ему, общественной группы.

Мне очень много приходилось в моей жизни сталкиваться с октябристами, как с организацией. Помню, в студенческие времена, когда я был «примыкающим» к студенческой фракции Народной свободы (я не состоял в партии), в Университете, где все было полно социалистами разных оттенков и направлений,

был небольшой кружок студентов-октябристов, во главе которого стоял С. С. Ольденбург. Все отдавали должное его мужеству идти против течения. Но общением с Ольденбургом почти и исчерпывались мои встречи с октябристами. С А. И. Гучковым я никогда не был близок, это перешло мне от моего отца, который всегда был далек от семьи Гучковых.

Международным правом в университете я занимался мало и плохо знал профессора Л. А. Комаровского. Зато очень хорошо знал Н. В. Щенкова, усердного городского деятеля и плохого политика. Со Щенковыми мы были знакомы домами. Жена его, Екатерина Степановна, была влиятельной московской городской деятельницей. Но о политике с Щенковыми мы как-то не беседовали, — он знал мое нерасположение к октябризму. Я лишь смутно припоминаю, кто был в Московском городском комитете октябристом. Все это пишу потому, что никакого касательства к «Голосу Москвы» у меня не было. Газета была тусклая, скучная, и за пределом группы единомышленников успеха не имела.

Зато «Утро России» я знал хорошо. Газетное дело меня всегда очень интересовало. «Утро России», по настроению, было мне ближе сытинской газеты, и я с большим удовольствием согласился, по приглашению П. П. Рябушинского, войти в редакционный комитет газеты. Правда, за это удовольствие приходилось платить: газета была убыточная и от времени до времени сочувствующим ей и прежде всего редакционному комитету надо было делать не очень большие денежные взносы.

Организация редакционного комитета была, так сказать, «де факто»; юридически все это было шатко. По существу, хозяином являлся П. П. Ему лично принадлежала типография, где газета печаталась, и дом, где, кроме типографии, находились и редакция, и собрание нашего комитета. У П. П. было желание придать руководству газетой коллективный характер: в этом он видел, — и был, конечно, известным образом прав, — выявление значения «Утра России», как органа прогрессивной и либеральной части московской купеческой массы, не находившейся в зоне кадетского влияния.

В редакционный комитет, кроме самого П. П., входил его брат, Владимир Павлович, а также С. Н. Третьяков, С. А. Смирнов и я. Как будто еще кто-то был, но постоянно присутствовали только вышеназванные лица, да и то Третьяков не был аккуратным посетителем, сам же П. П. приезжал только в каких-нибудь чрезвычайных случаях.

Издателем газеты юридически состоял И. Ф. Родионов, личный служащий Павла Павловича, управлявший его домом. Он, что называется, заведывал хозяйственной частью, и на его

обязанности лежало собирать те взносы, о которых я упоминал. Он заходил ко мне в амбар и постоянно жаловался на трудности своей задачи.

Фактически редактором был известный в то время в Москве, очень талантливый журналист, автор нашумевшего фельетона, посвященного министру внутренних дел, — «Прыжок влюбленной пантеры». П. П. находил, что он недостаточно стремится подчеркнуть «классовый» характер газеты. Впоследствии он ушел, и его заменил тоже очень способный журналист С. С. Раецкий.

Для характеристики позиции, занятой «Утром России», и тона печатавшихся в нем статей, можно привести несколько выдержек, дающих ясное представление о том, что думали тогда руководители газеты. Вот, например, несколько строк из «Новогоднего приветствия»:

(Цитирую по книге П. И. Берлина, «Русская буржуазия».)

«Наш новогодний тост, — писала газета, — обращен к буржуазии, к третьему сословию современной России. К той крепнущей, мощно развивающейся силе, которая, по заложенным в недрах ее духовным и материальным богатствам, уже и сейчас далеко оставила за собой вырождающееся дворянство и правящую судьбами страны бюрократию.

Мы, прозревающие высокую историческую миссию этой крепнущей ныне буржуазии, приветствуем здоровый творческий эгоизм, стремление к личному материальному совершенствованию, к

материальному устроению каждым из нас своей личной жизни. Этот созидательный эгоизм, эгоизм государства и эгоизм отдельной личности, входящей в состав государства, не что иное, как залог наших будущих побед новой, сильной, великой России над Россией сдавленных мечтаний, бесплодных стремлений, горьких неудач.»

А вот излюбленная тема Рябушинского: взаимоотношения между купечеством и дворянством. Газета жаловалась, что, например, во время юбилея Отечественной войны слишком много уделяли внимания дворянству и очень мало купечеству. Во время приезда в Россию президента Французской Республики, его возили к цыганам, но не возили к купцам. В газете появилось письмо в редакцию, под заголовком: «Буржуа или дворянин», где ставился вопрос, могут ли и дворянство, и купечество оставаться попрежнему «на плечах у народа».

«Ныне, после годов революции, — писал автор, — грубый остов, действующих в конституционной России политических сил, не оставляет уже места ни прежней идеализации, ни вере. Руки интеллигенции беспомощно опускаются, народ обеднел и

обнищал, донышко казенного сундука стало показываться все яснее и яснее, и вся огромная храмина, которую представляет ныне наше отечество, начинает расползаться по швам. Поэтому дворянину и буржуа нельзя уже вместе стало оставаться на плечах народа, и одному из них придется уходить. Это обстоятельство и вызывает конфликты, которые, время от времени, возникают между ними. Чем скорее буржуа сделается один хозяином положения, тем легче будет жить и всему народу»…

И, наконец, вот что писал, под псевдонимом В. Стекольщиков, сам руководитель газеты, лидер этой торгово-промышленной группы, П. П. Рябушинский, в статье, озаглавленной «Аршинники поднялись»:

«В 1905 году, — читаем мы, — буржуазия помогла людям старого режима подавить революцию. Но теперь реакция, такая же некультурная, как и анархия, в свою очередь начинает вызывать отпор со стороны буржуазии. И вот, победители видят, что купец как будто бы начинает мешать. Сначала это приписывается случаю, небрежности, невниманию, а чиновник делает вид, что он не замечает. Но долго не замечать нельзя. Подъячий, по свойственной ему трусости и осторожности, некоторое время колеблется, наконец, решается и говорит: «Любезный аршинник, отойди в сторону, разве ты не видишь, что мешаешь пятиться моему другу красной фуражке и мне. Я, конечно, уверен, что злой воли у тебя нет, что это лишь недосмотр с твоей стороны, так что тебе бояться нечего, но все-таки — отойди». И вдруг происходит неслыханное: аршинник, всегда такой уступчивый, такой молчаливый, внезапно очень определенно заявляет, что ему попятное движение красной фуражки и приказного кафтана не нравится, что он им мешает вполне сознательно и что и впредь будет мешать. В той схватке купца Калашникова и опричника Кирибеевича, которая начинается, конечно, опять одолеет Калашников. Может быть, и на этот раз его потом пошлют на плаху. Но идеи буржуазии, идеи культурной свободы, — эти идеи не погибнут».

Когда с 1913 года в Государственной Думе образовалась довольно сильная группа «прогрессистов», и А. И. Коновалов принял в ней большое участие, — многие стали считать «Утро России» партийным органом этой группы. Это не верно. «Утро России» оставалось до конца внепартийным и внегрупповым печатным органом. Иначе и быть не могло: газета оставалась под контролем П. П. Рябушинского и его ближайших друзей. Сам П. П., по свойству своей натуры, не мог быть человеком партийным, связанным партийной дисциплиной. Таковой пребывала и

созданная им газета.

В начале десятых годов текущего столетия, в Москве, а может быть и в Петербурге, очень много говорили об «экономических беседах», об «единении науки и промышленности». Под этими названиями разуме- лись собрания, которые с 1910 года имели место у А. И. Коновалова, на Малой Никитской, а впоследствии у П. П. Рябушинского, в «Третьяковском» доме, на Пречистенском бульваре. О них много рассуждали, стремились быть приглашенными, читали в газетах отчеты о происходивших собеседованиях, словом рассматривали их, как одно из самых крупных явлений торгово-промышленной активности того времени. Вряд ли, однако, ныне вспоминают о них, сорок с лишним лет спустя. Теперь можно отнести эти нашумевшие когда-то беседы в число достижений торгово-промышленной общественности.

Инициатором бесед был А. И. Коновалов. По Коммерческому институту он был знаком, часто близок со многими профессорами-экономистами. Технически организовать встречу науки и промышленности было нетрудно: нужно было просто позвать тех и других к себе, «чай пить». Александра Ивановича в Москве любили, на приглашение его откликнулись, и тогда и начались «беседы».

У Коновалова собрались раза три-четыре. Я уже указывал, что в это время он несколько отходил от общественной работы. Беседы продолжались, но уже в особняке Рябушинского, в большой зале его пречистенского дома.

Мне довелось бывать на этих собраниях почти с самого начала их возникновения. Кажется, я не был только на первом. Я уже говорил, что попал на них, как «человек науки». Ввел меня туда А. А. Мануйлов.

Но был и другой московский деятель, о котором, боюсь, нынче все забыли, но который в культурной жизни Москвы играл первенствующую роль: С. В. Лурье. Не устану повторять, что это был один из самых примечательных людей, связанных с торгово-промышленной средой тогдашней Москвы.

Он много помог Рябушинскому в организации дальнейших собраний. К сожалению, задача оказалась неразрешенной. Общения между наукой и промышленностью не произошло, и об этих собраниях можно вспоминать, как о приятно проведенных вечерах, но не более. А между тем, по замыслу, именно на такого рода собраниях могла бы выработаться та «идеология» московской буржуазии, отсутствие которой так сказалось в эпоху февральской революции. На ком вина? Приходится думать, что не нашлось людей, которые могли бы стать подлинными

руководителями, настоящими лидерами. Может быть, один Лурье понимал, что нужно делать. Помню, как он горько жаловался, что от больных вопросов хотят отмахнуться.

Воспоминания о С. В. Лурье наводят меня на мысль сопоставить экономические беседы у Рябушинского и философские собрания у М. К. Морозовой (С. В. Лурье и там, и тут играл заметную роль). «Мо-розовские» собрания были, несомненно, крупным московским достижением. В развитии философской и отчасти религиозной мысли в Москве они сыграли весьма значительную роль. Во-первых, они удались. Собрания Рябушинского не «выковали» идеологию «класса производителей». Собирались, пили чай, очень хорошо сервированный, «говорили», вернее сказать, — «участвовали в прениях», и этим дело кончалось. Большое значение имела недостаточность подготовки этих собеседований. По личному опыту помню, как трудно было говорить, когда просили «сказать несколько слов». Приходя на собрание, не знали, о чем будет беседа. Поэтому почти всегда говорившие оставались в плане «общих мест». Да и говорили-то всегда одни и те же. А на собраниях бывали весьма замечательные люди. Помню, например, что на одном из таких собраний многие из москвичей в первый и единственный раз слышали П. Г. Виноградова. Председательствовал обычно, и делал это прекрасно, — профессор С. А. Котляревский.

На одном собрании выступил П. Б. Струве: это было одно из первых выступлений редактора «Освобождения» в буржуазной среде. Он читал доклад на тему о развитии производительных сил в России. Естественно, что докладчик подчеркнул необходимость условия незыблемых осуществлений права, равного и одинаково обязательного: «Необходимо известное политическое спокойствие и довольствие на основе осуществления права и порядка, не мирящегося с произволом, откуда бы он ни исходил».

В происходивших прениях было указание на значение политически старого вопроса. «Обсуждая меры специального характера, — заявил один из ораторов, — которые были бы полезны для улучшения народного хозяйства, мы не найдем выхода и вращаемся все время в заколдованном кругу. В этом кругу специальных мероприятий нет точки опоры, инвестирование которой ставит вопрос о рынке сбыта. Расширение рынка стоит в зависимости от поднятия покупательной силы населения. Надежды на внешний рынок не может быть, так как внешний рынок завоеван другими. Сколько бы мы ни искали философского камня, мы не найдем его на пути

поисков специальных мероприятий, и мы естественно переходим к необходимости осуществления общих мер. Хотя эти меры не дают быстрых эффектов, но зато будут иметь прочные результаты. Необходимо устранить препятствия для осуществления общих мер. Промышленный класс заинтересован в их осуществлении, но досель его удельный политический вес вне сферы узко практических вопросов — крайне недостаточен.

Доселе нет промышленной группы, как политической организации, влиятельной и авторитетной, которая имела бы влияние на общее направление политики, и разрешение проблем, затрагивающих народные слои. Правительство будет прислушиваться к голосу промышленности в широких вопросах политики, когда оно почувствует в представителях промышленности силу, и для этого они должны сойтись с общественными элементами и определенным образом, с определенной программой, войти в политическую жизнь страны. Общественные и промышленные элементы одинаково заинтересованы в вопросе поднятия экономических сил страны, внутреннего рынка и потребительских масс. Это создаст почву для сближения и контакта между ними».

Это выступление рассматривалось, как призыв к сближению промышленников с интеллигенцией. Было мнение, что раньше промышленность в интеллигенции не нуждалась. Никакого общения между «купцами» и лицами свободных профессий не было. Весь уклад общественной работы в современных условиях производства зиждется на интеллигенции.

Министр народного просвещения Л. А. Кассо, сам еще недавно профессор Московского университета, уволил трех профессоров университета. В знак протеста, большое количество профессоров и приват-доцентов подали в отставку, и университет оказался разгромленным. В общественных кругах Москвы это вызвало сильное волнение, и отдельные группы стали резко и определенно реагировать против действий правительства по отношению к университету. Московские промышленники не остались безучастными к разгрому старейшего русского университета. В газете «Русские ведомости» появилось открытое письмо нижеследующего содержания:

«Бывают моменты в жизни общества, когда его молчание может быть истолковано, как знак сочувствия. Не порочит людей уступка материальной силе. Иное поражение почетнее победы. Но отказ от всякой защиты дела в области права и правды, есть уже несомненный симптом поражения и разложения духовных сил общества.

Мы, нижеподписавшиеся, члены торгово-промышленной

среды, в сознании того огромного значения, какое имеет, в сфере нашей деятельности, высшее образование, не считаем себя в праве молчаливо присутствовать при том распадении высшей школы, которому нам приходится быть свидетелями.

Мы являемся убежденными сторонниками необходимости настойчивой и непреклонной борьбы со студенческими забастовками, но полагаем, что борьба эта не может вестись средствами, которые затрагивают в корне все существование высшей школы.

Нелепые, а подчас даже преступные приемы насилия и обструкции, к которым ныне прибегает кучка фанатиков, не могут класть клейма на те мотивы, которые легли в основание отношений к учащейся молодежи, не могут стать точкой отправления и оправдания всех мероприятий, на которые, видимо, ныне решилась правительственная власть.

Молодежь вообще, а русская интеллигентская в особенности чрезвычайно чутка к вопросам права и правды и ни на что так быстро не, реагирует, как на нарушение таковых. Это ее свойство, давая ей подчас выдающуюся моральную силу, дает, вместе с тем, каждому желающему руководить ею верное указание того пути, которого следует держаться.

Революционная волна среди нашей учащейся молодежи уступила, за последние годы, несомненному стремлению отдаться делу учения. Можно с уверенностью сказать, что еще несколько месяцев назад подавляющие массы студентов были совершенно чужды мысли о каком-либо активном протесте.

Если эти протесты, в силу последних мероприятий правительственной власти в сфере высшей школы, ныне состоялись и вылились в резкую, подчас даже антикультурную форму, то не- ужели, со спокойной совестью, можно самую высшую школу делать объектом воздействия. Нет, в великом деле народного строительства гнев плохой советчик, и одними приемами материальной силы не улаживаются конфликты, так глубоко затрагивающие духовные силы русского народа. Плохую услугу оказывает общество правительству и стране, когда в моменты их духовного разлада оно своим молчанием дает правительству повод думать, что за ним моральная поддержка страны».

Следует 66 подписей.

Инициатива этого письма принадлежала А. И. Коновалову, П. П. Рябушинскому и С. И. Четверикову. Текст был выработан таким образом, чтобы получить возможно большее число подписей, и не из одного только «левого» лагеря.

Это в известном смысле и удалось: так, в числе

подписавшихся был например Николай Владимирович Щенков, лидер московской группы октябристов, но, конечно, главная масса подписавшихся была кадеты и будущие прогрессисты. Но это были все представители самых крупных предприятий. Какая-то газета подсчитала финансовую мощь поставивших подписи и определила ее в полмиллиарда золотых рублей.

На заявление 66-ти деятелей торговли и промышленности последовал чрезвычайно резкий ответ председателя Биржевого комитета Г. А. Крестовникова. Он поместил в газете «Голос Москвы», письмо, в котором сообщил, что он узнал о вышеуказанном заявлении лишь из газет, по своем возвращении из Петербурга.

«Будучи председателем Московского Биржевого комитета по выбору биржевого общества, — писал он, — я являюсь официальным представителем торговой и промышленной среды московского района; я почитаю долгом своим заявить, что в числе подписавших это письмо значится один старшина Московского Биржевого комитета из состава шести старшин и председателя и 29 лиц выборных биржевого общества из общего его состава 120 лиц.

Я не сомневаюсь, что большинство состава биржевого общества разделяет мое мнение о совершенной неуместности и нетактичности такого выступления, которое ничего не выясняет и лишь способствует усилению волнений».

В заключение председатель Биржевого комитета указал на содержащуюся, по его мнению, в заявлении «некорректность» подписавшихся по отношению к торгово-промышленной среде, за которую они как бы взяли на себя смелость высказаться, а также по отношению к нему, «избранному представителю», которому стало известно об этом выступлении только из газет.

Несомненно, цифра, приведенная председателем Биржевого комитета, совершенно точна, и из числа выборных биржевого общества подписи дала одна шестая общего состава. Но дело не в этом. На события в Московском университете откликнулись наиболее известные в Москве фамилии, главным образом те, которые вообще были в общественно-промышленной работе.

Можно отметить, что, кроме самого Г. А. Крестовникова, нет подписей Н. И. Прохорова, А. Н. Найденова и Н. А. Второва, но последний всегда был в стороне от вопросов, не затрагивавших непосредственно промышленность или торговлю.

На резкое письмо Крестовникова последовал ответ подписавших выступление 66-ти, а именно: А. И. Коновалова, П. П. Рябушинского, С. И. Четверикова и Н. Д. Морозова.

Они упрекали Крестовникова в том, что он в своем письме

совсем не реагировал ни на события, в университете, ни на правительственные мероприятия, и свел центр тяжести открытого письма 66-ти промышленников как бы к фальсификации общественного мнения тем, что подписавшиеся отметили свою принадлежность к торгово-промышленной среде. Подписавшиеся глубоко уважают и ценят Крестовникова, как энергичного представителя, защитника интересов торгово-промышленного класса и вождя и руководителя всех вопросов торгово-промышленной жизни, но решительно восстают против его ответа, где он реагирует, как председатель Биржевого комитета, на заявление 66-ти, подписанное ими, как частными лицами.

По мнению Коновалова и его друзей, право исповедывать те или иные убеждения не зависит от принадлежности к тому или иному классу, к той или иной общественной организации. К тому же подписавшие заявление 66-ти не подписали его, как представители торгово-промышленной среды, а как члены ее, на что они имеют полное и неотъемлемое право. Они считали выступление необходимым, повиновались голосу своей совести и испытывают нравственное удовлетворение в сознании исполненного гражданского долга.

На этом дело и закончилось. Крестовников, хотя и считал себя обиженным, но в отставку не подал. Был слух о том, что он намеревался это сделать, но его друзья его отговорили, справедливо указывая на то, что в письме Коновалова, Рябушинского, Четверикова и Морозова было высказано ему и полное доверие, и уважение.

Как это бывало обычно, выступление группы промышленников не понравилось ни крайним правым, ни крайним левым.

Сотрудник «Нового времени» А. А. Столыпин, брат председателя Совета Министров, так характеризовал письмо 66-ти:

«Маниловский протест московских толстосумов, исходящий от кучки благополучных и безответственных людей, раньше всего неумен. Но он был бы даже вреден, если бы их сытой и сантиментальной импотентности не противопоставилось всеоружие государственной воли, по существу своему не могущей терпеть то, что в государстве не должно быть терпимо».

С левой же стороны авторов заявления обвиняли в том, что они действовали только как торгово-промышленники.

«По купеческой логике выходит, что буржуазия протестует против разгрома университета только потому, что это вредно отражается на интересах торговли и промышленности. Купцы и промышленники не выступили бы, если бы таковые нарушены не

были бы».

Таким же характерным выступлением, как и в деле разгрома Московского университета, было и выступление по «еврейскому вопросу».

Общество фабрикантов и заводчиков московского района обратилось к В. Н. Коковцеву со специальной запиской по еврейскому вопросу, в которой, между прочим, говорило:

«Чрезвычайно участились выселения евреев ремесленников и торговцев из местностей, где, с ведома администрации, они открыто жили и занимались торговлей и промыслами десятки лет, а товары их конфискуются. Это ввергает торговлю и промышленность в такую неопределенность и неустойчивость, при которых хозяйство страны и интересы купеческого класса не могут не претерпеть весьма серьезных потрясений. В лице выселяемых торговля и промышленность утрачивают старых и опытных посредников для сбыта продуктов.

Выселение неизбежно связано с прекращением выселяемыми платежей. Конфискация товаров является карой для фабрикантов и заводчиков, отпускающих товары, в большинстве случаев, в кредит. Стеснять свободу, перемещая людей, равносильно тому, чтобы затруднять свободное кровообращение в живом организме.

Теперь рельефно обнаружилась одна из несомненных причин, переживаемых нашей промышленностью, главным образом мануфактурной, острого периода неплатежей вообще и затруднений реализации денежных обязательств в частности. Это коренится в беспрерывных выселениях, ограничениях и стеснениях, чинимых местными властями евреям. Многочисленные случаи ликвидации евреями своих торгово-промышленных предприятий вызвали исключительное положение, создавшееся благодаря преследованиям администрации. Это влечет не только непоступление частных платежей, но часто и потерю местного рынка» (П. Берлин, «Русская буржуазия».)

Это выступление вызвало бурю негодования в правой прессе. Уже не говоря про черносотенное «Русское знамя», которое:

«противопоставляло истинно-русских старых купцов нынешним Гучковым, Крестовниковым, Рукавишниковым, воспитанным на чтении жидовских газет, в которых они, по малому своему развитию, не в состоянии разобраться», —

суворинское «Новое время» тоже с резкостью обрушилось на авторов заявления:

«Московские купчики, — писал сотрудник этой газеты, небезызвестный М. Меньшиков, — удивительно обнаглели. В последнее десятилетие всевозможных поблажек, что им делает

правительство, они совсем избалованы слабостью и великодушием власти. Привыкнув обирать казну, они начали уже пытаться командовать ею»…

В газетах этого лагеря появляются требования отобрать у промышленников их фабрики и заводы, если они будут идти по пути сочувствия врагам веры Христовой.

По «еврейскому вопросу» было еще одно выступление, но оно носило более общий характер. Было это незадолго до войны 1914 года и было облечено в форму письма в газету «Русские ведомости». Не припомню сейчас, что послужило поводом к его опубликованию, помню только, что инициатива исходила от левых кругов. Из торгово-промышленников подписали тоже только левые, но их в это время было уже немало, и подписей было достаточно.

Помню, что мне позвонила в контору Е. Д. Кускова, сообщила, какое выступление предполагается, что уже ряд моих политических друзей дал свои подписи. Их примеру и я последовал.

Это «письмо в редакцию» было характерно тем, что подписи исходили действительно от разных групп и лиц различных политических настроений. В то время антисемиты были достижением только черной сотни.

Одним из ярких проявлений политических настроений левой части московской промышленности был юбилей Коноваловской фирмы. Коноваловская фабрика, как и многие другие текстильные предприятия Владимирско-Костромского района, возникла в год Отечественной войны, и празднование имело место в первых числах сентября 1912 года. Оно отличалось пышностью, невиданной даже для Москвы.

Юбилейная программа состояла из трех частей. Днем была часть официальная: приветствия и адреса различных фирм и предприятий и поднесение «подарков». В Москве любили праздновать всякие знаменательные даты. Обычно посылались «хлеб-соль», в виде шоколадного пирога, и серебряная ваза, изображавшая солонку. Знаю это по нашему опыту: наша фирма дважды праздновала юбилей, — по Москве и по Харькову; количество подношений всегда было очень велико. А на Коноваловское столетие откликнулись не только все друзья, но и все конкуренты.

Мне пришлось уже отметить, что центральным пунктом этой части программы был адрес Коммерческого института, прочитанный П. И. Новгородцевым. Он обладал прекрасным голосом и был одним из излюбленных московских ораторов.

Его цитата из Мельникова-Печерского: «Побольше бы на свете

Коноваловых», имела шумный успех.

Особенностью этой части праздника, происходившего в Коноваловском «амбаре», на Деловом дворе, было отсутствие характера «демонстрации», почему на нем присутствовали и правые, и левые.

Совершенно иной характер носила следующая часть юбилейного торжества, — банкет в ресторане «Эрмитаж», на знаменитой в Москве крытой летней террасе. Тут уже было иначе: правые почти все отсутствовали. Очевидно, заранее было известно о том выступлении, которое готовил сам виновник торжества. Тем не менее, народу было много, и обширная терраса была переполнена. Правда, многих, а может быть и большинство, интересовала кулинарная сторона ужина, а отнюдь не политическое значение собрания.

Я уже писал, что в общественной деятельности Коновалова был некоторый перерыв, вызванный состоянием его здоровья. Юбилейное торжество являлось возвращением его на арену общественной деятельности после некоторой паузы. Это придало выступлению А. И. характер чего-то, выходящего из рамок повседневной жизни.

А. И. прочитал длинную, очень хорошо составленную речь. Написана она была, как говорили, Мосальским, который знал прекрасно и самого оратора, и то, что он мог и должен был сказать. Речь делилась на две неравные части. В первой говорилось — собственно об юбилее, об истории фабрики, о прошлом Коноваловской семьи и о значении этой мануфактуры в истории русской текстильной промышленности. Обо всем этом сказано было с большим достоинством и с сознанием своей роли в русском текстильном деле, но сказано сравнительно немного, и представляло собою как бы вступление к главной теме. Вторая часть, более пространная, носила чисто политический характер.

Оратор говорил об общих условиях русской жизни, о необходимых реформах и, в частности, о том, что надлежит сделать, чтобы промышленность в России могла развиваться надлежащим порядком.

«Для промышленности, — сказал А. И. Коновалов, — как воздух необходим плавный, покойный ход политической жизни, обеспечение имущественных и личных интересов от произвольного их нарушения, нужны твердое право, законность, широкое просвещение в стране. Таким образом, непосредственные интересы русской промышленности совпадают с заветным стремлением всего русского общества, и оно должно сказать, что высокое развитие торгово-промышленной деятельности в стране непременно вносит известные

оздоровляющие начала во всю атмосферу государственной и общественной жизни».

Речь Коновалова была встречена восторженно. Оратору устроили овацию. Видимо, произнесенные слова соответствовали настроениям большинства присутствующих, что и неудивительно, ибо состав участников банкета носил либеральный и частью интеллигентский характер.

Если речь Коновалова была как бы проявлением чаяний и пожеланий левого крыла Московского купечества, то другое выступление, П. П. Рябушинского, — было встречено совершенно иначе. Он выступал от имени Биржевого комитета. Председателя Г. А. Крестовникова на банкете не было, но фактически П. П. говорил от себя, не выражая мнения тех, кого он формально представлял. Говорил он на свою любимую тему, о роли и значении купечества и призывал присутствующих признать представителей промышленности и торговли первенствующей и главенствующей группой в государстве.

«Русскому купечеству, — говорил он, — пора занять место первенствующего русского сословия, пора с гордостью носить звание «русского купца», не гоняясь за званием выродившегося русского дворянина».

Последние слова носили весьма злободневный характер. В самый день юбилея в газетах появилось сообщение, что известный московский промышленник, главный руководитель Прохоровской Трехгорной мануфактуры, И. И. Прохоров, возведен, со всей своей семьей, в «потомственное Российское дворянское достоинство».

Речь Рябушинского далеко не всем понравилась.

Заключительные слова вызвали даже протесты. Большинство нашло ее неуместной, в особенности в устах «официального представителя» Московской биржи; другие сочли неудачным выпад против И. И. Прохорова, который пользовался общим уважением; наконец, некоторые заявили, что, давая такую нелестную характеристику русскому дворянству, нельзя этого делать вообще и, в частности, на обеде, куда были приглашены официальные представители дворянского сословия, в лице Костромского губернского предводителя Б. Н. Зузина, который, к слову сказать, никак на эту речь не реагировал.

Как бы то ни было, речь Рябушинского, придавшая банкету несколько митинговый характер, несколько ослабила то внушительное впечатление, которое создалось тщательно подготовленной и продуманной речью устроителя и руководителя банкета.

Других выступлений, кажется, больше не было.

Открытых прений — тоже. Сказали несколько речей в самом

конце ужина — и этим празднество закончилось.

Третья часть юбилейного празднования заключалась в поездке на фабрику, для осмотра выстроенных помещений для школ, больницы, приюта, богадельни и т. д. Я уже упоминал, что все эти сооружения отличались чрезвычайной роскошью, особенно внешней. Здания строил архитектор Желтковский, один из талантливейших московских зодчих. Все они были в стиле ампир и облицованы мрамором.

Роскошь построек соответствовала роскоши праздника. Приглашенных, которых было не так много,» помнится, человек 25–30, — повезли из Москвы на экстренном поезде, у всех были особые помещения, а кулинарная сторона обслуживалась рестораном «Эрмитаж». Но пышностью и богатством приема дело не ограничилось. Приглашенные были подобраны так, что создалась возможность разного рода собеседований, главным образом, о вновь возникнувшей думской группе прогрессистов и о контакте с нею левых московских буржуазных элементов.

ГЛАВА IV

В первые месяцы после открытия военных действий против Японии война чувствовалась в Москве, как и во многих других местностях Европейской России, весьма мало.

Московский военный округ не был мобилизован, никаких продовольственных ограничений никто не знал, и жизнь текла прежним порядком. Война была крайне непопулярна, острословцы называли ее «борьба макаки с кое-каки», а после проезда Куропаткина через Москву говорили, что ему поднесли такое количество икон, что он совсем не знает, каким «образом» сможет победить японцев. Правда, в большом кремлевском дворце был комитет великой княгини Елизаветы Федоровны, который работал на помощь раненым, но раненые были далеко, их никто не видел, и эта красно-крестная работа не меняла характера прежней, спокойной жизни.

С течением времени картина стала меняться. Общей мобилизации в Москве не было, но в индивидуальном порядке было призвано много прапорщиков запаса, во многих семьях сыновья и братья оказались в действующей армии, кое-где стал появляться траур.

Обнаружилось, что на фронте далеко не все благополучно, в особенности в деле помощи больным и раненым. Чувствовалось, что нужно как то помочь; возникла общеземская организация, во главе с князем Львовым. А. И. Гучков уехал на Дальний Восток, как уполномоченный Красного Креста и как представитель города Москвы. А главное, становилось ясным, что это не та «маленькая победоносная война», о которой мечтал министр внутренних дел Плеве и которая помогла бы бороться против революционного движения, а надвигающаяся военная катастрофа, грозящая стране небывалыми потрясениями. И Мукден, и Лаоян, и гибель «Петропавловска», и сдача Порт-Артура и в особенности Цусима, трагически об этом свидетельствовали.

Военные неудачи на Дальнем Востоке поставили перед страной вопрос об ответственности и правительства, и всего режима за происшедшую катастрофу. Общественные организации стали реагировать. Первым заговорило Московское городское общественное управление.

30-го ноября 1904 года Московская городская дума должна была приступить к рассмотрению сметы на 1905 год. В заседании этого дня, перед обсуждением сметы, группа гласных внесла обширное заявление. В нем указывалось на то, что рассмотрение сметы доходов и расходов составляет один из последних

существенно важных актов настоящего состава, почему и нужно обратить «взгляд назад». И далее шла характеристика тех препятствий, которые встречались в деятельности думы: устарелый и неуравнительный городской налог; непредставление общине, вопреки постановлению закона, участия в некоторых видах государственных налогов; оставление на городской казне тягот обширных расходов общегосударственного характера; обременительность государственных обложений; непомерность натуральных повинностей, отбываемых населением исключительно по соображениям государственного порядка.

Вместе с тем записка указывала на те правовые условия, в которые поставлены городская община и население города, обязанные всегда подчиняться и подвергаться административным действиям и распоряжениям, во многих случаях несогласным с законом. Вследствие существующих условий, определяющих в русском обществе положение личности, права общей печати, пределы гласности и общих совещаний, живая и тесная связь общественного управления с населением и откровенное обслуживание общественных вопросов, — не существуют.

На основании вышеизложенного составители заявления «имели честь предложить» следующее постановление:

Представить высшему правительству, что, по мнению Московской городской думы, необходимо установить ограждение личности от внесудебного усмотрения; отменить действие исключительных законов; обеспечить свободу совести и вероисповеданий, свободу слова и печати, собраний и союзов; провести вышеуказанные начала в жизнь на обеспечивающих их неизменность незыблемых основах; выработать эти основы при участии свободно избранных представителей населения; установить правильное взаимодействие правительственной деятельности с постоянным на законе основанным, контролем общественных сил над законностью действий администрации.

Это заявление Московской «цензовой» думы занимает совершенно особое место в ряду тех многочисленных, либеральных, а иногда даже почти революционных записок, которые вскоре стали подавать правительству всякого рода общественные учреждения.

Конечно, она была навеяна теми земско-городскими совещаниями, которые стали собираться, с лета того года, «явочным» порядком. Но здесь характерна дата, — конец ноября 1904, т. е. более чем за месяц до петербургских событий. 9-го января 1905, — день, с которого началась революция.

Характерно и то, что она, несомненно, соответствовала настроениям, существовавшим тогда в первопрестольной. Это

видно прежде всего из того, что новые члены думы, которые по выборам декабря того же 1904 года вступали в ее состав, первым актом своей будущей деятельности ставили подпись под этим заявлением.

В числе таковых был и мой отец, и я очень хорошо помню, какое значение придавалось тогда этой подписи. Не знаю почему, но существовало опасение, что все подписавшие будут привлечены к ответственности и лишены избирательного права, примерно так, как впоследствии было поступлено с подписавшими Выборгское воззвание. Этого не случилось, но заявление было с определенностью продемонстрировано солидаристами.

Другим подтверждением указанных выше настроений было выражение Московским Биржевым комитетом сочувствия в связи с постановлением 30-го ноября. Это, правда, было во время Найденова и личной унии в деле лидерства в городе и на бирже.

Когда в начале того же, 1905-го года, на очередь стал вопрос о разработке положения о Государственной Думе и была, с этой целью, создана Булыгинская коммиссия, то представители московской промышленности живо на это реагировали.

Во всеподданнейшем адресе Московского торгово-промышленного сословия, поданном в феврале 1905 года, говорилось о призыве к работе в области государственной деятельности «подданных Ваших, объединенных родом своих занятий, в лице их избранников, опытом ознакомленных с насущными потребностями народной жизни. Торгово-промышленное сословие с готовностью принесет свои силы и знания служению, согласно предуказаниям Вашим, на пользу Отечества.»

14-го марта Булыгину была подана от всех торгово-промышленных организаций петиция, в которой указывалось на важное место, занимаемое промышленностью в жизни государства и общества, нужды которого не могут быть выражены представителями земств и городов, и доказывалось, что к совещанию должны быть привлечены выборные представителе промышленности. Это заявление было подписано С. Т. Морозовым, С. И. Четвериковым, Г. А. Крестовниковым, А. И. Коноваловым, П. П. Рябушинским, Н. С. Авдаковым, И. И. Ясюковичем, П. О. Гукасовым, В. В. Жуковским, и было вручено Булыгину особой депутацией в лице С. Т. Морозова, Э. Л. Нобеля и Н. С. Авдакова.

Выработка самого положения о Государственной Думе вызвала раскол в московских промышленных кругах. Московское Биржевое общество, как и многие другие организации,

предполагало заявить свои пожелания в Булыгинскую комиссию, разрабатывающую вопросы о правах будущей Думы и о выборах в нее. На собрании выборных Биржевого общества, 2-го июня 1905 года, значительное большинство высказалось за совещательную думу, на что меньшинство заявило протест. Одним из мотивов возражения против совещательного характера Думы была указана невозможность для «самодержавного Царя держать совет с выборными своего народа», как это было встарь, в первый период Романовской династии.

Повидимому, эта экскурсия в историю русской государственности была неизбежна по цензурным условиям времени, а мысль протестующих была простая и ясная: Дума должна быть законодательной.

Этот протест подписали 14 выборных, во главе с П. П. Рябушинским, В. А. Бахрушиным, И. А. Морозовым и др.

В этом же, столь значительном в истории предреволюционной России, 1905 году, начинается период подачи либеральных записок. Становятся частыми и земско-городские совещания. Во всех подаваемых записках отчетливо формулируется мысль о непосредственной зависимости судеб промышленности от культурных и политических условий народной жизни. Так Записка петербургских фабрикантов заявляет, что промышленность не может процветать там, где „народ бедствует.

Уральские промышленники говорят, что «дух инициативы и предприимчивости, столь важный для развития промышленности, живет только там, где каждый уверен в строгом соблюдении разумного и справедливого закона».

Южные горнопромышленники пишут, что «какая бы то ни была промышленность может развиваться только при условии существования прочных законов и сильной власти, всеми уважаемой и признаваемой». Наконец, Нижегородский биржевой комитет еще до 17-го октября пишет:

«Теперь, когда мы стоим, по-видимому, перед лицом полной революции, мы, как умеренные элементы, вновь должны указать правительству, вновь умолять его дать России правильное народное представительство, т. е. основанное на общем избирательном праве и с законодательной властью».

Заявление московских промышленников, редактировалось в том же духе.

«Нужны коренные реформы, — говорит докладная записка группы фабрикантов и заводчиков центрального района, — мы ясно видим, что сама промышленность находится в теснейшей зависимости от устойчивости правовых организаций страны, от

обеспеченности свободной инициативы личности, от свободы науки и научной истины и от уровня просвещения народа, из которого она вербует свои рабочие силы, тем более производительные, чем более они просвещены и материально обеспечены».

Записка московских фабрикантов и заводчиков заявляет также, что

…«недовольство рабочих, при прочном правовом порядке, при неотъемлемых гарантиях неприкосновенности личности, при свободе коалиций и союзов различных групп населения, связанных общностью интересов, могло бы вылиться в законные формы борьбы… Отсутствие в стране прочного закона, опека бюрократии, распространяющаяся на все области русской жизни, выработка в мертвых канцеляриях, далеких от всего того, что происходит в неостанавливающемся течении бурного потока жизненных явлений, норм и правил на все случаи многосложных народных потребностей, задерживают развитие хозяйственной жизни в стране».

Были и другие заявления, все примерно такого же содержания. Заметим, что они исходили всегда от «группы фабрикантов и заводчиков», — той группы, которая сорганизовала потом Общество фабрикантов и заводчиков.

Земские и городские съезды не один раз собирались в 1904-5 годах. Лейт-мотив всех обсуждений — необходимость созыва народного представительства на основании четырехгласной формулы.

Главная масса участвующих — либеральные земцы. Представители городских дум представляли значительное меньшинство, причем от городов в съездах сидели представители интеллигенции. С несомненной ясностью обнаруживалось, что распространенное ранее мнение о «купеческом засилии» в городских думах, по меньшей мере, пережиток прошлого. Если формально в составе лидеров земско-городских совещаний имеются «выходцы» из купечества (всегда приходится иметь в виду А. И. Гучкова), то, по существу, между организованной промышленностью и руководителями земско-городских съездов согласия нет: все попытки в этом отношении терпят неудачу.

Бюро, избранное на июльском съезде 1905 года, для подготовки проекта общеимперской организации промышленности и торговли, куда входили гр. Бобринский, Плезнер, Гужон, Коновалов, Нобель, Рябу-шинский и Триполитов, — уже в июле пыталось достигнуть координации действий с заседавшим тогда в Москве съездом городских и земских деятелей. Но почвы для соглашения не нашлось. Эта

попытка была возобновлена во время сентябрьского съезда земцев, но также успеха не имела. Сентябрьский съезд принял кадетскую аграрную и промышленную программу: принудительное отчуждение земли, восьмичасовой рабочий день, свободу стачек и т. д.

На том же съезде А. И. Гучков выступил против принятия постановлений об автономии отдельных областей (в частности — Польши) и децентрализации власти. Некоторые члены городской думы, из купечества (М. И. Карякин), земно ему за это кланялись, но дело сближения между земцами и промышленниками вперед не продвинулось.

Торгово-промышленную Москву отнюдь нельзя рассматривать, как однородную, политически единомышленную группу. В московском купечестве, как среди лиц русского торгового сословия вообще, были люди разных мнений, разных оттенков политической мысли. Были правые, были и левые. Были крайние правые; были, хотя и не особенно часто, и крайние левые, тесно связанные с революционным движением. Таковым, как я уже указывал, молва называла С. Г. Морозова, что имело некоторое внешнее подтверждение в его дружбе с Максимом Горьким. Настоящими революционерами являлись члены семьи мебельного фабриканта Шмидта, а в семье шерстяных фабрикантов Арманд были люди, весьма близкие Ленину.

ГЛАВА V

Февральская революция разразилась для Москвы — как, впрочем, и для всей России — неожиданно. Правда, после убийства Распутина вся страна жила в ожидании каких-то грядущих событий; считали неизбежным, что что-то должно произойти, что так, как раньше, продолжаться не может, но все-таки, когда в конце февраля из Петрограда стали приходить сведения, что перед булочными и мясными лавками хвосты и что население недовольно отсутствием или недостатком съестных продуктов, то никому решительно не приходило в голову, что Россия находится накануне грозных событий, что переворачивается страница ее многовековой истории и что не только приходит конец прежнему режиму, но и вообще все человечество вступает в новую эру своего существования.

Между тем, именно в Москве, где находились руководящие органы всероссийских общественных организаций, где, несомненно, был центр всей русской общественной жизни, можно было ожидать, что в тех кругах, которым было суждено придти на смену деятелей старой власти, что-либо знали или к чему-либо определенно готовились. Ни в Земском союзе, руководителю которого суждено было стать главою будущего правительства, ни в какой другой группировке, никто не подозревал, что революция так близка и главное, что она произойдет сама собою, без какого-нибудь внешнего толчка. Конечно, в Москве, как и повсюду, очень много говорили и о «дворцовом заговоре» и о «дворцовом перевороте».

Называли и имена некоторых именитых москвичей, прежде всего — А. И. Гучкова и несколько реже — А. И. Коновалова. Но, может быть, именно потому, что в Москве их хорошо знали, мало кто верил в серьезность такого начинания.

Я очень хорошо помню то «ультрасекретное» заседание в квартире московского городского головы М. В. Челнокова, о котором упоминает Н. И. Астров в своих воспоминаниях, приведенных Т. И. Полнером в его жизнеописании кн. Г. Е. Львова. На этом заседании Г. Е. Львов рассказывал своим собеседникам — нас было человек 10–12 — о своих беседах с «заговорщиками», с теми, кто как тогда думали, этот «дворцовый переворот» подготовляет.

Н. И. Астров удивительно верно передал то впечатление какой-то «неловкости», которая создалась у тех, кому в тот вечер довелось слушать Г. Е. Львова. Всем было ясно, что назревают грозные и трагические события, — кн., Львов, давая общий обзор

положения в Петербурге и в армии, сделал его в необычайно пессимистическом тоне, — и никто не знал, что надо делать, а, может быть, и не понимал сущности происходящего.

В той же книге Полнера приводится свидетельство и М. В. Челнокова, в гостиной которого мы тогда сидели, подтверждающее оценку Астрова и также устанавливающее, насколько кн. Г. Е. Львов был далек от этих, не казавшихся серьезными «конспирации».

С этого собрания мне пришлось идти вместе с моим большим другом — по общественной работе в городской думе и в Союзе городов, — С. В. Бахрушиным, будущим лауреатом сталинской премии. У него настроение было необычайно подавленное; положение казалось ему безнадежным и безысходным. Общественная Москва жила тогда исключительно работой на военные надобности, главным образом в области так называемой красно-крестной деятельности.

Бахрушину, как и мне, казалось, что если произойдут крупные революционные беспорядки, то они непременно вызовут военную катастрофу, следствием которой будет занятие немцами большей части России, в частности — Москвы.

Единственным забавным моментом, как мне помнится, на фоне обрисовавшейся перед нами мрачной картины, было упоминание имени М. И. Терещенко, которого в Москве знали очень мало. Его общественным стажем было председательство в Киевском Военно-промышленном комитете; знали, что он — один из магнатов свекло-сахарной промышленности, что для чина и для приобретения и придворного звания он служит чиновником особых поручений при конторе Императорских театров в Петрограде, что он светский и весьма приятный в обхождении человек, но никто не мог себе представить, что это и есть один из главных конспираторов.

Самый переворот в Москве произошел тихо и без особых внешних событий. Стрельбы на улицах, баррикад или каких-нибудь внушительных демонстраций не было; старый режим в Москве по истине пал сам собою, и никто его не защищал и не пытался этого и делать. Конечно, Москва не составляла в этом смысле какого-либо особого исключения: никто и нигде с оружием в руках не боролся за царский режим. Везде созрело сознание, что должно произойти коренное изменение существующего строя и, самое главное, что этого требуют обстоятельства военного времени.

Во время войны большой популярностью пользовался фельетон В. А. Маклакова, напечатанный в «Русских ведомостях» о безумном шофере, который, обычно, истолковывался, как

указание, что во время войны нельзя делать революцию. Уже не говоря об огромной, чрезмерной и несуразной мобилизации (называли цифру в 22 миллиона призванных под ружье), сосредоточившей в городах большое количество запасных, которых нельзя было как следует учить, и которым, в сущности говоря, нечего было делать, в результате чего они и стали солдатами не армии, а революции, — всё «приятие» переворота и в высшем командовании, и среди чиновничества, не говоря уже об общественных кругах, исходило из того сознания, что если ничего не изменится, то Россия победить не может. Уверенность, что случившаяся революция нужна для войны, для победоносного ее исхода, заставила всех ответственных и государственных деятелей признать революцию во время войны, как единственную необходимость для успешного ее окончания.

Нужно еще прибавить, что огромную роль сыграла несомненная непопулярность династии и самая личность последнего Императора.

Трудно теперь себе представить, какую важную и роковую роль в ходе войны и в ходе русской истории сыграло вступление в августе 1915 года Государя в верховное командование. Редко когда русское общественное мнение было столь единодушно, как в оценке этого акта. И в общественных кругах, и в высшей административной иерархии — достаточно вспомнить выступление Совета Министров — все были единодушны в отрицательном отношении к этому акту. Не то, чтобы высоко оценивали предшественника Государя по верховному командованию, — вел. князя Николая Николаевича. В военные таланты великих князей в общественных кругах вообще мало верили.

Известная думская речь А. И. Гучкова о той опасности, которую представляет для дела обороны страны фактическая безответственность великих князей на высоких командных постах, несомненно отражала настроения широкой публики.

О той страшной роли, которую сыграл вел. князь и в особенности его жена, одна из «черногорок», в деле насаждения нездорового мистицизма в Царском Селе, тогда уже выродившегося в распутинщину, знали мало, но говорили много, и это не способствовало увеличению популярности Верховного главнокомандующего. И все-таки об его вынужденном уходе сожалели, рассматривали его, как жертву распутинской клики, и надеялись, что рано или поздно он возвратится в ставку. Всё это нельзя объяснить иначе, как сугубой непопулярностью перемен, произведенных в верховном командовании и общим нерасположением к Государю.

Говорили еще о личном обаянии Николая II, о его прекрасных, удивительных глазах, очаровывавших тех, с кем он разговаривал. Конечно, нам, людям из московской городской или промышленной общественности, не имевшим никакого соприкосновения ни с царской семьей, ни с придворной жизнью, судить об этом довольно затруднительно. Был, однако, один эпизод, заставивший нас в этом сильно сомневаться: в конце 1915 года Государь приезжал в Москву, ознакомиться с тем, что делалось в ней для войны. Ему были представлены в одной из зал Кремлевского дворца все, кто нес мало-мальски ответственную красно-крестную работу. Он делал общий обход, а затем подробно беседовал с теми, кто руководил отдельными областями этой деятельности. Таких было человек 8-10.

Я входил в их число, как заведующий по — городу Москве отделом помощи семьям призванных в войска. На меня эта обязанность легла потому, что я был председателем пенсионной комиссии городской думы.

Государь подробно нас расспрашивал о том, как организована работа и какие она дает результаты. Он был очень внимателен, но говорить было необычайно трудно: он не смотрел на своего собеседника, глаза его были опущены, и совсем нельзя было понять, какое впечатление производит на него делаемый ему доклад и, в конечном счете, всё это было чрезвычайно тягостно. После приема, когда мы обменивались впечатлениями, оказалось, что все были единодушны в своих оценках.

Отношение к императрице было еще более враждебным. Кроме, может быть, небольшого круга близких ей людей, ее нигде не любили и раньше. Во время войны ее обвиняли в двух вещах: во-первых, в том, что она немка и сочувствует немцам — в этом она, конечно, не была виновата, а во-вторых, в покровительстве Распутину, в чем она была, несомненно, повинна.

До революции сравнительно мало знали о действительном положении дела, о том роковом влиянии, которое на императорскую семью оказывали всякие проходимцы, вроде предшественника Распутина, французского целителя Филиппа или небезызвестного доктора Папюса.

Некоторые наивные историки революции, вероятно, добросовестно не подозревали, говоря о «жидо-масонских» ее корнях, что единственным моментом несомненного масонского влияния на судьбы российские была мартинистско-масонская деятельность Папюса и создание в недрах Царского Села мартинистской ложи «Крест и звезда».

О придворных оккультистских похождениях Филиппа и

Папюса в Петербурге в начале текущего столетия много говорили. Об этом свидетельствуют дневники А. А. Половцева и Н. А. Бобринского, а также воспоминания Витте.

Но мало кто представлял, куда это поведет Россию и что именно это погубит монархию. Во всяком случае, трудно не согласиться с Витте, что пресловутые «черногорки», Милица и Анастасия Николаевны, толкнувшие царственную чету на путь нездорового мистицизма, «много зла наделали России».

В торгово-промышленных кругах Москвы непопулярность царской семьи, конечно, весьма сильно сказывалась, но, помимо соображений общего политического характера, были и свои собственные основания для своеобразной фронды.

Как это ни покажется странным, до самой революции (а в некоторых «обломках крушения» это настроение живо и поныне), в некоторой части так называемого высшего общества и крупного чиновничества было необычайно презрительное отношение не только к торгово-промышленным деятелям, в огромном большинстве недворянам и часто недавним выходцам из крепостного крестьянства, но и к самой промышленности и торговле.

Иногда это прикрывалось своеобразными экономическими теориями, вроде того, что Россия, мол, страна исключительно земледельческая и в промышленности не нуждается, либо политическими, — что Петр Великий, начав создавать в Росии промышленность, свел страну с ее исконного пути и от этого пошли все несчастья. Как бы то ни было, это по меньшей мере пренебрежительное отношение существовало и, нужно сказать, довольно болезненно переживалось в Москве, в особенности в тех наиболее культурных промышленных кругах, которые имели общение с Западом и знали, какую роль в современном государстве играют вопросы народного хозяйства и что делается для поднятия и развития производительных сил страны.

Конечно, и промышленная среда платила тем же:

в купеческой Москве того времени не было пиэтета к разорившемуся и «ни на что не пригодному» дворянству. П. П. Рябушинский, сказавший в своей речи на коноваловском юбилее столетия фабрики в 1912 году, что купцам «не нужно гоняться за званием выродившегося русского дворянина», отразил, в некотором смысле, общее настроение.

Рябушинского за его речь осуждали, находили ее бестактной, но по существу многие думали, как и он. Над теми, кто добивался стать «штатским генералом», т. е. получить чин действительного статского советника, что автоматически возводило в дворянство, — обычно подсмеивались, в особенности, если это

касалось дел благотворительности, т. е. производства по ведомству учреждений Императрицы Марии.

Был и другой способ достигнуть того же самого: пожертвовать свои коллекции — а каждый что-нибудь да собирал — не городу или общественным учреждениям, как сделали это братья Третьяковы со своей знаменитой галлереей, а Академии Наук, за что обычно жаловали «чин 4-го класса». На моей памяти так поступили А. А. Титов из Ростова Ярославского, передавший в Академию свое ценное собрание памятников русской истории, и А. А. Бахрушин, поступивший точно так же со своей, изумительной по богатству, «театральной» коллекцией. Оба стали «генералами», получили потомственное дворянство, но общественное мнение их не оправдывало.

Далеко не во всех общественных кругах, бывших в оппозиции к прежнему строю, ожидавших перемены, или считавших, по тем или иным основаниям, перемену эту неизбежной, разразившаяся неожиданно для них февральская революция вызвала чувство восторженного ликования. В то время, как в левом секторе переворот вызвал энтузиазм и ощущение победы, уже в кадетских кругах отношение было двойственное и более сдержанное. Были энтузиасты, — таким, например, оказался доктор Н. М. Кишкин, фактический руководитель Союза городов и будущий московский губернский комиссар, засевший в генерал-губернаторском дворце на Тверской.

Уже у Астрова настроение было иным и скорее преобладало чувство тревоги. Еще больше тревоги было в промышленной среде. На бирже знали, что революция только начинается, а до чего она дойдет — неизвестно. Энтузиасты говорили о «величии совершавшегося», о «великой бескровной»; скептики утверждали, что «бескровным» было падение прежнего режима, который рухнул сам, революция же будет, как и другие были, — «кровавой» и видели подтверждение в начавшихся зверствах против офицеров, преимущественно во флоте. Эта-то тревога за будущее и вызывала у людей с больными нервами состояние некоторой истерики.

После переворота деятельность на бирже притихла. Хотя революция, в начальном своем этапе, и не была еще ни «социальной», ни «социалистической», но чувствовалось, что крупным собственникам не время слишком напоминать о своем существовании. На «Ильинке» как-то больше ощущалась неустойчивость создавшегося положения, беспомощность Временного Правительства и неизбежный уклон влево. Очень характерно, что, несмотря на участие в первом составе правительства князя Львова, представителей крупной

промышленности, каковыми были Коновалов, Терещенко и лица, вышедшие из московской торговой среды, как Гучков, — никто в биржевых кругах не считал это правительство своим, а каждый скорее опасался, что в надвигавшейся борьбе «личной инициативы» против «огосударствления» всей хозяйственной жизни названные лица слишком быстро сдадут свои позиции.

Собирались, однако, часто, может быть, чаще прежнего, но преимущественно для «информации». И новый уклад жизни, и темпы, в которых развертывались события, лишали Биржевой комитет его прежней роли — совещательного органа по вопросам народного хозяйства. Как пример можно указать, что грандиозная финансовая реформа, начатая Шингаревым и оконченная Бернацким, прошла без всякого отзыва со стороны заинтересованных лиц, в частности промышленных организаций.

Лично в мою общественную работу февральский переворот внес весьма существенные перемены. Состав гласных московской городской думы после революции автоматически переменился. Как известно, выборы нового состава гласных, имевшие место в конце 1916 года и давшие абсолютную победу «прогрессивному списку», не были утверждены городским присутствием, и продолжал действовать прежний состав, деливший думу на две почти равные части: правую и левую.

После переворота состав гласных, избранный за три месяца до того, вступил в отправление своих обязанностей. Стал на очередь вопрос о выборе городского головы и его товарища. В прежнем составе городским головой был член Государственной Думы М. В. Челноков, из московской купеческой семьи, ранее работавший больше в земстве. Он был правым кадетом и не пользовался большим авторитетом в городском комитете партии. Были даже затруднения при его выборах, так как отдельные члены комитета, в особенности профессор Кизеветтер, не состоявшие гласными, очень противились его избранию.

Был он также и главноуполномоченным Всероссийского Союза городов, где впрочем нес лишь представительство по сношению с Петербургом. Текущее руководство было почти целиком в руках Н. М. Кишкина и отчасти у меня, как второго «заместителя главноуполномо-ченного». Союз городов в сильной степени был «кадетской» организацией. И в Союзе городов у Челнокова отношения с кадетами были, что называется, прохладными. Как-то так получилось, что после революции Челноков сразу стал «несозвучен эпохе». Вопроса об его кандидатуре в новом составе, насколько помню, вовсе не ставилось.

Сразу вышла на очередь кандидатура лидера прогрессивной

группы гласных и одного из главных лидеров всей московской общественности Н. И. Астрова. С выборами товарища головы дело было сложнее. Товарищем городского головы в течение последних десяти лет был В. Д. Брянский, человек очень одаренный, но скорее чиновник, чем общественный деятель. Он хорошо знал городское хозяйство, имел известный авторитет, но политически был фигурой неясной. Человек правых убеждений, он действовал, часто и подолгу исполняя обязанности городского головы, при левом большинстве в думе; не всегда это хорошо удавалось. «Прогрессивную группу» он не любил, а ее руководители платили ему тем же. Конечно, у него не было никакой возможности сохранить свою должность. Но так сказать естественного кандидата на его место не было.

Конечно, нужно было искать заместителя Брянскому среди членов управы. Выдвинулась кандидатура одного из самых дельных среди таковых, ценнейшего работника по городскому хозяйству, к тому же партийного кадета, — инженера П. П. Юренева. Юренев согласился, но он не был специалистом в деле городских финансов. Тогда решили выбрать не одного, а двух товарищей городского головы, — одного преимущественно для заведывания финансами. Эту должность предложили мне. Я согласился.

Работа в городском общественном управлении меня очень интересовала. Я с молодых лет к ней готовился, о чем уже говорил подробно в этой книге.

С Н. И. Астровым мне много приходилось работать вместе и это было не очень легко, несмотря на то, что отношения между нами были, в общем, хорошие. Работа в Союзе городов не должна была, казалось мне, препятствовать этому совместительству, во-первых, потому, что это был тот же круг вопросов и те же постоянные поездки в Петербург, а во-вторых, после революции, в виду фактического затишья на фронте, темп работы сразу сильно замедлился и, хотя я остался один во главе комитета, — Кишкин ушел в губернские комиссары, а Челноков вообще отошел от активной деятельности, — ежедневная работа в главном комитете брала у меня гораздо менее времени, чем раньше. На бирже, как я уже указывал, дела стало тоже меньше, а в торговом деле, из-за большого недостатка в товарах, начиналось полное затишье.

Среди гласных моя кандидатура встречена была с сочувствием, выборы были обеспечены. Помню, что я посоветовался с Третьяковым, который к моим предположениям отнесся довольно кисло, утверждая, что вся общественная жизнь идет к развалу, и что мне ничего не удастся сделать.

Сейчас же после моего вступления в должность — ввиду

революционного времени все прочие формальности были устранены — для меня начались неприятные сюрпризы. Когда на утро после выборов я приехал в управу, рассчитывая встретиться с В. Д. Брянским, ожидая, что он мне сдаст дела, я с удивлением узнал, что в то же самое утро мой предшественник уехал в Крым, оставив ключи на своем письменном столе, в котором деловых бумаг почти не было.

Я был не только задет таким бесцеремонным поступком, но и весьма озадачен, опасаясь непредвиденных, серьезных для меня затруднений. Мои ближайшие сотрудники были возмущены таким необщественным

методом действий и, не за страх, а за совесть, помогли мне сразу разобраться во всем, что было связано с моими новыми обязанностями. В моем непосредственном ведении, кроме финансового отдела и казначейства, были: контрольный отдел, бухгалтерия, воинское присутствие, городской комитет по отсрочкам, юридическая часть и так называемое первое отделение, т. е. личный состав, и, наконец, помощь семьям призванных.

Все это оказалось не таким страшным, так как во главе каждого отдела стояли старые, испытанные руководители, с большинством коих я был и ранее хорошо знаком. Делопроизводство в московской городской управе было организовано с большим техническим совершенством, и московская общественность им, по справедливости, гордилась. Это было подлинное общественное служение, с весьма своеобразной иерархией и с огромным накопленным деловым и техническим опытом.

Москва, конечно, не была единственным исключением в цепи русских земских и городских управлений, но она, несомненно, стояла среди них на первом месте. И если в Союзе городов приятно было работать, так как приходилось организовывать новую деятельность и новое учреждение, то работа в московской городской управе была поистине приобщением к старой общественной традиции местных самоуправлений.

Другой сюрприз был еще более неприятным. Московские городские финансы складывались тогда из двух источников: во-первых, действовал обычный городской бюджет с обычными источниками дохода:

налогами и сборами, доходами городских предприятий и т. д.; во-вторых, по красно-крестной работе — в Москве она была целиком в ведении городской управы — получались ассигновки от правительства, через Особое совещание по обороне; суммы поступали огромные, но приходили с запозданием. Так как был

проведен принцип «единства кассы», то всегда был так называемый «кассовый дефицит», — недостаток оборотных средств, достигавший весьма больших размеров. Чтобы его покрыть, производился, в московских банках, учет финансовых векселей на крупную сумму — несколько десятков миллионов. Учет векселей свершался с правительственной гарантией, предоставлявшейся главным управлением по делам местного хозяйства, по соглашению с департаментом Государственного казначейства.

В первые же дни после моего вступления в должность нужно было совершить очередной переучет городских векселей. Эта операция, как и все городские операции, были быстро проведены по трансферту, и векселя отправлены в отделение Волжско-Камского банка. Вскоре, однако, мне сообщили, что управляющий отделением просит меня лично приехать в Банк. Я был акционером Волжско-Камского банка и состоял в учетном комитете московского отделения. Управляющим был К. Ф. Корженецкий, по прозванию «генерал», так как он имел чин действительного статского советника (У него в числе служащих был специальный курьер, главной обязанностью коего было входить в кабинет управляющего, когда тот беседовал с клиентами и называть Корженецкого «Ваше Превосходительство». Корженский уверял, что это сильно помогает ему при деловых переговорах.).

У меня с ним были самые приятельские отношения и потому, с весьма смущенным видом, он заявил мне, что не может произвести переучета без санкции банковского комитета и что сам он тут не при чем. Меня это возмутило, но делать было нечего, и я отправился к А. Д. Шлезингеру, председательствовавшему в московском банковском комитете.

В Купеческом банке я также был пайщиком и недавно перед этим присутствовал на общем собрании. Шлезингер очень вежливо и все время извиняясь, сказал мне, что он тоже тут не виноват, что это от него не зависит и что вопрос слишком важный, чтобы решать его в Москве. По его словам, я должен заручиться согласием Центрального банковского комитета, заседавшего в Петербурге и, если я таковую санкцию получу, то с его стороны препятствий не будет.

Когда по возвращении в управу, я доложил это дело Н. И. Астрову, то он, что называется, «скис». Видимо он сразу решил, что чаяния и его, и его друзей, что я окажусь связующим звеном между городом и банковскими кругами, не оправдались и что, очевидно, зря меня выбрали. Я сказал Астрову, что нужно ехать в Петербург и что я выеду в тот же вечер. При этом я его

предупредил, что, может быть, возникнут некоторые вопросы, касающиеся дальнейшего хода городского хозяйства, и тогда придется звонить из Петербурга по телефону. Мы условились о времени вызова и о том, что он ответит.

В Петербурге, на другое утро, я прежде всего отправился к Н. Н. Авинову, назначенному князем Львовым начальником главного управления по делам местного хозяйства. Перед этим Авинов был членом московской городской управы и ведал именно тем первым отделением, где было городское казначейство. С ним я постоянно работал вместе по делам о помощи семьям призванных. У нас с Авиновым были самые лучшие отношения, и я вспоминаю о нем, как об одном из самых сведущих, авторитетных и приятных в обхождении городских общественных деятелей, с которыми мне когда либо приходилось встречаться.

К моему удивлению, он оказался в курсе дела и посоветовал мне сначала попробовать действовать самому в Банковском комитете, а если не выйдет, то начать хлопотать через министра финансов, коим тогда был еще Терещенко. Я так и поступил, и немедленно отправился к председателю Банковского комитета, А. М. Вышнеградскому. Мы были знакомы, но очень мало. Он тоже знал, о чем я приехал говорить и предложил мне собрать Банковский комитет в тот же день, после завтрака, что я счел, конечно, большой любезностью.

Собрание оказалось довольно многолюдным, но я мало кого знал. Помню, что В. А. Каминка всячески старался меня ободрить, хотя и не скрывал, что существует сильное течение против новых «социалистических городских дум». По отношению к Москве это было совершенно не верно, так как в составе гласных, кроме А. А. Титова и Д. В. Филатова, никаких социалистов не было.

Я в первый раз в жизни был в собрании Банковского комитета, хотя имел для этого ценз, так как состоял членом совета Московского Торгового банка. Впоследствии, и в Москве, и на Юге России, и в Сибири, — я неоднократно бывал на таких собраниях.

Меня посадили напротив председателя, а рядом со мною поместился Каминка. Вышнеградский открыл собрание, сразу предоставил мне слово, а сам, вынув из кармана газету, стал демонстративно ее просматривать, очевидно желая показать, что вопрос его не интересует. Скоро, однако, он газету отложил и стал слушать.

Студенческие сходки научили меня говорить в недоброжелательной аудитории, которая постоянно прерывает оратора. Здесь никто не прерывал, но известное недоброжелательство чувствовалось. Я заранее хорошо продумал,

что нужно сказать, и выполнил это с достаточной точностью.

Я начал с того, что указал, что жизнь города, несмотря на происшедшие политические перемены, продолжается, и что она нужна для всех, живущих в нем; что я лично принадлежу к той же общественной группе, как и те, перед кем я говорю. Поэтому, одно из двух: либо они докажут мне ненужность, даже вред того, о чем я прошу, либо, если они этого открыто сделать не могут, или не хотят, то я должен их убедить в том, что они обязаны дать мне удовлетворение. Закончил я тем, что напомнил, что при правительственной гарантии переучет городских векселей не представляет риска, операция теряет финансовый характер, а противодействие ей приобретает характер политической демонстрации, банкам же нет основания заниматься политикой.

Свое выступление в Банковском комитете по вопросу об учете городских векселей я считаю самым крупным за всю мою жизнь ораторским и общественным успехом. Говорил я довольно долго и к концу речи ясно чувствовал, что мое дело выиграно.

Вышнеградский стал меня слушать с несколько изумленным вниманием, Каминка одобрительно покачивал головой и я начал понимать, что ломлюсь в уже открытую дверь. После моего выступления Вышнеградский почему-то запросил мнение представителя Кооперативного банка, тот явно не знал, что сказать, а Каминка заявил, что вопрос ясен и что не надо и голосовать, так как все согласны.

По возвращении в Москву Астров очень сердечно меня приветствовал, и видно было, что он передумал и решил, что меня выбрали «не зря». Больше того, — он решил меня не отпускать и препятствовать моему уходу.

Наш последующий разговор с ним был гораздо менее приятен, или, вернее сказать, не был облечен в рамки внешней и поверхностной вежливости. В двадцатых числах мая первый министр торговли и промышленности Временного Правительства А. И. Коновалов вышел в отставку. Князь Г. Е. Львов предложил мне заступить его место.

Помню, был праздник Св. Троицы, и я на два дня поехал к своей семье, которую я видал сравнительно редко и которая жила в нашем подмосковном имении по Николаевской железной дороге. Первый день моего там пребывания прошел спокойно и без всяких событий, а на второй, Духов день, — неожиданно появился автомобиль городского головы, — роскошная по тому времени машина Панар-Левассер, — и шофер Зябкин вручил мне письмо Астрова, в котором тот извещал меня о вызове кн. Львова и просил немедленно приехать в Москву и быть готовым в тот же вечер ехать в Петербург.

Заканчивал Астров свое письмо просьбой по приезде в Москву немедленно приехать в городскую управу, где он в 4 часа будет меня ожидать. Мне оставалось подчиниться и я отправился на том же автомобиле в Москву; дачные поезда в то время ходили довольно нерегулярно. Астрова я нашел в назначенное время, в его, столь знакомом мне кабинете городского головы, где всегда происходили собрания важнейших городских комиссий, в частности — финансовой, и он подтвердил мне, что кн. Львов срочно меня вызывает и что я, несомненно, немедленно по приезде в Петербург буду назначен министром торговли.

Мне было ясно, что Астрову не хочется, чтобы я покинул свое место в управе и думаю, что это было не только потому, что он считал, что я и впредь сумею доставать для города деньги, но и потому, что к этому времени мы трое, — он, Юренев и я — уже хорошо «сработались» и работали довольно дружно. Он заметно удивился, когда я ему сказал, что не хотел бы принимать назначения, так как мне самому жалко уходить из управы, где, как мне кажется, я могу принести, может быть, и не большую, но реальную пользу.

На другой день я отправился к кн. Львову. Его кабинет находился в доме № 3 по Театральному переулку. Я уже несколько раз перед этим у него бывал и всегда он встречал меня очень радушно, обычно приглашал у него позавтракать, и я с удовольствием встречал у него своих добрых знакомых по Земскому Союзу, которых он взял с собой в Петербург.

И на этот раз он был чрезвычайно приветлив, сказал, что указ о моем назначении уже заготовлен и что я могу сегодня же вступить в должность. Когда я ему сказал, что не хотел бы бросать свою работу в Москве, то он, как мне показалось, искренно огорчился. Он указал, что работа, на которую он меня зовет, имеет более важное значение, но согласился со мною, что я должен повидаться предварительно с некоторыми из членов правительства. Я имел в виду Терещенко, Шин-гарева и Коновалова.

Не помню почему, но с Шингаревым мне не удалось в то утро встретиться. Терещенко уже находился в министерстве иностранных дел, куда я к нему и заехал. Он был чрезвычайно любезен, наговорил массу лестных вещей по моему адресу и советовал принять назначение, заверяя, что он лично будет очень рад со мною работать.

Я был слишком избалован своими успехами в общественной деятельности, чтобы добиваться какого либо места при явном сопротивлении моих политических друзей. Я привык, что меня встречали с распростертыми объятьями все те, с кем мне

доводилось работать. Но в основе мне все-таки было жаль оставлять свое место в управе, тем более, что в Петербурге слишком чувствовалась непрочность всякой новой министерской комбинации, и пребывание на высоком посту министра могло оказаться весьма кратковременным.

Когда во второй половине дня я опять появился у кн. Львова, то, к моему удовольствию, тон его был уже несколько иным. Я понял, что он не раз, за мое отсутствие, беседовал с Москвой. Князь сказал мне, что он понимает мое нежелание бросать роботу, которая началась так удачно — он, конечно, имел в виду Банковский комитет — что он сохраняет свое предложение, но не настаивает и предоставляет мне решать самому. Я поблагодарил, отказался и в тот же вечер вернулся в Москву. Расстались мы с князем друзьями и в дальнейшем, часто бывая в Петербурге, я попрежнему заезжал к нему.

Таким исходом дела Астров был явно доволен.

Все лето 1917 года прошло у меня между Москвой и Петербургом, куда мне постоянно приходилось ездить по тем или иным делам города, а отчасти и Союза городов. В последнем произошли перемены. После собранного мною апрельского съезда, за что меня сначала очень осуждали, говоря, что я «сдаю позиции», — был избран новый комитет на «паритетных началах». Был несколько изменен «регламент» и упразднена должность «главноуправляющего». Астров стал председателем главного комитета, а я — председателем «исполнительного бюро». В своих «политических выступлениях» я должен был действовать в согласии со своими «социалистическими коллегами». Помню, что утверждение редакции приветственной и совершенно невинной по содержанию речи, которую я должен был сказать от имени Союза городов Альберу Тома на торжественном собрании, устроенном в его честь, представило много технических трудностей.

Вообще с приездами «знатных иностранцев» у меня было немало хлопот, несомненно, потому, что я был один из немногих, более или менее свободно изъяснявшихся на иностранных языках. Самым значительным событием этого рода был описанный мною выше приезд двух французских социалистов, Мутэ и Кашэна, и сопровождение их мною по нашим знаменитым картинным галлереям, начиная с Третьяковской… Удивляясь богатству русских коллекций, они и многому другому удивлялись. Мутэ говорил, что он знает, что многие его собеседники сомневались в искренности его социалистических убеждений, видя, что он носит крахмальные воротнички и хорошие ботинки. Он долго говорил мне о глубоком различии французской и русской психологии,

приводя, как пример, что никто не просит, а скорее отказывается от возможности получить орден Почетного Легиона, каковой, видимо, наши французские гости могли легко выхлопотать. Мне показалось, что это был лестный для меня намек, но я, конечно, сделал вид, что ничего не понял, — с самого начала войны в нашей группе было соглашение не «исходатайствовывать» никаких награждений. Я не припомню, чтобы кто-нибудь отступил от этой общей линии.

Абсолютное непонимание приезжими гостями того, что происходило в России, было общим и, так сказать, раз навсегда установленным. Некоторые уже тогда — помнится Вандервельде, — говорили о «Востоке и Западе».

Астровская управа просуществовала недолго. Во второй половине июля состоялись выборы в новую Думу. Это были первые выборы по «четырехвостке» и с применением пропорциональной системы. Всех избирательных списков — во всяком случае таких, по которым были избраны новые гласные, — было пять:

четыре социалистических и один «буржуазный», — партии Народной свободы, включивший нескольких беспартийных, в частности меня. Не принадлежал официально к партии, кажется, и Л. Л. Катуар. По этому списку прошло немногим более двадцати человек, почти столько же, сколько и у большевиков. Список № 3 — социалистов-революционеров — получил абсолютное большинство.

Сразу, конечно, стал на очередь вопрос о выборе новой управы. На должность городского головы была выдвинута кандидатура В. В. Руднева. Вне его партии Руднева никто не знал. Он был, конечно, выбран и, по условиям того времени, выбор оказался очень удачным. Ближайшим его заместителем был назначен Студенецкий, также социалист-революционер. Я его очень хорошо знал, так как он был управляющим делами городского комитета по отсрочкам военнообязанным, где я сначала был членом от Союза городов, а потом председателем. Студенецкий, сразу после выборов, стал настаивать, чтобы я остался товарищем городского головы, говоря, что мои перевыборы обеспечены. Руднев, познакомившись со мной, сделал мне официальное предложение. Я был склонен согласиться, но положение было сложным и деликатным.

Дело в том, что выборы, по признаку пропорционального представительства, как будто предрешали и пропорциональный состав управы, т. е. в состав «президиума», состоявшего из товарищей городского головы, которых предполагалось избрать несколько, должны были войти представители всех списков. На

самом деле, однако, ни большевики, ни меньшевики в число товарищей городского головы не вошли. Кадеты же, к моему некоторому удивлению, охотно дали мне инвеституру. Я счел это недостаточным и решил получить также и мандат от биржи, т. е. фактически от Третьякова. Наш разговор на эту тему был ему не по сердцу, и он пытался уклониться от прямого ответа, но я ему заявил, что если он письменно мне не подтвердит, что Биржевой комитет хотел бы видеть меня в составе управы, как представителя «цензовых элементов», то я немедленно заявлю о своем отказе баллотироваться и причиною приведу именно позицию, занятую Третьяковым. Для него это было нежелательно, так как это обострило бы его отношения с левыми, что в свою очередь затруднило бы ему в будущем вхождение в состав правительства, что все время было его затаенной мечтой.

Поэтому, скрепя сердце, он написал соответствующее письмо Астрову. Я счел однако все эти предосторожности недостаточными и на время выборов уехал из Москвы, на несколько дней, в Кисловодск, на отдых, написав Астрову, что прошу его решить вопрос о моих выборах. В это письмо я вложил два заявления: одно о согласии баллотироваться, другое с отказом и просил Астрова подать в день выборов то, которое кадетская группа найдет нужным. Я был переизбран в моем отсутствии и оказался единственным в России товарищем городского головы, избранным «цензовой» думой и переизбранным «социалистической». Должен прибавить, что все приведенные выше предосторожности не помогли.

Меня не раз обвиняли, что я нарушил «буржуазный фронт», которого, кстати сказать, никогда не было, и пошел поддерживать эс-эров из-за симпатии к их политическим убеждениям, что уже было совершенной чепухой. Управская моя работа продолжалась в общем на прежних основаниях, но круг моих обязанностей значительно сузился. Некоторые отрасли — воинское присутствие и комитет по отсрочкам — по условиям времени сошли на нет. Остались, главным образом, финансы, в отношении которых дело стало гораздо более сложным. Работать с Рудневым было легко, легче, чем с Астровым. Он без труда брал на себя ответственность по разным вопросам, и я был спокоен, убедившись на опыте, что если с ним договориться о том, как нужно действовать, то он в точности выполнит всё, что было условленно.

Продолжались и мои постоянные поездки в Петербург. В одну из таких поездок произошел эпизод, который мог бы оказать, если бы я того захотел, огромное влияние на всю дальнейшую жизнь, мою и моей семьи. Я всегда останавливался в «Европейской гостинице», где меня хорошо знали и где я всегда мог получить

комнату. Однажды утром ко мне неожиданно приехал мой лицейский одноклассник М. С. Дмитриев-Мамонтов, по лицейскому прозвищу «Лимон». В лицее мы с ним были очень дружны, но по окончании курса в 1905 году наши пути разошлись и мы ни разу не встретились. Оказалось, что он служит в министерстве финансов. Он мне сразу сказал, что приехал по делу и, когда я спросил, что он от меня хочет, то он мне ответил, что имеет ко мне поручение от группы своих сослуживцев.

— О тебе у нас много говорят, — сказал он, — как об одном из возможных кандидатов в руководители нашего ведомства. Ты можешь использовать это благоприятное для тебя положение тем, что мы, учитывая твое возможное назначение, поможем тебе перевести заграницу, по казенному курсу (который был тогда, если память мне не изменяет, 12 рублей за 1 фунт стерлингов) твои деньги. Всего твоего состояния перевести, конечно, нельзя, но три-четыре сотни тысяч фунтов стерлингов перевести вполне возможно.

В то время денег у нас было достаточно, контрвалюту я мог бы вычесть без всякого труда, но я не стал его слушать дальше, прекратил разговор и даже не пригласил его с собою позавтракать, что обычно делал, когда ко мне кто-нибудь заезжал в гостиницу. Тогда и в голову не могло придти, что можно переводить деньги заграницу, настолько это казалось непатриотичным. В московских общественных кругах такое мнение было единодушным, исключения были чрезвычайно редкими и касались лиц, с общественной деятельностью совсем не связанных. Конечно, после советского переворота настроение изменилось.

Мой лицейский сотоварищ был прав, говоря, что меня прочили в кандидаты «в министры»; прочили меня и в министерство торговли, и в министерство финансов, и в государственные контролеры. Я попреж-нему никуда идти не собирался, но разговаривать — разговаривал. Когда кн. Львов ушел из министров-председателей и его заменил Керенский, то мы с ним часто беседовали о возможных назначениях.

Я, конечно, сильно виноват в том, что, попрежнему не собираясь уходить из Москвы, никогда не отказывался от разговоров. В свое оправдание могу сказать, что все подобного рода переговоры чрезвычайно помогали иметь большую чем у других, осведомленность об общем положении в данный момент, а я всегда любил знать в подробностях, что происходит. К моему упорному нежеланию покидать Москву прибавились и новые соображения. В ходе этих переговоров о формировании правительства — а от половины июля до половины сентября их

было немало, — мне пришлось не раз встречаться с кандидатами, стоявшими на диаметрально противоположной, чем я, точке зрения в вопросе об их участии в правительстве. Они всяческими путями добивались «высокого назначения», доказывая всем и каждому, что они будут полезны в деле спасения Родины. Русским общественным традициям вообще несвойственны приемы, широко распространенные на Западе, в частности во Франции, ставить самому свою кандидатуру. У нас обычно «предлагали избрание», просили поставить свой избирательный ящик, уговаривали баллотироваться. Даже те, кто сами хотели быть избранными на какую-либо должность, обычно шли окольными путями, через друзей и знакомых. Поэтому кандидаты, предлагавшие свои услуги для несения министерских обязанностей, представляли на фоне русской действительности, смешные и жалкие фигуры. Мне не очень хотелось быть в их числе.

Другая причина — это начавшееся со второй половины лета почти открытое противодействие Москвы моему назначению. Милюков в своей «Истории» второй русской революции пишет, что Керенский хотел меня назначить, но московская промышленная группа была против. Это верно, — с тем добавлением, что я и сам был «против». Теперь, тридцать четыре года спустя, мне трудно утверждать, пошел ли бы я, если бы меня со всех сторон просили, но этого не было. Вступить же в борьбу на этой почве я не собирался.

В ходе работ в новой городской управе на меня было возложено поручение, выполнение которого я считаю одним из самых интересных моментов моей очень богатой впечатлениями жизни. Во время одной из очередных поездок в Петербург меня неожиданно попросил заехать к нему Н. Д. Авксентьев, тогда министр внутренних дел. Мы были с ним, до той поры, незнакомы, и я понял, что дело идет о каком-то важном поручении. В самом деле, он сообщил мне о решении правительства созвать в Москве Государственное Совещание, и дал ряд указаний, как я должен был словесно доложить Рудневу и городской управе.

Я выполнил эту миссию на другой же день и, вероятно, потому, что я был первым докладчиком по этому делу, на меня и была возложена техническая подготовка совещания, состоявшегося в десятых числах августа и происходившего в Московском Большом Театре. Опасались каких-то беспорядков, и мне было поручено по возможности лично вручить входные билеты всем участникам совещания. Это не представило

особых трудностей: почти все, кто должен был на нем

участвовать, охотно являлись сами за получением билетов, и через мой кабинет, где я образовал маленькую канцелярию, прошли все мало-мальски заметные, общественные и государственные деятели того времени, а это обстоятельство дало мне возможность со всеми ними познакомиться и со многими из них беседовать. Я видел всю общественную Россию времен февральской революции, за исключением большевиков, которые в совещании отказались участвовать. В этом же порядке мне пришлось, от имени Москвы, встречать на Александровском вокзале генерала Корнилова, приглашенного из ставки на совещание.

С начала октября опять начались переговоры о министерстве, и опять я был вызван в Петербург.

В «Истории» Милюкова весь этот последний этап февральской революции описан очень подробно и достаточно объективно. Я делаю эту оговорку потому, что считаю всю эту книгу вообще трудом не историка, а полемиста, написанную с целью оправдать позицию кадетской партии и свои собственные действия. Но в этот период переговоров «социалистической демократии» с «буржуазными элементами» на первом месте была не кадетская партия, а московская промышленная группа. Сам Милюков находился, как помнится, в отсутствии; в Петербурге, в кадетских кругах, одну из первых ролей играл М. С. Аджемов, а в Москве переговоры с кадетами шли через Н. М. Кишкина, который был горячим сторонником создания коалиционного министерства. Это участие Кишкина на первом плане в переговорах сказалось на мне неожиданным и курьезным образом: Троцкий, для характеристики участия буржуазии во власти, пустил тогда свою бутаду: «Кишкины-Бурышкины».

Наша беседа с Керенским — она происходила в Зимнем Дворце, в знаменитом кабинете Императрицы, — свелась к тому, что он сказал мне о своем намерении обратиться к московской промышленной группе, из числа членов коей, по его мнению, несколько человек могли бы войти в будущий состав правительства. Керенский выразил при этом надежду, что и А. И. Коновалов вернется к активной правительственной деятельности. Как известно, в это время шло так называемое Демократическое совещание, и самый вопрос о коалиционном составе будущей власти был под большим сомнением.

Я не мог не согласиться с тем, что если на очередь поставлен вопрос о коалиции разных общественных группировок, то нужно говорить именно с группами, а не обращаться к отдельным лицам, даже в том случае, если их можно считать представителями той или иной группы (в данном случае я имел в

виду А. И. Коновалова).

Формирование коалиционного правительства встречало большие препятствия со стороны левого сектора общественности. Я благополучно вернулся в Москву, куда приехал и А. И. Коновалов и, при его участии, в Биржевом комитете начались совещания о том, как организованная промышленная общественность относится к идее создания коалиционного правительства.

Меня, вероятно, упрекнут в нарочитом злословии или в желании осветить этот вопрос с точки зрения уязвленного самолюбия, если я буду утверждать, что разрешению принципиального вопроса об участии московской промышленной группы в будущей коалиции немало помогло то, что на первом месте фигурировали имена Коновалова и Третьякова. А между тем, я и тогда был в этом убежден, и ныне, мысленным взором обращаясь к прошлому, именно так и думаю. Правда, в совещаниях, где я участвовал, речь не шла о личных кандидатурах, но они были секретом Полишинеля. Да и этот секрет Третьяков быстро нарушил, созвав специальное «расширенное» заседание, чтобы получить от московской торговли и промышленности особые полномочия, представлять в будущей правительственной комбинации купеческую Москву. Полномочия эти ему охотно дали: в тот момент в этих кругах настроение стало глубоко пессимистичным, но многие думали, что если кто-нибудь надеется на то, что можно еще спасти положение, то мешать ему не следует.

На собрания, где говорили о личности кандидатов, меня обычно не звали. Мне было доподлинно известно, что поводом «отвода» было мое участие в «эс-эровской» управе.

Помню поездку в Петербург, в присланном в Москву министерском вагон-салоне… Ехали: Н. М. Кишкин, С. Н. Третьяков, С. А. Смирнов и я. Был еще присяжный поверенный П. И. Малянтович. А. И. Коновалов уехал раньше.

В Петербурге начались обычные совещания, происходившие в самых разных комбинациях. Скоро выяснилось, что из приехавших москвичей больше всех стремятся поработать «на пользу Родине» С. А. Смирнов и П. Н. Малянтович. С. Н. Третьяков очень нервничал: может быть, причиной было то, что главной московской фигурой при переговорах был А. И. Коновалов.

Из всех этих собеседований для меня наибольшее значение имела одна встреча, происшедшая у М. И. Терещенко в его известном особняке на Набережной. Кроме хозяина дома, были Коновалов и Третьяков. Я заметил со стороны Коновалова, в

отношении себя, некоторую враждебность. Решил, что был прав, обещав Рудневу скоро вернуться в Москву, что для меня нет основания пересматривать это свое намерение, и в тот же вечер уехал. Перед отъездом, уже из любопытства, я был на общем совещании членов правительства, кандидатов и особо приглашенных лиц, которое происходило под председательством Керенского в Малахитовом зале Зимнего Дворца. Правительство тогда сводилось к «Директории», — Керенский, Терещенко, Никитин, Верховский и Вердеревский. Кандидатов было довольно много, я даже не всех знал в лицо. Собрание было довольно сумбурное. Я сидел рядом с морским министром Вердеревским, который сказал одну из лучших, во всяком случае одну из самых спокойных и деловых речей. Говорили о тревожности общего положения в виду начинавшегося наступления немцев на Петербург. Я не дождался конца собрания: мне нужно было ехать на вокзал.

Совещания продолжались еще два-три дня. В левых кругах коалиция была не в моде, и они требовали однородного социалистического правительства. Но Керенский, с большим упорством и искусством, проводил коалиционную формулу и, в конце концов, поставил на своем. С московскими кандидатами у него состоялось соглашение, после чего они вернулись в Москву. Дольше других оставался в Петербурге С. А. Смирнов. Московские острословы говорили, что он опасался, что если он уедет, то министр-председатель забудет о его существовании.

Окончательное формирование правительства задержалось, кандидаты нервничали, наконец, Керенскому удалось преодолеть все трудности, и состав правительства был опубликован. Коновалов был назначен министром торговли и промышленности и заместителем министра-председателя. Смирнов — государственным контролером. Третьякову дали место председателя Высшего экономического совета. Бернацкий сохранил министерство финансов. Этот состав просуществовал, как известно, около месяца.

Моя работа в управе продолжалась. В это же время происходила реорганизация Союза городов, получившего ярко социалистическую окраску. Вскоре, однако, после отъезда новых министров в Петербург, я получил телеграфную просьбу Третьякова повидаться с ним в первый же приезд в столицу, просьбу, которую он просил не откладывать. Наше свидание в Петербурге вскоре состоялось. Он чувствовал себя передо мною неловко, видимо все еще не мог поверить, что существуют люди, которые не хотели бы быть министрами. Разуверить его не было никакой возможности. Сам он чувствовал себя уязвленным малым

значением его министерского поста, а еще больше, кажется, тем, что по этой должности не полагалось министерского автомобиля и в его распоряжение была предоставлена лишь коляска, запряженная лошадьми.

Дело, которое он имел ко мне, заключалось в предложении возглавить торгово-промышленную группу в предпарламенте. Как известно, демократическое совещание, происходившее в начале сентября, вскоре после корниловских дней, было пополнено представителями цензовых элементов и превращено в предпарламент, носивший громкое название Совета Республики, а в просторечии неуважительно называвшийся «предбанником».

Торгово-промышленная группа состояла приблизительно из 30-ти человек, представлявших разные районы и отрасли промышленности. Не помню, каким путем эта группа была сформирована, т. е., кто указывал кандидатов, но я уже знал, что вхожу в этот состав от московского промышленного района. Предземледелия, состоявший тогда председателем Совета Съездов представителей промышленности и торговли, съездов представителей промышленности и торговли, куда он был выбран на место Н. С. Авдакова. Но Кутлер был болен, и фактическим руководителем группы должен был быть его заместитель. Это место и предлагалось мне, «в виде компенсации» за то, что меня «обошли», — прибавил Третьяков. Это предложение мне понравилось и я сразу согласился, но не «в виде компенсации», так как меня не «обошли», а я сам ушел.

Прибавлю здесь, что когда, несколько лет спустя, я ознакомился из воспоминаний Керенского по делу Корнилова, с тем, как нечестно говорил он о назначенных им кандидатах (речь шла о генерале Верховском и адмирале Вердеревском), я «задним числом» еще раз испытал удовлетворение, что избегал становиться в череду «постулянтов».

Моя парламентская жизнь продолжалась около десяти дней. По моему возрасту, я не мог баллотироваться в Государственную Думу и предпарламент был для меня единственной оказией подышать воздухом законодательных учреждений. Об этих десяти днях моей жизни я вспоминаю с большим удовольствием. Помню величавую фигуру Авксентьева, который председательствовал с большим авторитетом. Помню выступления Верховского и Вердеревского, говоривших о положении дела государственной обороны. Помню, что при обсуждении этих сообщений две лучшие речи — это отмечает в своей «Истории» и Милюков, — были сказаны двумя женщинами: Кусковой и Аксельрод.

Помню и речь Троцкого, во время которой чувствовал себя неуютно. Дело в том, что торгово-промышленная группа

занимала крайне-правый сектор в зале заседаний, происходивших в Мариинском дворце, где ранее заседал Государственный Совет. Я, как «лидер», сидел в первом ряду, в кресле, где в Государственном Совете сидел митрополит Антоний. Это кресло находилось напротив ораторской трибуны. Когда Троцкий произносил свою речь перед началом восстания, то он, прибегнув к своей формуле «Кишкины-Бурышкины», смотрел на меня и показывал пальцем, что не доставляло мне никакого удовольствия.

Всё это быстро кончилось, сметенное октябрьским переворотом. Ни Совет Республики, ни Временное Правительство последнего состава проявить себя ничем не успели. Пребывание московской группы в Совете Министров ни в чем не сказалось. Лишь Третьяков «вошел в историю» своим поистине красивым жестом. Когда арестованных министров вели в Петропавловскую крепость, на мосту раздался выстрел. Все поспешно легли на землю, и лишь Третьяков и Терещенко остались стоять, пренебрегая смертью.

Во дни восстания я был в Москве, в буквальном смысле слова не выходя из управы, которая сначала находилась в помещении думы, потом перешла в Александровское училище. В конце я оказался единственным из всех не социалистических членов управы, который оставался на месте. Мы ушли из Александровского училища, когда переворот в Москве фактически свершился.

После октябрьского переворота общественная жизнь в Москве естественно прекратилась. Правда, и городская управа, и Биржевой комитет еще пытались некоторое время собираться, но конечно никакой реальной работы не было. С. А. Студенецкий, у которого были, как у старого революционера, некоторые связи с новой властью, ухитрился даже достать какие-то деньги, но деньги эти пошли по преимуществу на оказание материальной помощи некоторым городским служащим, оказавшимся, после переворота, в бедственном положении.

Собрания управы происходили на частных квартирах, — большей частью у члена управы, С. А. Морозова, — и очень хорошо посещались. Помню трогательную подробность: на эти собрания регулярно приходил председатель городской думы О. С. Минор, глубокий старик, который обычно говорил: «Я посижу с вами, мешать вам не буду, но если вас арестуют, то я буду с вами».

Устраивались иногда и заседания думы — для протеста — в университете Шанявского, на Миусской площади. Некоторые из протоколов были впоследствии напечатаны в «Красном Архиве».

Дольше других организаций продолжал работать Союз городов, конечно, из-за его красно-крестного характера. Правда, «помощи больным и раненым» почти уже не было, так как давно уже не было и военных действий. Но действовал отдел «военнопленных», которые возвращались в большом количестве. Во главе этого отдела номинально стоял Л. Л. Катуар, а фактически руководил им, получивший некоторую известность в эмиграции, Д. С. Навашин. Ближайшее участие в общем руководстве принимал городской санитарный врач А. Н. Сысин. Он был близок к большевикам, чем и объяснялось то, что эту работу «терпели». Потом произошла реорганизация, и во главе был поставлен В. М. Свердлов, брат известного советского деятеля. Реорганизация прошла легко, так как в социалистическом главном комитете было немало сторонников новой власти. Нас, заведующих отделами, «реквизировали» и мы продолжали тянуть лямку. Так продолжалось дело до лета 1918 года.

Летом, после появления на Украине гетманского правительства, для меня выяснилась возможность поездки на Юг. Я еще не думал окончательно покидать Москву, но для всего нашего дела и для нашего состояния, Харьков являлся главным центром: в Харькове наша семья была одним из самых крупных домовладельцев. Мы давно не имели никаких сведений о том, что там делается, и я решил туда поехать. Мне удалось устроиться в «Украинском поезде». Ехали мы до Киева со всеми удобствами и без всяких проверок багажа и документов. Я мог бы вывезти все, что угодно, но я ехал налегке. Я пробыл неделю в Киеве, потом дней десять в Харькове. После Москвы, где уже было голодновато, это был край, «где всё дышало обилием». Многие из знакомых уже тянулись на Юг. Я решил последовать их примеру, но для этого мне нужно было вернуться в Москву и постараться вывезти семью.

В Москву я вернулся с меньшими удобствами, но вполне благополучно, зато дома меня ждали неожиданные неприятности. О моей поездке на Юг было известно, она мне ставилась в вину и, так как мое возвращение совпало с убийством Урицкого, то мне грозила опасность быть взятым в «заложники». Обо всем этом меня предупредил Свердлов, к которому я поехал по приезде в Москву. Он весьма удивился вообще моему возвращению и настойчиво советовал в тот же вечер уехать обратно. Я рискнул остаться еще на один день, но дома не ночевал, что оказалось предосторожностью не излишней.

На другой день вечером я уехал, но уже другим путем, — на Харьков, через Белгород. До Харькова я добрался, но в «свободной

зоне», после Курска, где нужно было ехать на лошадях, меня дочиста ограбили…